This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

N 85611

22

Сборникъ „Фіорды"

№ 11958

ной первый успѣхъ. Автобіографическій очеркъ Э. Грига.

Бенсенъ. - Ледникъ. Миѳы о ледниковомъ періодѣ и первобытномъ человѣкѣ.

Бойеръ. - Сила вѣры.

Гамсуръ. - Разсказы.

Изд. Маркса 909 - 1р

2 - II

1939

K 160/25

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

22

Сборникъ „Флоры"

№ 11958

ной первый успѣхъ. Автобіографическій очеркъ Э. Грига.

енсенъ. - Ледникъ. Мысы о ледниковомъ періодѣ и первомъ человѣкѣ.

Бойеръ. - Сила вѣры.

Гамсуръ. - Разсказы.

Изд. Маркса 909 - 1р

9 - II

т 4

1955

K 166/259

G 83
Ho

08
С 836

Strakhov, N.

Н. Страховъ.

БОРЬБА СЪ ЗАПАДОМЪ

ВЪ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРѢ

КНИЖКА ТРЕТЬЯ

Итоги современнаго знанія.—Ренанъ.—
Тэнъ.—Ходъ и характеръ современнаго естествознанія.—
Споръ объ «Россіи и Европѣ» Н. Я. Данилевскаго.—
Разборы книгъ.—Бѣлинскій.

№ 85611

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
адрес. Лассаля 3

95768

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія бр. Пантелеевыхъ. Верейская, 16.
1896.

Ке

ИЮЛ 1937 Проверено

Проверено 1936 г.

ИЮЛ 1939

Того же автора:

Философскіе очерки. Спб. 1895.

Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ. (1862—1865). Изданіе 3-е. Спб. 1895.

Объ основныхъ понятіяхъ психологіи и физіологіи. Изданіе 2-е. Спб. 1894.

Міръ какъ цѣлое. Черты изъ науки о природѣ. Изд. 2-е, испр. и дополн. Спб. 1892.

Воспоминанія и отрывки. (Аѳонъ.—Италія.—Крымъ.—Л. Н. Толстой.—Справедливость милосердіе и святость.—Послѣдній изъ идеалистовъ.—Стихотворенія). Спб. 1892.

Изъ исторіи литературнаго нигилизма. (1861—1865). Спб. 1890.

Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ. Спб. 1888.

О вѣчныхъ истинахъ (мой споръ о спиритизмѣ). Спб. 1887.

Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ. Книжка первая. Изданіе 2-е. (Герценъ.—Милль.—Парижская коммуна.—Ренанъ.—Историки безъ принциповъ.—Штраусъ.—Поминки по И. С. Аксаковѣ). Спб. 1887.

Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ. Книжка вторая. Изданіе 2-е. (Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоносова.—Роковой вопросъ.—Наша культура и всемірное единство.—Дарвинъ.—Полное опроверженіе дарвинизма). Спб. 1890.

Бѣдность нашей литературы. Критическій и историческій очеркъ. Спб. 1867.

О методѣ естественныхъ наукъ и значеніи ихъ въ общемъ образованіи. Спб. 1865.

PG 2975
S75
1887
v.3

1948

ПРЕДИСЛОВІЕ

Книга эта едва ли нуждается въ предисловіи; по своимъ предметамъ и своему духу она прямо примыкаетъ къ двумъ первымъ книжкамъ „Борьбы".

Скажу лишь нѣсколько словъ о заглавіи этихъ книжекъ. Для читателей, вѣроятно, нѣтъ никакой надобности объяснять это заглавіе; но я отвѣчу на нѣкоторыя печатныя недоумѣнія. Слова *Борьба съ Западомъ* взяты мною изъ статьи объ Герценѣ, которою начинается первая книжка. Третья, послѣдняя глава этой статьи озаглавлена такъ: „Борьба съ идеями Запада. Вѣра въ Россію". (Стр. 106 — 160). Тутъ подробно излагается переворотъ, который совершился въ мысляхъ и чувствахъ Герцена, его разочарованіе въ Европѣ, пробужденіе въ немъ вѣры въ Россію, наконецъ стремленіе къ *борьбѣ съ европейскими понятіями* (стр. 147), въ которой я видѣлъ даже „главную задачу и заслугу Герцена".

Такъ какъ я разсматривалъ Герцена какъ литератора, такъ какъ переворотъ, въ немъ совершившійся, есть нѣкоторое общее явленіе, совершался у нашихъ писателей прежде, совершается теперь и будетъ совершаться впередъ, то я и поставилъ въ общемъ заглавіи: *Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ*. Въ самомъ дѣлѣ, я вездѣ указывалъ на черты борьбы и въ прошлой, и въ современной нашей литературѣ, и разумѣлъ борьбу въ широкомъ смыслѣ слова, какъ рядъ колеблющихся усилій,

напора и отпора. Мнѣ кажется, я остался вѣренъ свой темѣ.

Подводя итоги своимъ писаніямъ, каждый, я думаю, невольно испытываетъ раздумье, то радостное, то грустное. Сколько задачъ важныхъ и любопытныхъ, и какъ рѣдко онѣ были выполнены! Какія свѣтлыя надежды и желанія, и какъ мало и неполно онѣ сбывались! Многое мнѣ хотѣлось бы сказать читателямъ въ защиту и поясненіе своихъ книгъ, но лучше будетъ отложить это до другаго времени.

Въ какой-то старой нѣмецкой книгѣ я видѣлъ, что, на заглавной страницѣ третьей части, послѣ заглавія было напечатано: *третья, послѣдняя* и *лучшая часть*. Очень мнѣ хотѣлось бы имѣть право сдѣлать такую же надпись на этой третьей книжкѣ „Борьбы", написать, что это книжка *послѣдняя* и *лучшая* изъ трехъ. Что она послѣдняя, въ этомъ, кажется, мнѣ нельзя сомнѣваться, чувствуя, какъ убываютъ у меня силы и расположеніе писать. Что она лучшая — этому мнѣ хотѣлось бы вѣрить; писатель вѣдь долженъ старатвся идти впередъ по мѣрѣ того, какъ проводитъ годы и десятки лѣтъ въ чтеніи и размышленіи. Но одного старанія здѣсь мало, и объ успѣхахъ своихъ стараній мнѣ слѣдуетъ ожидать и просить суда читателей.

На страницѣ 173-й къ ссылкѣ на „Русскій Вѣстникъ" нужно было бы прибавить ссылку на 2-ю кн. „Борьбы" (изд. 2-е), стр. 228, гдѣ перепечатано приведенное мѣсто.

12 ноября, 1895.

Н. Страховъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

I. Итоги современнаго знанія (1891) 1

I. Мирное время 1
II. Успѣхи наукъ 6
III. Сужденіе итальянскаго профессора 10
IV. Книга Ренана «L'avenir de la science» 13
V. Науки естественныя 16
VI. Науки историческія и филологическія 19
VII. Науки политическія и соціальныя 26
VIII. Новѣйшій образъ мыслей по Вогюэ 31
IX. Философія 37
X. Заключеніе. Мысль Веневитинова 42

II. Нѣсколько словъ о Ренанѣ (1892) 47

I. Ренанъ въ нашей литературѣ 48
II. Ренанъ въ европейской литературѣ 50
III. Полезное вліяніе 53
IV. Католическій протестантъ 57
V. Свѣтскій писатель 61
VI. Оцѣнка со стороны католиковъ и протестантовъ . . 65
VII. Отзывъ Аміеля 69
VIII. Отвѣтъ Ренана Аміелю 73
IX. Католическое и протестантское вольнодумство . . . 77

III. Отзывы Ренана о славянскомъ мірѣ (1892) 81

IV. Ходъ и характеръ современнаго естествознанія (1892) . 93

I. Авторитетъ наукъ 93
II. Механическое объясненіе 96
III. Новѣйшая исторія естествознанія 100
IV. Вліяніе ученія Дарвина 103
V. Морфологическія изслѣдованія 108
VI. Витализмъ 113
VII. Ученый міръ 117
VIII. Виды на будущее 120

V. Замѣтки о Тэнѣ (1893) 123

I. Науки и позитивизмъ 124
II. Философія Тэна 130
III. Эстетика и психологія Тэна 138
IV. Исторія вообще 140
V. Исторія революціи 146
Прибавленіе. Замѣтка о переводѣ одной изъ книгъ Тэна (1871) . 155

VI. Новая выходка противъ книги Н. Я. Данилевскаго (1890) 161

VII. Историческіе взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевскаго (1894) 199

I. Вопросы 199
II. Ссылка на Рюккерта 202
III. Типы культуры 206
IV. Главная мысль и терминологія Рюккерта 210
V. Упреки и предубѣжденія 214
VI. Рюккертова „единая нить“ въ исторіи 218
VII. Искусственная и естественная системы 223
VIII. Развитіе взглядовъ на исторію 225
IX. Единство человѣчества 229
X. Единая культура 233
XI. „Національный вопросъ въ Россіи“ 237

VIII. Злодѣйства особаго рода (1894). 245

IX. Разборы книгъ 256

1. **Д. Щегловъ.** Исторія соціальныхъ системъ. Т. I. (1870). Т. II (1889) 256
2. **Славянское обозрѣніе** (1892. Январь—Апрѣль) 273
3. **В. Розановъ.** „Легенда о великомъ инквизиторѣ" Ѳ. М. Достоевскаго (1891) 285
4. **Бело.** Дѣвица Жиро, моя супруга (1870). **Флоберъ.** Сантиментальное воспитаніе (1870). **Викторъ Гюго.** Человѣкъ, который смѣется (1869). **Ауэрбахъ.** Дача на Рейнѣ (1870). **Шиллеръ** въ переводахъ русскихъ писателей. Т. VIII (1870) 295
   - I. Западная словесность въ отношеніи къ русской. 295
   - II. Свобода отъ авторитетовъ 301
   - III. Романъ Адольфа Бело 311
   - IV. Флоберъ. Викторъ Гюго 318
   - V. Шиллеръ. Ауэрбахъ 325
   - VI. Александръ Гумбольдтъ 338
   - VII. Англійскіе романы 352

X. Замѣтки о Бѣлинскомъ (1869) 355

ОПЕЧАТКИ.

Стран.	Строк.	Напеч.	Чит.
5	9 сн.	стертельную	смертельную
104	2 сн.	Feschichte	Geschichte
138	4 сн.	charactére	charactère
364	2 сн.	столъ	столь

БОРЬБА СЪ ЗАПАДОМЪ

ВЪ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

КНИЖКА ТРЕТЬЯ.

I.

ИТОГИ СОВРЕМЕННАГО ЗНАНІЯ

(По поводу книги Ренана „L'avenir de la science").

1891

И сыновъ твоихъ покинетъ
Мысли ясной благодать.

Хомяковъ.

I.

Мирное время.

Состояніе, которое родъ человѣческій переживаетъ въ настоящее время, есть, конечно, нѣчто новое и небывалое. Человѣчество теперь растетъ и богатѣетъ не по днямъ, а по часамъ, съ такою быстротою, которая, кажется, ясно показываетъ, что, въ сравненіи съ прежними временами, ходъ всемірной исторіи измѣнился. Въ самомъ дѣлѣ, это процвѣтаніе возможно только потому, что наступилъ или наступаетъ періодъ еще небывалаго спокойствія, внѣшняго и внутренняго мира. Внѣшнія отношенія народовъ все яснѣе и яснѣе опредѣляются и пришли къ нѣкоторому равновѣсію; внутреннее устрой-

ство государствъ все больше и больше приближается къ порядку, при которомъ ничто не мѣшаетъ благосостоянію частныхъ лицъ. Можно надѣяться, что скоро земной шаръ станетъ повсюду безопаснымъ и удобнымъ жилищемъ для людей и поприщемъ для всякой ихъ дѣятельности.

Этотъ миръ наступаетъ вовсе не потому, чтобы исчезли причины, порождавшія до сихъ поръ вражду, угнетеніе и истребленіе, а потому, что эти причины очевидно утрачиваютъ теперь свою прежнюю силу, что найдены средства обходить ихъ, вступать съ ними въ компромиссы. Начало національности, заправлявшее въ нашъ вѣкъ политическою исторіею Европы отъ Бородинской битвы до Санъ-Стефанскаго договора, не достигло еще своего полнаго осуществленія въ составѣ государствъ. Но, различныя одна отъ другой народности пришли къ сознанію своихъ правъ, и эти права признаны за ними общественнымъ мнѣніемъ, такъ что угнетеніе одной народности другою все больше и больше устраняется, и самое пестрое государство, какъ Австрія, можетъ сохраняться, если только уважаетъ интересы своихъ народовъ и не приноситъ ни одного изъ этихъ народовъ въ жертву другому.

Точно такъ, внутреннее устройство государствъ лишь въ немногихъ случаяхъ достигло той формы, которая считалась нѣкогда непремѣннымъ условіемъ справедливости и благоденствія. Но идеи, въ силу которыхъ французы основали свою первую республику, все-таки оказали вездѣ большое вліяніе. Права частныхъ лицъ все больше и больше получаютъ вѣсъ, какая бы ни была

форма правленія. Правительства теперь, можно сказать, соперничаютъ одно передъ другимъ въ либерализмѣ, въ облегченіи и равномѣрномъ распредѣленіи государственной тяготы, лежащей на подданныхъ. Кромѣ того, государство повсюду теперь одинаково заботится о порядкѣ и безопасности, о всѣхъ нуждахъ и предосторожностяхъ, требующихъ общихъ мѣръ. Такимъ образомъ, стало возможно мириться со всякими государственными формами, такъ какъ онѣ все меньше и меньше составляютъ орудіе злоупотребленій.

Непремѣнный признакъ мира есть назрѣваніе вопросовъ самыхъ внутреннихъ, соціальныхъ. Очень характерную черту нашего времени составляетъ появленіе такихъ странныхъ агитацій, какъ вопросъ объ евреяхъ въ Европѣ и о китайцахъ въ Америкѣ. Тутъ дѣло идетъ уже не о національностяхъ и не о гражданскихъ и политическихъ правахъ, а о борьбѣ способностей, привычекъ и характеровъ,—вопросы, не имѣющіе исхода, но въ то же время едва-ли способные нарушить миръ. Гораздо страшнѣе и, повидимому, составляетъ великую угрозу всему теперешнему строю вопросъ имущественнаго соціализма, рабочій вопросъ, анархизмъ, нигилизмъ. Но это движеніе, начавшееся уже такъ давно, пережило нѣкоторыя судьбы, которыя едва-ли не отнимутъ у него значительной доли силы. Во-первыхъ, бѣдствія низшихъ классовъ, и рабочихъ въ частности, теперь далеко не такъ жестоки, какъ они были не только въ прошломъ вѣкѣ (см. у Тэна L'ancien régime), но и въ сороковыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Вопреки зловѣщимъ предсказаніямъ, казалось, вполнѣ осно-

вательнымъ, пауперизмъ не только не возросъ съ того времени, а значительно уменьшился, и бытъ теперешнихъ рабочихъ, какъ онъ по мѣстамъ ни тяжелъ, въ общемъ несравненно лучше прежняго. Но главное то, что идеи, которыми возбуждалось и возбуждается соціалистическое движеніе, теперь получили извѣстное признаніе и въ общественномъ мнѣніи, и въ правительственныхъ сферахъ. Интересы рабочихъ, нужды бѣдняковъ, обязанность имущихъ помогать неимущимъ—заявляются и подвергаются преніямъ въ парламентахъ и въ непрерывномъ потокѣ печати. Законность вопроса вполнѣ признана, и отыскиваются лишь мѣры къ его разрѣшенію. Такое положеніе дѣла больше и больше погашаетъ ту ненависть и зависть, которая такъ легко загорается въ „четвертомъ сословіи" и для которой нѣкогда единственнымъ выходомъ казалось отчаянное возстаніе противъ остальныхъ трехъ сословій.

Вообще, всякій радикализмъ, при современныхъ успѣхахъ государственности и смягченіи нравовъ, уже не можетъ имѣть прежнихъ оправданій, а потому и прежней силы. Порядокъ имѣетъ всегда нѣкоторую способность держаться самъ собою, и нынѣ онъ самъ собою держится крѣпче, чѣмъ когда-либо. Не оттого-ли проявленія радикализма, которыя видѣлъ нашъ вѣкъ, подъ конецъ стали отличаться безуміемъ, не имѣющимъ себѣ равнаго въ исторіи? Два событія этого рода были такъ поразительны, что получили огромное вліяніе на расположеніе умовъ и на общій ходъ дѣлъ. Это — возстаніе парижской коммуны и убійство Александра Втораго. Коммуна дѣйствовала среди полной республикан-

ской свободы, но съумѣла найти поводъ къ неслыханнымъ неистовствамъ; погибшій Царь былъ не притѣснителемъ, а поистинѣ Освободителемъ, но былъ убитъ съ какимъ-то сумасшедшимъ фанатизмомъ. Этими двумя дѣлами радикальные элементы Европы жестоко подорвали сами себя. Всѣмъ стали ясны ужасныя опасности, которыя можетъ повести за собой соціальный переворотъ; сочувствовавшіе ему отказались отъ безусловнаго сочувствія; число его противниковъ увеличилось, и сами соціалисты поняли справедливость общаго испуга и необходимость соблюдать со своей стороны всяческую сдержанность и умѣренность. Страхъ коммуны много содѣйствовалъ во Франціи укрѣпленію порядка и внутренняго спокойствія, и отвращеніе къ злодѣйству 1-го марта отрезвило многіе умы въ Россіи; но и всюду эти событія, возбудивъ реакцію, придали болѣе крѣпости существующему строю и установили болѣе твердыя и ясныя отношенія къ соціальнымъ вопросамъ.

Такимъ образомъ, въ современномъ состояніи міра нѣтъ причины опасаться жестокихъ потрясеній. Всѣ идеи, возбуждавшія въ человѣчествѣ убійственную борьбу, стертельную ненависть и смертельное самоотверженіе, понемногу утратили и утрачиваютъ свою силу. Какъ прошло время религіозныхъ войнъ, такъ проходитъ время войнъ національныхъ, гражданскихъ, соціальныхъ. Отчасти сила движущихъ идей ослабѣла оттого, что онѣ въ извѣстной мѣрѣ достигли своего осуществленія; но, сверхъ того, онѣ при этомъ потеряли свой безусловный характеръ, стали мириться съ силою вещей и вступать между собою во взаимныя соглашенія. Какъ будто, измученные преж-

ними волненіями, люди теперь больше всего ищутъ спокойствія и порядка, и передъ этимъ желаніемъ всякія крайнія требованія отступаютъ на второй планъ. Таковы, кажется, условія того удивительнаго процвѣтанія, къ которому въ послѣднее время пришло человѣчество. Народы съ небывалою быстротою растутъ, богатѣютъ и наполняютъ землю.

II.

Успѣхи наукъ.

А каково при этомъ внутреннее состояніе человѣчества? Стали-ли люди счастливѣе, свѣтлѣе духомъ и спокойнѣе сердцемъ отъ того благополучія, до котораго добились наконецъ долгими трудами и жертвами? Въ общемъ мнѣніи давно уже поставленъ этотъ вопросъ, и давно составился на него отвѣтъ. Какъ прошлый вѣкъ называютъ вѣкомъ *оптимизма*, эпохою великихъ надеждъ и порываній, такъ нашъ девятнадцатый вѣкъ заслужилъ названіе вѣка *пессимизма*, времени разочарованія и безнадежности. И дѣйствительно, чувство тайной, но глубокой тоски проносится надъ благоденствующимъ міромъ и отражается въ упадкѣ искусствъ и литературы, оскудѣвшихъ идеалами, въ распространеніи суевѣрій и въ возрастаніи числа самоубійствъ и сумасшествій. Люди какъ будто чувствуютъ, что они обманулись въ своихъ ожиданіяхъ; по мѣрѣ того, какъ устраняются внѣшнія бѣдствія, наступаетъ мучительный душевный голодъ, и тогда многіе бросаются для его утоленія на самую нечистую и гнилую пищу.

Однакоже, очень трудно было бы характеризовать и обстоятельно доказать то *убываніе духа* въ современныхъ людяхъ, о которомъ мы говоримъ. Нравственныя движенія въ человѣчествѣ, самыя существенныя и самыя могущественныя изъ всѣхъ происходящихъ въ немъ движеній, суть въ то же время самыя тайныя и глубокія, ибо наименѣе сознательныя. Есть другая область внутренняго міра, въ которой явленія гораздо доступнѣе для изученія и опредѣленія,—область познанія, всякаго научнаго и умственнаго развитія. Что̀ касается до этой области, то, по общему мнѣнію, успѣхи, совершаемые въ ней въ настоящее время, составляютъ рѣзкій контрастъ съ колебаніями и болѣзнями области нравственной. Ни одинъ вѣкъ не гордился болѣе нашего своимъ умственнымъ развитіемъ, и, повидимому, онъ имѣетъ для этого всѣ основанія, — обиліе ученыхъ трудовъ, безмѣрное нарастаніе и развѣтвленіе познаній, безпрестанныя открытія во всѣхъ сферахъ изслѣдованія, безпрестанныя изумительныя приложенія, наконецъ, возрастающую твердость и точность результатовъ. Все можетъ поколебаться и разрушиться, но не то зданіе, которое воздвигается науками; оно можетъ только возвышаться и укрѣпляться, пока существуетъ человѣчество. Передъ зрѣлищемъ этого великаго движенія самые скептическіе люди чувствуютъ невольное уваженіе и удивленіе.

Но въ чемъ состоитъ содержаніе и каково главное направленіе этого движенія? Что̀ даютъ намъ науки по отношенію къ существеннымъ вопросамъ жизни? Наука, какъ извѣстно, не есть еще мудрость, однако̀ же она ей нѣсколько сродни. Не разъ даже принимались пропо-

вѣдывать, особенно въ послѣднее время, что вся исторія заправляется ходомъ человѣческихъ знаній, и что всякое улучшеніе душъ и сердецъ можетъ быть достигнуто только распространеніемъ свѣдѣній и развитіемъ ума. Во всякомъ случаѣ, мы привыкли думать, что непремѣнно есть нѣкоторая связь между умственными и нравственными явленіями. Мы не можемъ, поэтому, не видѣть какой-то странной загадки въ томъ, что нашъ вѣкъ такъ блистательно процвѣтаетъ въ научномъ отношеніи, тогда какъ его нравственное благосостояніе—если не въ явномъ упадкѣ, то однако подвержено большому сомнѣнію.

Въ чемъ же дѣло? И нельзя-ли составить себѣ какое-нибудь понятіе о современномъ состояніи наукъ, о послѣднихъ выводахъ, къ которымъ онѣ приходятъ, о содержаніи того, что̀ мы въ настоящее время называемъ нашимъ просвѣщеніемъ?

Работа наукъ окружена нѣкоторою таинственностію. Въ кабинетахъ ученыхъ, въ лабораторіяхъ и библіотекахъ незримо и медленно совершается трудъ спеціалистовъ, которые считаютъ себя какъ бы посвященными въ мистеріи своей спеціальности, обыкновенно имѣютъ свой особый языкъ и не допускаютъ вмѣшиваться въ свой трудъ никого, кромѣ тѣхъ, кто многими годами приготовился къ посвященію и выдержалъ надлежащій искусъ. Правда, результаты научныхъ изслѣдованій постоянно и непрерывно сообщаются всѣмъ читателямъ, и нѣкоторые изъ жрецовъ науки берутъ на себя даже особыя заботы объ этомъ сообщеніи, упрощая языкъ и придумывая болѣе легкіе пріемы изложенія. Однакоже,

тонъ этихъ сообщеній обыкновенно вполнѣ догматическій. Объявляя и объясняя свои результаты, ученые добиваются не обсужденія ихъ и повѣрки, а просто лишь распространенія между читателями, и всегда оставляютъ только за собою право на окончательный судъ и на полное пониманіе дѣла.

Такимъ образомъ, иногда говорятъ, что теперь общее сужденіе о движеніи наукъ невозможно, ибо основательную оцѣнку успѣховъ въ каждой области знанія можетъ сдѣлать только спеціалистъ, а, по ограниченности человѣческихъ силъ, нельзя быть спеціалистомъ во всѣхъ областяхъ. Такая невозможность или трудность общаго взгляда на ходъ наукъ, конечно, только укрѣпляетъ авторитетъ и свободу за каждою спеціальностію; но, съ другой стороны, просвѣщенный человѣкъ нашего времени, вслѣдствіе этого, иногда можетъ испытывать, среди своего ежедневнаго чтенія, впечатлѣніе какого-то вавилонскаго столпотворенія въ умственомъ мірѣ, такъ какъ онъ не видитъ общаго плана и согласія между различными группами строителей научнаго зданія.

Умъ человѣческій, впрочемъ, по самой своей природѣ никогда не можетъ отказаться отъ стремленія найти связь и единство между частными явленіями. Часто встрѣчаются и попытки опредѣлить общій ходъ наукъ; мы остановимся здѣсь на нѣкоторыхъ очеркахъ этого рода, какъ намъ кажется, очень характерныхъ для нашего времени.

III.

Сужденіе итальянскаго профессора.

Профессоръ Павіанскаго университета Ферріери, въ своемъ „Руководствѣ къ критическому изученію литературы", превозноситъ современные успѣхи наукъ слѣдующимъ образомъ:

„Нашъ вѣкъ есть вѣкъ научнаго обновленія. Науки естественныя, философскія и нравстенныя, освобожденныя отъ религіознаго догматизма и отъ метафизики, нашли свой раціональный методъ, опредѣлили новое понятіе о мірѣ, о жизни, о человѣческихъ судьбахъ. Это обновленіе носитъ въ наукѣ имя позитивизма, безсмертнымъ основателемъ котораго былъ Огюстъ Контъ, достойный вождь знаменитой фаланги послѣдователей, къ которой принадлежатъ Стюартъ Милль, Е. Литре, Гербертъ Спенсеръ и другіе, менѣе значительные итальянцы и иностранцы".

„Здѣсь не мѣсто опредѣлять значеніе слова позитивизмъ и указывать результаты этого новаго научнаго направленія. Для насъ достаточно знать, что черезъ него умъ освободился отъ множества предразсудковъ и традиціонныхъ заблужденій, отказался отъ изслѣдованія висшихъ причинъ, чтобы отдаться изученію физическихъ и нравственныхъ фактовъ, свелъ средства открытія истины къ единственнымъ двумъ, къ чувственному опыту и къ очевидному доказательству, разрѣшилъ многія изъ задачъ, наиболѣе интересующихъ человѣческую мысль, наконецъ заставилъ науку сдѣлать въ немногіе годы болѣе

исполинскіе шаги, чѣмъ она сдѣлала въ теченіе многихъ столѣтій. И наука занимаетъ теперь всѣ сильные умы; непрерывная горячка изслѣдованія истины, изумительная дѣятельность во всякой области познаній знаменуетъ собою наше время. Наука проникла во всякое проявленіе жизни; она направляетъ умозрѣнія мыслителя, и она же руководитъ людьми дѣйствія" [1]).

Этотъ восторженный отзывъ достоинъ вниманія потому, что его можно принять за выраженіе почти общаго мнѣнія объ успѣхахъ наукъ, господствующаго у тѣхъ людей, которые довольны и гордятся своимъ просвѣщеніемъ въ наше время. Италія есть страна, которая, подобно намъ, и даже гораздо болѣе насъ, преклоняется передъ научнымъ авторитетомъ Франціи и Англіи; павіанскій профессоръ съ благоговѣніемъ обращаетъ глаза на сѣверныя страны, откуда льется свѣтъ науки. Естественно, что ему бросается въ глаза наиболѣе общее, наиболѣе характерное направленіе умовъ, что онъ пораженъ его новизною, видитъ въ немъ нѣчто великое и прекрасное, а потому и провозглашаетъ, что „нашъ вѣкъ есть вѣкъ научнаго обновленія" и что нынѣ „наука сдѣлала въ немногіе годы болѣе исполинскіе шаги, чѣмъ прежде въ теченіе многихъ столѣтій".

Эти преувеличенія для насъ, однакоже, поучительны, потому что въ нихъ отражается истина. Можетъ быть то, что̀ Ферріери называетъ *обновленіемъ*, иные готовы признать *упадкомъ*, но во всякомъ случаѣ очевидно, что, начиная съ половины нашего столѣтія, научное движеніе

---

[1]) *Guida allo studio critico della literatura.* Lezioni dal *Pio Ferrieri*, prof. nella R. Universita di Pavia. 2-da ediz. Torino, 1885. p. 156, 157-

дѣйствительно измѣнило свой прежній ходъ, пошло въ другую сторону, въ которую и продолжаетъ идти съ нарастающею силою. Дѣйствительно, въ это время „многія изъ задачъ наиболѣе интересующихъ человѣческую мысль", если, положимъ, въ сущности и не были разрѣшены, то были однако провозглашены разрѣшенными, и эти ихъ рѣшенія часто были принимаемы съ энтузіазмомъ и распространились по всему образованному міру. Дѣйствительно, въ это время не было конца всякаго рода низверженію „предразсудковъ и традиціонныхъ заблужденій", хотя, можетъ быть, иныя побѣды этого рода были совершенно мнимыя, а въ числѣ заблужденій отвергались и драгоцѣнныя истины. Одно сомнительно въ общей картинѣ итальянскаго ученаго: будто-бы науки теперь установили „новое понятіе о мірѣ, о жизни, о человѣческихъ судьбахъ". Скорѣе слѣдуетъ сказать, что только усердно отрицалось старое понятіе, да почти на этомъ отрицаніи все и остановилось.

Что̀ касается до *позитивизма*, то ему, по обыкновенію, здѣсь придано преувеличенное значеніе. Ренанъ, какъ мы указывали [1]), думаетъ, что слава Конта совершенно фальшивая, и онъ, конечно, правъ въ извѣстной мѣрѣ. Но нужно бы объяснить причины возникновенія этой славы. Рѣдкіе ученые вникаютъ въ Конта; ссылаются же на него очень многіе, едва-ли не потому, что онъ далъ видъ какой-то систематичности и опредѣленности хаотическимъ и чисто-отрицательнымъ стремленіямъ, возобладавшимъ въ наукахъ. Самое названіе *позитивизмъ*

---

[1]) Борьба съ Западомъ, кн. I, стр. 416.

имѣетъ въ себѣ нѣчто приличное и солидное, содержитъ глухое указаніе на какой-то строгій пріемъ изслѣдованія. А отверженіе метафизики, то-есть философіи, провозглашенное Контомъ, сразу привлекло множество умовъ, для которыхъ философія была несноснымъ игомъ.

IV.

Книга Ренана „L'avenir de la science".

Обзоръ научнаго движенія, совершавшагося въ послѣднія десятилѣтія, былъ сдѣланъ Ренаномъ въ предисловіи къ книгѣ „L'avenir de la science" (Par. 1890), и вотъ по какому поводу. Эта книга, только теперь напечатанная, была написана имъ еще въ молодости, въ 1849 году. То была совершенно особенная минута въ жизни Ренана. Во-первыхъ, онъ тогда только-что разорвалъ съ католицизмомъ, отрекся отъ церкви, и весь горѣлъ жаромъ тѣхъ новыхъ убѣжденій, которыя привели его къ этому шагу. Во-вторыхъ, вслѣдъ за тѣмъ совершилась февральская революція; передъ ученымъ юношей поднялись съ неотразимой силой политическіе и общественные вопросы, о которыхъ онъ прежде вовсе не думалъ. И вотъ, онъ пишетъ огромную книгу, въ которой излагаетъ все множество мыслей, кипящихъ въ его головѣ и составляющихъ его новый взглядъ на вещи, только-что сложившійся изъ предыдущаго развитія и борьбы. Это было нѣкотораго рода исповѣданіе вѣры, замѣнившей собою вѣру въ церковное ученіе. Книга называлась „*О будущности науки*"

и выражала восторженное поклоненіе наукѣ. По тогдашнему убѣжденію Ренана, наука должна современемъ замѣнить религію, стать на ея мѣсто въ жизни человѣчества. Да и въ политическихъ и общественныхъ дѣлахъ только отъ науки слѣдуетъ ожидать спасенія и разрѣшенія всякихъ вопросовъ. Такова существенная, главная тема книги; въ доказательствахъ же и выводахъ, въ побочныхъ соображеніяхъ и поясненіяхъ, Ренанъ высказываетъ еще множество другихъ мыслей, которыхъ онъ и потомъ держался, повторяя и развивая ихъ въ теченіе своего долгаго литературнаго поприща. Можно сказать, что въ этой книгѣ уже сказался весь Ренанъ, уже содержатся зародыши всѣхъ его писаній.

Это было его первое произведеніе, съ которымъ онъ хотѣлъ выступить передъ читателями. Ученые друзья удержали его отъ печатанія; они справедливо находили, что книга дурно написана, неясно, длинно, тяжело, такъ что не можетъ имѣть успѣха. Только теперь, спустя болѣе сорока лѣтъ, Ренанъ рѣшился издать эту свою старую рукопись, въ надеждѣ, что огромная знаменитость, которую онъ пріобрѣлъ, уже непремѣнно возбудитъ вниманіе читателей къ первоначальному очерку его мыслей.

Такимъ образомъ, передъ нами снова являются всѣ его воззрѣнія, и въ этой книгѣ найдется не мало любопытнаго для того, кто желаетъ уяснить себѣ ходъ и складъ этихъ воззрѣній. Но мы не объ этомъ хотимъ говорить. Естественно, что, издавая книгу, написанную болѣе сорока лѣтъ назадъ, Ренанъ долженъ былъ за-

дать себѣ вопросъ: насколько сбылись его предсказанія? Какъ и въ чемъ наука оправдала надежды, которыя онъ на нее возлагалъ? Въ предисловіи онъ старается отвѣтить на эти вопросы. Сперва онъ рѣшительно заявляетъ, что его вѣроисповѣданіе осталось неизмѣннымъ. „Моя религія", говоритъ онъ, „все та же—прогрессъ разума, т. е. науки" [1]). И такъ, наука признается имъ какъ-бы единственнымъ и полнымъ воплощеніемъ человѣческаго разума. Потомъ, онъ указываетъ на нѣкоторыя частныя поправки, которыя онъ долженъ былъ сдѣлать въ своихъ первоначальныхъ мнѣніяхъ. Наконецъ, онъ начинаетъ разбирать успѣхи наукъ за это долгое время и доказываетъ, что онъ не обманулся въ своемъ юношескомъ поклоненіи, что его чаянія подтверждены научнымъ движеніемъ, съ тѣхъ поръ совершившимся.

„Когда я пытаюсь свести балансъ всего, что̀ оказалось химерой въ мечтаніяхъ, наполнявшихъ меня полвѣка назадъ, и всего, что̀ осуществилось, признаюсь, я испытываю довольно живое чувство нравственной радости. Въ итогѣ я былъ правъ. Прогрессъ, за исключеніемъ немногихъ разочарованій, совершился по тѣмъ самымъ линіямъ, которыя я тогда себѣ воображалъ" (стр. XII).

Попробуемъ же, слѣдуя за Ренаномъ, обозрѣть научные успѣхи за послѣднее пятидесятилѣтіе и посмотримъ, чему онъ такъ радовался.

---

[1]) *E. Renan*, L'avenir de la science, pensées de 1848. Paris, 1890. Préface, стр. VII.

V.

Науки естественныя.

Ренанъ говоритъ сперва о наукахъ естественныхъ, потомъ о наукахъ историческихъ и вспомогательныхъ имъ наукахъ филологическихъ и, наконецъ, о наукахъ политическихъ и соціальныхъ.

Науки естественныя стоятъ впереди, конечно, потому, что въ наше время онѣ играютъ роль „первой философіи", составляютъ какъ-бы ученіе объ основахъ всего существующаго. Ренанъ съ удовольствіемъ замѣчаетъ, что онъ, въ сущности, всегда былъ эволюціонистомъ въ своей области, въ пониманіи „произведеній человѣчества, языковъ, письменъ, литературъ, законодательствъ, соціальныхъ формъ". Поэтому, водвореніе эволюціонизма въ ученіи о произведеніяхъ природы, начавшееся съ Дарвина, только подтвердило предчувствія Ренана, было только распространеніемъ его воззрѣній. „Я имѣлъ вѣрный взглядъ на то, что̀ я называлъ происхожденіемъ жизни (les origines de la vie). (Такъ формулируетъ онъ уже свои самыя начальныя научныя убѣжденія). Я хорошо видѣлъ, что и въ человѣчествѣ и въ природѣ *все дѣлается*, что творенію нѣтъ мѣста въ ряду слѣдствій и причинъ". Естественныя науки съ тѣхъ поръ совершенно утвердили и окончательно развили это пониманіе міра. „Предметъ нашего познанія", говоритъ Ренанъ въ видѣ заключенія, „есть нѣкоторое громадное развитіе, котораго первыя, едва уловимыя звенья даются намъ космологическими наука-

ми, а послѣдніе предѣлы представляетъ собственно такъ называемая исторія" (стр. XIII).

Если таковъ итогъ успѣховъ естествознанія, то, какъ мы видимъ, онъ весь содержится въ томъ, что идея „развитія" замѣнила собою идею „творенія". Въ чемъ состоитъ противоположность этихъ двухъ идей, и точно ли онѣ противоположны, если брать ихъ въ ихъ широкомъ смыслѣ, объ этомъ не разсуждаетъ Ренанъ. Въ исторіи и въ природѣ, по его выраженію, *все дѣлается*. Это очень неопредѣленно; едва-ли бы онъ согласился сказать, напримѣръ, что все дѣлается *само собою*, или что ни въ природѣ, ни въ исторіи не *возникаетъ* ничего новаго. Намъ очень мало сказано, если сказано только, что происходитъ „нѣкоторое громадное развитіе". Развитіе по самому своему существу должно имѣть и *направленіе* и *цѣль*. Почему намъ не скажутъ, нашло-ли ихъ естествознаніе? По крайней мѣрѣ, искало-ли оно ихъ и ищетъ-ли теперь?

Ренанъ нисколько не останавливается на подобныхъ разсужденіяхъ. Но, вмѣсто того, онъ, вслѣдъ за приведенными словами, дѣлаетъ замѣчаніе, изъ котораго все-таки видно, въ какую сторону клонятся его мысли. Именно, онъ замѣчаетъ, что успѣхи естествознанія принуждаютъ его сдѣлать нѣкоторую поправку въ мнѣніяхъ, выраженныхъ въ его юношеской книгѣ.

„Подобно Гегелю", говоритъ онъ, „я ошибался въ томъ, что слишкомъ утвердительно приписывалъ человѣчеству центральную роль въ мірозданіи. Между тѣмъ, возможно, что все человѣческое развитіе имѣетъ столь же мало значенія (n'ait pas plus de conséquence), какъ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
Центральная библиотека
пр. Лассаля 2
№ 85611
Ф 4469

плѣсень или лишаи, которыми покрывается всякая влажная поверхность".

Вотъ какое воззрѣніе составляетъ новое пріобрѣтеніе Ренана! Вотъ къ чему онъ приведенъ своими изысканіями и наблюденіями надъ развитіемъ „языковъ, письменъ, литературъ, законодательствъ, соціальныхъ формъ", и къ чему гораздо яснѣе пришли будто-бы космологическія науки!

Странно говорить объ этомъ такъ бѣгло, какъ говоритъ Ренанъ; онъ, какъ будто для большей занимательности своей рѣчи, мимоходомъ пугаетъ читателей этою плѣсенью и лишаями. Попробуемъ, однако, хоть нѣсколько разобрать дѣло. Естественныя науки въ своихъ удивительныхъ обобщеніяхъ дѣйствительно доказали однородность жизни, нашли нѣкоторое элементарное сродство между жизнью человѣка и жизнью мельчайшихъ организмовъ. Но вѣдь изъ этого ровно ничего не слѣдуетъ относительно достоинства и значенія различныхъ организмовъ. Мы судили бы совершенно по-дѣтски, еслибы, подводя существа подъ какое-нибудь общее понятіе, воображали, что они, въ силу этого, однородны во всѣхъ отношеніяхъ. И человѣкъ и камень имѣютъ вѣсъ; человѣкъ только-что убитый вѣситъ столько же, сколько онъ же вѣсилъ живой; развѣ слѣдуетъ отсюда, что человѣкъ не лучше камня и что живой не лучше мертваго? Гегель, на котораго Ренанъ ссылается, какъ бы въ извиненіе своего прежняго заблужденія, смотрѣлъ на вопросъ неизмѣримо правильнѣе. Если человѣкъ, положимъ даже, и не центръ міра, то, во всякомъ случаѣ, онъ такъ связанъ съ центромъ, что можетъ изъ

него смотрѣть на мірозданіе; слѣдовательно, онъ не только выше всѣхъ земныхъ созданій, но можетъ подыматься до высоты какихъ бы то ни было существъ, представляемыхъ нашимъ воображеніемъ. Совершенная нелѣпость думать, что значеніе человѣка, можетъ быть, равняется значенію „плѣсени и лишаевъ", заводящихся вездѣ, гдѣ есть сырость.

VI.

Науки историческія и филологическія.

„Науки историческія и вспомогательныя имъ науки филологическія (продолжаетъ свой обзоръ Ренанъ) сдѣлали громадныя завоеванія съ тѣхъ поръ, какъ я предался имъ съ такой любовью, сорокъ лѣтъ тому назадъ". „Черезъ сто лѣтъ человѣчество уже будетъ знать почти все, что̀ оно можетъ знать о своемъ прошедшемъ". „Исторія религій уяснена въ самыхъ важныхъ ея отдѣлахъ. Стало ясно, не въ силу доказательствъ a priori, а въ силу самаго разбора мнимыхъ свидѣтельствъ, что никогда не было, во всѣхъ вѣкахъ достижимыхъ для насъ, ни откровенія, ни сверхъестественнаго факта. Самый *процессъ* цивилизаціи дознанъ въ его общихъ законахъ. Неравенство расъ констатировано. Права каждаго человѣческаго племени на болѣе или менѣе почетное упоминаніе въ исторіи прогресса приблизительно опредѣлены" (стр. XIV).

Таковы итоги „громадныхъ завоеваній" въ этой области знаній. Пересматривая ихъ въ томъ видѣ, въ какомъ

ихъ представляетъ Ренанъ, нельзя однако не почувствовать какого-то разочарованія. Повидимому, все здѣсь сухо и безплодно. Гдѣ же тотъ свѣтъ, который долженъ быть проливаемъ этими науками? Гдѣ внутренній смыслъ ихъ быстрыхъ и великихъ трудовъ и успѣховъ?

Ренанъ указываетъ на то, что начало народности рѣшительно утвердилось въ пониманіи исторіи. Самъ онъ всегда держался этого начала, конечно, вслѣдъ за нѣмецкими мыслителями, на которыхъ воспитался. Онъ говоритъ, что теперь уже вполнѣ доказано и признано „неравенство" человѣческихъ расъ, и что свои „почетные отзывы" исторія распредѣляетъ не иначе, какъ по племенамъ (familles humaines). Такъ и прежде онъ говаривалъ, что „намъ извѣстно не одно, а три или четыре человѣчества". Вопросъ огромной важности, большой шагъ сравнительно съ взглядами прошлаго вѣка, все подводившими подъ одну мѣрку, подъ общія отвлеченныя понятія. Если Ренанъ правъ, если науки историческія и филологическія добыли въ нашъ вѣкъ другіе взгляды, то человѣческая исторія получаетъ у насъ другой смыслъ. Она становится несравненно сложнѣе и шире, глубже и таинственнѣе, чѣмъ какъ воображалъ ее прошлый вѣкъ. Ею управляетъ и движетъ внутренній духъ народовъ, который неизмѣримо сильнѣе, богаче содержаніемъ, живучѣе и плодотворнѣе, чѣмъ наши личныя усилія и наши понятія. При такомъ взглядѣ на исторію, вся картина былыхъ временъ получаетъ жизнь и блескъ, полна для насъ неисчерпаемаго смысла и значенія; да и будущее людей не представляетъ одной

загадочной тьмы, а озарено вѣрой въ новыя воплощенія духа.

Изъ всѣхъ новыхъ историческихъ изслѣдованій Ренанъ указываетъ въ частности только на одно, на разработку исторіи религій. Дѣйствительно, это есть новая область, завоеванная человѣческимъ умомъ, и труды, совершенные въ этой области, громадны и блистательны. Въ европейскихъ университетахъ уже учреждаются особыя каѳедры для этой науки, и американцы уже придумали особое названіе для ученыхъ, спеціально ею занимающихся; этихъ *сиіентистовъ* они называютъ *религіонистами*.

Казалось бы, что̀ можетъ быть значительнѣе подобнаго научнаго движенія? Дѣло идетъ о религіи; въ ея исторіи отражается ея сущность, и ученыя изысканія должны направляться къ этой сущности и уяснять намъ ея понятіе. Но Ренанъ объ этомъ молчитъ; если ему повѣрить, то новѣйшее изученіе религій важно единственно потому, что будто-бы доказало, что ни въ какомъ вѣкѣ, доступномъ наукѣ, не было „ни откровенія, ни сверхъестественныхъ событій“.

Немного же мы узнали! Подобное чисто-отрицательное положеніе, конечно, ничего не говоритъ намъ о сущности предмета, о дѣйствительномъ содержаніи религіи. Притомъ, это положеніе совершенно невѣрно выставлено, какъ выводъ изъ историческихъ изысканій. Нѣтъ сомнѣнія, что отрицаніе такъ называемаго сверхъестественнаго вовсе не выводится изъ „разбора свидѣтельствъ“, а напротивъ *вносится* въ этотъ разборъ, что изслѣдователи, какой бы вѣкъ ни изслѣдовали, присту-

паютъ къ нему уже съ этимъ готовымъ отрицаніемъ, а потому, разумѣется, и *всѣ вѣка* у нихъ оказываются одинаковыми въ этомъ отношеніи. Ренанъ часто и прежде говорилъ объ этомъ вопросѣ; онъ придаетъ ему великую важность, но всегда также дурно его ставилъ. Одно мѣсто изъ его прежнихъ писаній такъ поразительно обнаруживаетъ внутреннее противорѣчіе этой постановки, что странно, какъ онъ самъ его не замѣтилъ. Вотъ это мѣсто:

„Свидѣтельства ничего не доказываютъ въ вопросѣ этого рода. (Совершенно вѣрно и прямо противоположно тому, что онъ сказалъ теперь). Если есть божество, котораго могущество подтверждается документами повидимому неопровержимыми, то это, конечно, карѳагенская богиня *Раббатъ Танитъ*. Болѣе трехъ тысячъ *стелъ*, свидѣтельствующихъ объ обѣтахъ, данныхъ этой богинѣ, извлечены изъ земли; большею частію они теперь находятся въ Національной библіотекѣ въ Парижѣ; всѣ возвѣщаютъ, что Раббатъ Танитъ „вняла молитвѣ", которая была къ ней обращена. И что же? — эти три тысячи свидѣтелей молитвы, достигшей своей цѣли, безъ сомнѣнія ошибаются. Въ самомъ дѣлѣ, Раббатъ Танитъ, будучи ложнымъ божествомъ, никакъ не могла никого услышать. Дѣйствительность хины доказана, потому что въ безчисленныхъ случаяхъ хина или ея эквиваленты измѣнили ходъ лихорадки. Было-ли это когда-нибудь доказано для молитвы?" [1]).

---

[1]) Nouvelles études d'histoire religieuse. Par. 1884. Préface. стр. VIII.

Странное разсужденіе! Только-что Ренанъ привелъ „неопровержимыя“ доказательства въ пользу могущества карѳагенской богини, только-что осмѣялъ эти доказательства и провозгласилъ, что „свидѣтельства“ тутъ ничего не доказываютъ,—а теперь самъ требуетъ свидѣтельствъ. И притомъ, онъ говоритъ вызывающимъ тономъ, какъ будто этихъ свидѣтельствъ никакъ нельзя найти; между тѣмъ, что̀ можетъ быть легче, какъ услышать отъ вѣрующаго, что Богъ исполнилъ его молитву?

Но всего интереснѣе, что у Ренана тутъ же вырвалось слово, которое объясняетъ истинный смыслъ всего дѣла. Почему онъ не вѣритъ карѳагенскимъ памятникамъ? На основаніи точныхъ изслѣдованій? Но о нихъ и думать невозможно. Онъ не вѣритъ потому, что Танитъ есть „ложное божество“; слѣдовательно, онъ заранѣе, a priori, знаетъ, что молитва къ этому божеству не могла имѣть послѣдствій. Конечно, это вполнѣ правильный пріемъ историческаго изслѣдованія. Не по памятникамъ мы судимъ, вѣрны-ли наши общіе принципы, а наоборотъ, мы по нашимъ принципамъ судимъ о памятникахъ и рѣшаемъ, что̀ въ нихъ можно допустить и что̀ слѣдуетъ отвергнуть. Безъ сомнѣнія, такъ точно дѣйствуютъ и всякіе современные религіонисты. Они слѣдуютъ ученію, уже очень давно провозглашенному нѣкоторыми мыслителями, что Богу не свойственно нарушать законы природы. Ренанъ грубо ошибся, выдавая этотъ принципъ за выводъ изъ многотрудныхъ историческихъ изслѣдованій. Такого открытія нельзя было сдѣлать, и если бы только въ немъ заключалась заслуга

исторіи религій, то эту науку нужно бы было признать совершенно безплодною.

По счастію, дѣло стоитъ иначе. Какой-то глубокій и важный поворотъ умовъ, можетъ быть мало сознательный, обнаруживается въ томъ вниманіи, которое обратилъ нашъ вѣкъ на религію и ея исторію. Эти пристальныя, неутомимыя изысканія, очевидно, вызваны не холоднымъ любопытствомъ и страстью къ ученой кропотливости; они дышатъ любовью и уваженіемъ къ самому предмету изысканій. Можно сказать, что нынче каждый ученый, углубляющійся въ изученіе извѣстной религіи, дѣлается въ нѣкоторой мѣрѣ ея послѣдователемъ. Такъ когда-то чистосердечный и великодушный труженикъ Анкетиль дю Перронъ, изучая *упанишады*, совершенно предался высокому ученію браминовъ. Между тѣмъ, вспомнимъ общее отношеніе къ религіи въ прошломъ вѣкѣ во Франціи, въ Англіи. Для тогдашнихъ ученыхъ всякая религія была только „собраніемъ новой лжи и старыхъ басенъ", какъ выражается Коранъ. Понятно, что съ такими понятіями они не изучали религій, да и не могли ихъ изучать. Теперешнее изученіе, поэтому, свидѣтельствуетъ о глубокой перемѣнѣ въ нашихъ понятіяхъ.

Ренанъ, отзываясь такъ поверхностно объ исторіи религій, можно сказать, дѣлаетъ большую несправедливость самому себѣ. Самъ онъ написалъ обширную исторію первобытнаго христіанства, и если потомство будетъ поминать его добромъ, то, конечно, за тотъ почтительный, иногда даже благоговѣйный тонъ, который часто звучитъ въ его исторіи. Этотъ тонъ былъ великою

новостью, указывалъ на великій успѣхъ въ пониманіи предмета и, дѣйствительно, иногда звучалъ такъ сильно, что, какъ о томъ свидѣтельствуютъ Газе, Гратри, иные невѣрующіе возвращались къ религіи. Вообще, ни одинъ вѣкъ не писалъ такъ много и такъ хорошо о Христѣ, какъ наше печальное столѣтіе. Штраусу, выступившему съ книгой, въ которой онъ доказывалъ, что мы о Христѣ ничего достовѣрнаго не знаемъ, пришлось бы признать, еслибы онъ былъ въ состояніи ясно видѣть послѣдовавшее, совершенную неудачу своего тезиса. Но онъ былъ неспособенъ видѣть и плачевно кончилъ свое поприще жалкою книгою *Старая и новая вѣра.* Его дѣятельность показываетъ, однакоже, какъ благотворна сила твердаго и свободно высказаннаго убѣжденія. Со всѣхъ сторонъ и вѣрующіе и невѣрующіе принялись писать *Жизнь Іисуса*; и пишутъ до сихъ поръ, и успѣли написать много истинно превосходнаго, хотя бы и съ большой примѣсью слабаго и невѣрнаго. Никогда пресловутый XVIII вѣкъ, вѣкъ философіи, не могъ думать, что умы просвѣщенныхъ людей черезъ сто лѣтъ будутъ такъ упорно и неотвратимо обращены на Божественнаго Учителя изъ Назарета. Тезисъ Штрауса, какъ намъ кажется, потерпѣлъ полное пораженіе. Красота святаго и несравненнаго образа Христа побѣдила; она прошла черезъ всю тьму и весь свѣтъ прошлыхъ вѣковъ и до сихъ поръ сіяетъ передъ нами и согрѣваетъ насъ.

VII.

Науки политическія и соціальныя.

Ренанъ, какъ мы видѣли, утверждаетъ еще, что наука успѣла найти законы самаго „*процесса* цивилизаціи“; т. е. ея поступательнаго хода, способа, которымъ этотъ ходъ совершается. Вѣроятно, это самое онъ разумѣетъ и подъ „исторіею прогресса“, о которой вслѣдъ за тѣмъ упоминаетъ.

Жаль, что о такихъ интересныхъ вещахъ сдѣланы только глухія упоминанія. Исторія всякаго предмета совершается сообразно съ природою этого предмета, съ его сущностію, и потому исторія всегда разъясняетъ намъ предметъ. Если показанія Ренана точны, то можно подумать, что мы далеко подвинулись въ пониманіи цивилизаціи и прогресса, т. е., что мы теперь лучше знаемъ, куда идемъ и куда намъ слѣдуетъ идти. Едва-ли, однако, это такъ; вслѣдъ за приведеннымъ нами мѣстомъ, Ренанъ говоритъ:

„Что̀ касается до наукъ политическихъ и соціальныхъ, то можно сказать, что въ нихъ сдѣланы слабые успѣхи“. Неожиданно поражаетъ насъ такой печальный отзывъ о всей послѣдней половинѣ нашего вѣка. Нашъ вѣкъ, какъ видно, постигла неудача въ самомъ чувствительномъ пунктѣ, неудача, невознаградимая никакими другими успѣхами. Остальныя страницы у Ренана заняты подтвержденіемъ этого печальнаго отзыва, и то, что̀ онъ говоритъ здѣсь,—истинно поразительно.

Сперва онъ замѣчаетъ, что политическая экономія, питавшая въ 1848 г. очень высокія притязанія, потомъ потерпѣла полное крушеніе. Ее поколебали соціалистическія ученія, которыя въ это время получили серіозную и глубокую разработку у нѣмцевъ. Но эти ученія не пришли ни къ какой ясной теоріи, не даютъ яснаго рѣшенія. Ренанъ предсказываетъ, что соціализмъ уже никогда не исчезнетъ, всегда будетъ безпокоить общество, но будетъ видоизмѣняемъ общими усиліями, получитъ видъ, при которомъ съ нимъ можно уживаться.

„Въ политикѣ положеніе дѣлъ столь же мало ясно" (стр. XV). Современная политика основана на началѣ народности, которое необыкновенно усилилось съ 1848 г. И вотъ, это начало замѣтно ослабѣваетъ. Человѣчество устало ему слѣдовать и приходитъ къ новымъ политическимъ взглядамъ. Они состоятъ въ слѣдующемъ. „Стало совершенно очевидно", говоритъ Ренанъ, „что счастіе недѣлимаго не соотвѣтствуетъ величію той націи, къ которой онъ принадлежитъ; кромѣ того, обыкновенно послѣдующее поколѣніе очень мало цѣнитъ то, за что предъидущее поколѣніе жертвовало своею жизнью" (стр. XVI).

Какое ужасное настроеніе! Если такъ, то можно сказать, цивилизація и прогрессъ идутъ нынѣ къ тому, что исторія разсыплется прахомъ. Въ самомъ дѣлѣ, если всякій отказывается служить націи на томъ основаніи, что какъ бы она ни процвѣтала, ему лично отъ этого слишкомъ мало проку, если, потомъ, никто не любитъ и не почитаетъ трудовъ и подвиговъ предъидущихъ поколѣній, то, значитъ, человѣкъ въ наше время обры-

ваетъ самыя святыя связи свои и съ настоящимъ, и съ прошедшимъ, и хочетъ служить только самому себѣ.

Ренанъ старается далѣе объяснить причину, по которой держится такое настроеніе. По его мнѣнію, это зависитъ отъ „шаткости нашихъ идей о цѣли, къ которой должно стремиться человѣчество, и о дальнѣйшемъ его назначеніи. Между двумя задачами политики, между величіемъ націй и благосостояніемъ недѣлимыхъ, мы выбираемъ руководясь лишь своей выгодой или пристрастіемъ. *Ничто намъ не указываетъ, какова воля природы, или въ чемъ цѣль мірозданія*".

Но если такъ, то къ чему же повели насъ всѣ исполинскіе успѣхи наукъ естественныхъ и историческихъ? Главнаго-то они намъ и не дали. И чему же такъ радовался Ренанъ? И не жалкое ли представленіе цѣлаго міра, какъ нѣкоторой громадной эволюціи, когда смысла этого развитія мы ничуть не понимаемъ?

Ренанъ подробно объясняетъ, какъ плачевна такая умственная тьма. Онъ говоритъ:

„Сколько времени національный духъ будетъ еще побѣждать индивидуальный эгоизмъ? Кто въ послѣдующихъ вѣкахъ окажется наиболѣе послужившимъ человѣчеству, патріотъ, либералъ, реакціонеръ, соціалистъ, или ученый? Никто этого не знаетъ, и однакоже существенно важно было бы знать это, потому что то, что̀ хорошо при одномъ изъ этихъ предположеній, дурно при другомъ. Мы двигаемся, не зная сами, куда идти. Смотря по той точкѣ, къ которой слѣдуетъ стремиться, то, что̀ дѣлаетъ, напримѣръ, Франція, есть или нѣчто превосходное, или нѣчто никуда негодное. Другія націи ничуть

не яснѣе видятъ. Политика подобна пустынѣ, въ которой люди идутъ на удачу, къ сѣверу, къ югу, потому лишь, что нужно идти. Никто не знаетъ, относительно общественнаго порядка, въ чемъ состоитъ благо. Утѣшительно только то, что мы непремѣнно куда-нибудь да приходимъ" (стр. XVII).

Бѣдному человѣчеству, утратившему всѣ руководящія понятія, конечно, приходится радоваться хоть тому, что въ какую сторону ни пойдешь, все куда-нибудь придешь, то-есть, что путь не будетъ безконеченъ. Но это—небольшое утѣшеніе!

Ренанъ заключаетъ такими словами:

„Въ итогѣ, если, вслѣдствіе неутомимыхъ трудовъ XIX вѣка, познаніе фактовъ возрасло удивительно, то назначеніе человѣка покрылось мракомъ болѣе, чѣмъ когда бы то ни было" (стр. XVIII).

Какіе жалкіе успѣхи! Нашъ вѣкъ оказывается безмѣрно богатымъ фактами и до нищенства скуднымъ идеями. Ренанъ, чувствуя, что итогъ вышелъ очень печальный, пускается затѣмъ въ оговорки и извиненія, напримѣръ, что лучше мало знать, да вѣрно, что фанатическіе предразсудки будто-бы вреднѣе, чѣмъ испорченность нравовъ, и т. п. Обращаясь затѣмъ къ себѣ, онъ очень рѣшительно заявляетъ: „и такъ, я былъ правъ, когда въ началѣ своего умственнаго поприща твердо повѣрилъ въ науку и поставилъ ее цѣлью своей жизни" (стр. XIX).

Послѣ всего сказаннаго, это имѣетъ видъ жестокой непослѣдовательности. Не радостное сознаніе своей правоты, а грусть и безнадежность—вотъ прямое впечатлѣніе

того обзора научныхъ успѣховъ, который сдѣланъ Ренаномъ. Его хладнокровный тонъ явно противорѣчитъ содержанію его рѣчей. Да и самая настойчивость, съ которою онъ увѣряетъ себя и читателей, что былъ правъ, показываетъ, что онъ въ этомъ сомнѣвается. Развѣ ученый нуждается въ какихъ-нибудь оправданіяхъ своей любви и преданности наукѣ? Развѣ дѣло дошло до того, что наука должна защищать свои права и что нужно вступаться за тѣхъ, кто въ нее вѣритъ и посвящаетъ ей жизнь? Да, дѣло, очевидно, дошло до этого, какъ скоро наука понимается въ томъ смыслѣ, какъ ее разумѣетъ Ренанъ.

Можно сказать, что онъ представилъ намъ, собственно, не успѣхи наукъ, а только успѣхи матеріализма въ наукахъ. Картина его вѣрна, но мы думаемъ, что этотъ общераспространенный складъ научныхъ убѣжденій есть лишь очень одностороннее отраженіе сущности науки; мы вѣримъ, что и теперь истинное содержаніе наукъ гораздо значительнѣе и, что, вообще, научныя начала имѣютъ несравненно больше внутренней силы и глубины. Ренанъ есть рабъ современности. Онъ преклоняется передъ авторитетомъ наиболѣе популярныхъ изъ нынѣшнихъ ученыхъ такъ же покорно, какъ прежде преклонялся передъ католическимъ ученіемъ.

И однако, въ Ренанѣ еще живы другія понятія, болѣе высокія, чѣмъ его теперешнее исповѣданіе. Послѣднія строчки его предисловія странно противорѣчатъ духу, въ которомъ все оно написано. Заговоривъ о томъ, что человѣчеству и наукѣ не суждено вѣчно существовать, онъ неожиданно заключаетъ: „но, еслибы даже

небо на насъ обрушилось, то мы все-таки уснули бы спокойно съ такою мыслью: Существо, котораго мы были преходящимъ проявленіемъ, всегда существовало, всегда будетъ существовать" (стр. XX).

Конечно, подобная мысль о Богѣ и о нашихъ отношеніяхъ къ нему можетъ быть очень утѣшительна; но гдѣ же хотя малѣйшій слѣдъ этой мысли въ той наукѣ, которую Ренанъ поставилъ цѣлью своей жизни и успѣхи которой онъ намъ только-что излагалъ? Если мірозданіе и человѣкъ есть произведеніе божественной силы, то на всемъ должна лежать нѣкоторая печать этой силы. Стремится ли наука распознать эту печать? Научаетъ ли она насъ умѣнью ее видѣть? Если процессъ, совершающійся въ мірозданіи и въ исторіи, есть нѣкоторая эволюція, то показываетъ ли наука, что направленіе и цѣль этой эволюціи не случайны, а такъ или иначе находятся въ зависимости отъ божественнаго ума и божественной воли?

Вотъ точка зрѣнія, съ которой видно, что то, что̀ Ренанъ считаетъ великимъ успѣхомъ, составляетъ, можетъ быть, великій упадокъ.

VIII.

Новѣйшій образъ мыслей по Вогюэ.

Общераспространенный складъ современныхъ научныхъ убѣжденій былъ часто предметомъ разсужденій и замѣчаній. Мы приведемъ здѣсь чрезвычайно мѣткую и опредѣленную характеристику этого склада, которую нашли у Вогюэ, писателя очень извѣстнаго русской публикѣ.

По случаю выставки 1889 года онъ написалъ рядъ замѣтокъ, въ которыхъ старается уловить внутреннія черты нашего времени и сравниваетъ его съ тѣмъ, что̀ было сто лѣтъ тому назадъ. И онъ рѣшительно утверждаетъ, что тѣ политическія понятія, которыя лежали въ основаніи первой французской революціи и первой республики, уже не имѣютъ силы въ третьей республикѣ, что теперь господствуютъ совершенно другіе взгляды. Переворотъ въ мнѣніяхъ произошелъ въ послѣднія два-три десятилѣтія. Вотъ какъ Вогюэ описываетъ причины этой перемѣны и новое господствующее настроеніе.

„Еще не очень давно авторитетъ революціоннаго символа вѣры (*принциповъ 1789 года*) стоялъ твердо, почти не страдая отъ направленныхъ на него нападеній другихъ доктринъ".

„Индивидуальныя мнѣнія, съ какой бы высоты они ни провозглашались, легко могутъ быть отнесены на счетъ дилеттантизма и почти не имѣютъ дѣйствія на популярное предубѣжденіе; оно бываетъ искореняемо лишь какимъ-нибудь другимъ предубѣжденіемъ. И такое предубѣжденіе понемногу складывалось. Въ это время (*лѣтъ тридцать назадъ*), опытныя науки обладали большимъ кредитомъ: онѣ завладѣли лучшими умственными силами во Франціи и въ другихъ средоточіяхъ европейскаго развитія; онѣ заправляли ходомъ всѣхъ категорій мышленія. Научныя теоріи, не выходившія прежде изъ кабинета своихъ авторовъ или изъ тѣснаго кружка адептовъ, стали распространяться въ образованномъ мірѣ и сложились около этого времени въ извѣстныя ходячія формулы. Создался нѣкоторый философскій символъ вѣры,

общепринятый всѣми, кто давалъ движеніе идеямъ; главные члены этого символа можно сокращенно выразить въ нѣсколькихъ строкахъ":

„Вселенная, непрестанная кристаллизація нѣкоторой темной воли, есть поприще и безпрерывно измѣняющійся результатъ извѣстнаго рода игры силъ. То же опредѣленіе прилагается къ человѣку, клѣточкѣ этого обширнаго организма. Человѣкъ не свободенъ; подчиненный власти всеобщаго детерминизма, онъ безсознательно слѣдуетъ развитію своей внутренней природы; эта природа ведетъ его къ своимъ цѣлямъ посредствомъ цѣлаго ряда искусныхъ обмановъ. Никакой человѣкъ не можетъ быть разсматриваемъ отдѣльно; выхваченный изъ ряда, онъ такъ же мало имѣетъ цѣны и значенія, какъ звено, отдѣленное отъ цѣпи; произведеніе племени, среды и мгновенія, онъ объясняется только наслѣдственностію и общественностію. Его личное усиліе, присоединяясь къ наслѣдственному усилію, стремится постоянно создавать неравенство посредствомъ подбора. Подборъ совершается посредствомъ безпощадной борьбы всѣхъ противъ всѣхъ, посредствомъ побѣды наиболѣе сильнаго,—или (если вводятъ въ дѣло нравственное понятіе) наилучшаго (оба эти слова имѣютъ одинаковый смыслъ въ естественной морали)—надъ наиболѣе слабымъ, надъ наихудшимъ. Сила есть накопившееся качество, приспособленіе какого-нибудь существа къ его особой цѣли. И такъ, нельзя говорить, что сила выше права—это противно смыслу, но нужно говорить: сила создаетъ право. Законъ подбора встрѣчаетъ себѣ противодѣйствіе въ антагонистическомъ законѣ атавизма, или стремленія къ воспро-

изведенію первоначальнаго типа; въ человѣкѣ возвращеніе къ первобытной животности есть постоянная опасность, угрожающая обществу. Въ исторіи, какъ въ біологіи, прежнія состоянія возвращаются подъ новыми формами; безграничное соперничество есть условіе прогресса, появленіе извѣстнаго органа оправдываетъ его употребленіе; права видовъ и недѣлимыхъ пропорціональны ихъ жизненному могуществу".

„Излишне было бы настаивать на соціальныхъ слѣдствіяхъ этихъ ученій; они тяготѣютъ около трехъ главныхъ точекъ: детерминизма, подбора въ силу наслѣдственности, права силы. Гдѣ тутъ свобода, равенство, братство? Далеко ушли мы отъ той философіи, которая внушила *Объявленіе правъ человѣка!*"

„Такъ совершился кризисъ принциповъ 1789 года; они теперь между двухъ огней, между богословскимъ протестомъ, слѣдившимъ за ними издали, и между протестомъ научнымъ, который внезапно поднялся противъ нихъ".

„Я лишь констатирую, что съ 1870 г. избранная въ умственномъ отношеніи часть молодыхъ поколѣній является наблюдателю съ новыми качествами и недостатками. Въ этой избранной части всѣ умы усвоили себѣ указанный выше символъ вѣры. Большею частію они не почерпали изъ источниковъ, никогда не читали авторовъ тѣхъ ученій, дѣйствіе которыхъ на себѣ испытываютъ; тѣмъ не менѣе они проникнуты, часто сами того не зная, идеями, разлитыми въ окружающемъ воздухѣ"[1]).

---

[1]) *E. M. de Vogüé*, A travers l'exposition. Rev. de deux Mondes, 1889, 1 nov. стр. 173—177.

Эта формулировка новѣйшаго настроенія умовъ, сдѣланная Вогюэ, подтверждаетъ и дополняетъ, намъ кажется, печальные итоги Ренана. Не только успѣхи наукъ политическихъ и соціальныхъ слабы, но самыя основы этихъ наукъ разрушаются. Отвлеченныя понятія справедливости, равенства, свободы, такъ долго воспламенявшія умы, теряютъ свою силу и уступаютъ мѣсто не болѣе высокимъ и конкретнымъ идеямъ, а понятіямъ низшаго разряда, представленіямъ борьбы, наслѣдственности, подбора. Источникъ этого пониженія все тотъ же: обобщенія, сдѣланныя въ естественныхъ наукахъ. Люди низводятъ себя въ своемъ пониманіи на степень животныхъ и растеній, даже, какъ мы видѣли, на степень плѣсени и лишаевъ. Какъ будто даромъ пропали всѣ усилія, всѣ тысячелѣтія усилій человѣческихъ жить по разуму, по высшему идеалу, а не по влеченіямъ и законамъ тѣла, не уподобляться презрѣннымъ животнымъ, а возвышаться и мыслью и дѣйствіями до чистой духовности, до созерцанія Божества, до сліянія съ нимъ. Очень странно, что натуралисты вычеркиваютъ эти факты изъ своихъ изслѣдованій; исторія человѣчества должна бы имъ ясно показывать, что у человѣка природа совершенно особенная, не подходящая ни подъ какія придуманныя ими категоріи и обслѣдованные ими процессы. Неужели же вся эта исторія до сихъ поръ была только случайностію, нечаяннымъ уклоненіемъ отъ нормы? Современные мыслители поневолѣ приходятъ къ такой противуестественной мысли. Напримѣръ, Ренанъ (въ томъ же предисловіи) такъ объясняетъ все дѣло:

„Очень возможно, что за паденіемъ вѣрованій въ

сверхъестественное должно послѣдовать паденіе идеалистическихъ вѣрованій, и что мы увидимъ дѣйствительное пониженіе нравственности человѣчества съ того времени, когда оно усмотрѣло дѣйствительность вещей. Посредствомъ нѣкоторыхъ химеръ удалось добиться отъ добраго гориллы поразительныхъ нравственныхъ усилій; но когда химеры будутъ отняты, то часть поддѣльной энергіи, которую онѣ возбуждали, пропадетъ" (стр. XVIII).

Такъ говоритъ историкъ христіанства, котораго даже эта исторія не научила, каковы самыя глубокія и неотъемлемыя свойства души человѣческой. Онъ все-таки думаетъ, что человѣкъ такое же существо, какъ горилла, только очень добрый горилла. Но откуда же химеры, посредствомъ которыхъ *удалось* (on avait réussi) сдѣлать этого гориллу нравственнымъ? Кому это удалось? Какимъ-нибудь помѣшавшимся горилламъ?

И Ренанъ можетъ думать, что нравственность не есть вѣчное стремленіе души человѣческой! Точно онъ въ самомъ дѣлѣ старый горилла, который когда-то былъ человѣкомъ, а теперь прогналъ „химеры", увидѣлъ „дѣйствительность вещей" и сознаетъ себя истиннымъ гориллою. Но, сколько бы вокругъ насъ ни развелось людей, равняющихся горилламъ и смотрящихъ на себя, какъ на гориллъ, это еще ничего не доказываетъ. Исторія пройдетъ мимо ихъ, и наука не удовольствуется этимъ понятіемъ о человѣкѣ.

IX.

Философія.

Ренанъ ни слова не говоритъ о философіи, какъ будто съ 1848 года и до нашихъ дней такой науки вовсе не существовало на свѣтѣ. Въ этомъ пренебреженіи онъ оказывается истиннымъ позитивистомъ, съ тѣмъ только добавленіемъ, что въ самомъ позитивизмѣ онъ не видитъ ничего новаго и ничего философскаго. И конечно, онъ довольно правъ, не только въ отношеніи къ позитивизму, но и въ отношеніи къ философіи. Философія, дѣйствительно, въ это время не играла никакой значительной или руководящей роли въ умственномъ движеніи. Въ началѣ этого періода философія была даже гонима общимъ мнѣніемъ, то-есть была осмѣиваема, презираема, почти ненавидима, какъ пустое мечтаніе, заявляющее огромныя притязанія. Тутъ-то позитивизмъ пріобрѣлъ свою ненадежную славу. Впослѣдствіи нѣкоторые философскіе писатели не только достигли большой извѣстности, но и усердно читались и были предметомъ всякихъ споровъ и сужденій. Таковы Шопенгауэръ, Милль, Спенсеръ, Гартманъ. Но успѣхъ этихъ писателей не означалъ какого-нибудь подъема философіи. Одни изъ нихъ, какъ Шопенгауэръ и Гартманъ, привлекли къ себѣ вниманіе потому, что совпали по своимъ мыслямъ съ пессимистическимъ настроеніемъ времени, съ чувствомъ эгоистической тоски, сопровождающимъ паденіе нравственныхъ идеаловъ. Другіе, какъ Милль и Спенсеръ,

имѣли успѣхъ потому, что говорили въ одинъ голосъ съ эмпириками и опытными изслѣдователями природы, значитъ, поддерживали господствующее научное направленіе. Притомъ это были только усиленныя развитія нѣкоторыхъ прежнихъ философскихъ ученій, напримѣръ Канта, Юма. Конечно, въ силу этихъ развитій можно было ожидать какихъ-нибудь новыхъ шаговъ и въ понятіяхъ о нравственности, и въ вопросахъ о познаніи; но такихъ шаговъ въ это время сдѣлано не было,—что и доказываетъ слабость современнаго философскаго движенія. Въ Шопенгауэрѣ есть глубокій религіозный элементъ; но онъ постоянно ускользалъ отъ вниманія читателей и приверженцевъ и остался безплоденъ для движенія религіозной мысли. Милль далъ вопросу о познаніи поразительную и ясную постановку; но изъ этого вышло только отрицаніе познанія, а не новый шагъ въ его пониманіи.

Если въ настоящую минуту спросить знатока и вмѣстѣ строгаго судью современной философской литературы о положеніи философіи, то, кажется, онъ долженъ будетъ отвѣчать такъ: философіи теперь, пожалуй, не существуетъ, но зато есть психологія. И въ самомъ дѣлѣ, психологическія изслѣдованія чрезвычайно разрослись и утвердились. Они образуютъ науку, подобную какой-нибудь изъ естественныхъ наукъ, то-есть прямо опирающуюся на опытъ, на наблюденіе и экспериментъ, и потому какъ-бы самостоятельную. Здѣсь не мѣсто излагать, какъ она этого достигла и въ чемъ состоитъ ея основной пріемъ, та особая точка зрѣнія, съ которой она разсматриваетъ свои предметы. Но внутренній

смыслъ современной психологіи иногда выступаетъ такъ выпукло, что мы рѣшаемся сказать о немъ нѣсколько словъ. Психологія ближе всякой другой науки связана съ метафизикой, такъ что долгое время, въ силу этой связи, даже не могла получить отдѣльнаго развитія. Но сущность этой связи не можетъ не сохраниться до сихъ поръ. Когда объ этомъ забываютъ, то получается противорѣчіе, рѣзко бросающееся въ глаза и очень характерно рисующее особенность вновь слагающейся науки. Намъ встрѣтился недавно такой случай. Разсказывая о своемъ путешествіи по Индіи, французскій писатель Шеврильонъ пускается въ остроумныя и тонкія размышленія объ индійской религіозности, глубина и высота которой теперь признается и цѣнится во всѣхъ образованныхъ странахъ. Пытаясь уяснить себѣ смыслъ буддизма, онъ, между прочимъ, дѣлаетъ слѣдующее неожиданное сближеніе:

„Декартъ говоритъ: „я мыслю, слѣдовательно, существую". Будда вѣроятно охотно сказалъ бы: „я мыслю, слѣдовательно, я не существую": Въ самомъ дѣлѣ, что такое мысль, какъ не рядъ перемѣнъ, послѣдованіе разныхъ событій? По ученію новѣйшихъ психологовъ, въ ней ничего другаго нѣтъ. Нѣкоторый механизмъ, изслѣдованный въ Англіи Стюартомъ Миллемъ, а во Франціи Тэномъ, создаетъ въ насъ иллюзію субстанціальнаго я; самую опасную изъ всѣхъ иллюзій, говорятъ буддисты, главную западню, устраиваемую намъ искусителемъ Марою; ибо она составляетъ узы, связывающія насъ съ вещами, то великое марево, которое отрываетъ насъ отъ неподвижности и безразличія, чтобы вовлечь

насъ въ дѣйствіе и подталкивать насъ впередъ. Буддизмъ называетъ ее ересью, ересью индивидуальности (*сакка́йа диттги*)" *).

Буддисты, въ силу своихъ тысячелѣтнихъ размышленій и созерцаній, конечно, хорошо знаютъ, откуда они идутъ, чего избѣгаютъ и куда пришли; но между современными психологами вѣроятно многіе не подозрѣвали, что воззрѣнія ихъ науки на душу могутъ быть противопоставлены декартовскому Cogito, ergo sum и что эти воззрѣнія сходятся съ ученіемъ одной изъ древнѣйшихъ религій. Дѣйствительно, есть точка, въ которой совпадаютъ буддизмъ и наша психологія, хотя, конечно, они изъ этой точки потомъ тянутъ въ противоположныя стороны. Подобнымъ же образомъ разошлись психологи и съ положеніемъ Декарта. Декартъ, какъ извѣстно, начинаетъ съ сомнѣнія. Онъ ссылается на то, что есть „ложныя и пустыя" мысли, и остроумно показываетъ, что есть точка зрѣнія, съ которой на *всякую* мысль можно смотрѣть, какъ на ложную и пустую. Конечно, эту точку нужно твердо знать, если мы не желаемъ на ней оставаться, если желаемъ, напротивъ, найти твердый и ясный путь, по которому всегда можемъ сойти съ этой точки и перейти въ область уже не подлежащую сомнѣнію. Но психологи на этой самой точкѣ и любятъ оставаться; она оказалась самою удобною и даже необходимою для ихъ изысканій.

Невольно приходятъ намъ на мысль насмѣшливыя слова Томаса Рида, относящіяся къ тѣмъ, кого можно

*) *André Chevrillon*, Dans l'Inde. Rev. de deux Mondes 1891, 1 janv. стр. 108, 109.

назвать родоначальниками нынѣшней психологіи. Онъ говоритъ:

„Какъ Беркелей разрушилъ весь вещественный міръ, такъ Юмъ, опираясь на такія же основанія, разрушаетъ міръ духовный и не оставляетъ въ природѣ ничего кромѣ идей и впечатлѣній, безъ всякаго субъекта, на которомъ они могли бы впечатлѣваться".

„Кажется, особенный порывъ юмора обнаружился у этого автора въ его введеніи, гдѣ онъ съ серіознымъ видомъ обѣщаетъ никакъ не меньше, какъ полную систему наукъ, построенную на совершенно новомъ основаніи, то-есть на основаніи человѣческой природы *); а между тѣмъ все его сочиненіе стремится показать, что въ мірѣ не существуетъ ни человѣческой природы, ни науки. Можетъ быть, было бы неосновательно жаловаться на такое поведеніе автора, такъ какъ онъ не вѣритъ ни въ собственное существованіе, ни въ существованіе читателя, и потому нельзя думать, что онъ хотѣлъ его озадачить, или посмѣяться надъ его легковѣріемъ" **).

И такъ, уже давно замѣчено (книга Рида вышла въ 1763 году), что иные мыслители выбираютъ для себя точку зрѣнія, съ которой совершенно справедливо будетъ сказать: „я мыслю, слѣдовательно, не существую". Въ наши дни Милль повторилъ Юма, развилъ его мысль до самыхъ крайнихъ предѣловъ, такъ что усомнился даже въ математическихъ аксіомахъ и теоре-

---

*) Дѣло идетъ о книгѣ Юма: «Treatise of human nature».

**) Th. Reid. An inquiry into the human mind, 3 ed. стр. 17.

махъ, которыя Юмъ, по-старому, признавалъ непреложными.

Всякое отчетливое заблужденіе можетъ послужить къ выясненію истины, и въ этомъ смыслѣ не должно насъ излишне огорчать. Здѣсь мы хотѣли только замѣтить, что та психологія, которая нынче въ такомъ ходу, которая такъ богата фактами и такъ ревностно разработывается, очевидно требуетъ какого-то восполненія, а въ теперешнемъ ея видѣ можетъ приводить умы въ странное состояніе, о которомъ говоритъ Шевриль онъ, которое у послѣдователей буддійской *пражны-парамиты* почитается лучшею мудростію, ведущею къ высочайшему благу, но у европейцевъ, кажется, ни во что не разрѣшается, кромѣ безъисходнаго недоумѣнія.

X.

Заключеніе.—Мысль Веневитинова.

Вотъ нѣкоторыя краткія и общія указанія на итоги научныхъ успѣховъ за послѣднія десятилѣтія. Едва-ли можно согласиться съ Ферріери, что нашъ вѣкъ есть вѣкъ научнаго обновленія. Успѣхи современныхъ знаній односторонни и, какъ видно изъ отзывовъ Ренана, эта односторонность такова, что въ самыхъ важныхъ вопросахъ мы достигаемъ только отрицанія или сомнѣнія. Въ силу общераспространеннаго склада научныхъ убѣжденій падаютъ не только нравственныя, но и юридическія понятія. И невозможно указать такого философскаго направленія, такой идеи, которая могла

бы надѣяться получить силу въ научномъ движеніи и измѣнить его ходъ. По всему этому, послѣднюю половину нашего вѣка скорѣе можно назвать временемъ упадка наукъ, чѣмъ временемъ ихъ обновленія.

Для насъ, русскихъ, это тѣмъ печальнѣе, что именно въ это время вліяніе умственнаго движенія Европы у насъ дѣйствуетъ сильнѣе и шире, чѣмъ когда бы то ни было. И, такъ какъ сомобытное наше развитіе очень слабо, то мы неизбѣжно переживаемъ на себѣ всѣ болѣзни и паденія европейской мысли. Лучшіе годы лучшей молодежи тратятся на тщательное изученіе книгъ, не заключающихъ въ себѣ живой и плодотворной мысли, а только упорно развивающихъ какое-нибудь одностороннее ученіе. Между тѣмъ эти книги идутъ одна за другою; умы постоянно развлечены и заняты, слѣдовательно, неспособны отдаться естественнымъ побужденіямъ болѣе здоровыхъ и ясныхъ чувствъ, естественному влеченію неискаженной любознательности.

По поводу подобныхъ соображеній, поэтъ Веневитиновъ, оставившій по себѣ навсегда память немногими стихами высокаго достоинства, сказалъ нѣсколько словъ, которыя, намъ кажется, слѣдуетъ тоже помнить.

Въ статьѣ „Нѣсколько мыслей въ планъ Журнала“ (тогда затѣвался *Московскій Вѣстникъ*, начавшій выходить съ 1827 г.) Веневитиновъ разсуждаетъ о недостаткахъ нашей литературы, изъ которыхъ главный, по его мнѣнію, заключался „не столько въ образѣ мыслей, сколько въ бездѣйствіи мыслей“, и потомъ говоритъ:

„При семъ нравственномъ положеніи Россіи, одно

только средство представляется тому, кто пользу ея изберетъ цѣлію своихъ дѣйствій. Надобно бы совершенно остановить нынѣшній ходъ ея словесности и заставить ее болѣе думать, нежели производить".—„Для сей цѣли надлежало бы нѣкоторымъ образомъ устранить Россію отъ нынѣшняго движенія другихъ народовъ, закрыть отъ взоровъ ея всѣ маловажныя происшествія въ литературномъ мірѣ, безполезно развлекающія ея вниманіе, и, опираясь на твердыя начала философіи, представить ей полную картину развитія ума человѣческаго, картину, въ которой бы она видѣла свое собственное предназначеніе". — „Мы слишкомъ близки къ просвѣщенію новѣйшихъ народовъ и слѣдственно не должны бояться отстать отъ новѣйшихъ открытій, если мы будемъ вникать въ причины, породившія современную намъ образованность, и перенесемся на нѣкоторое время въ эпохи, ей предшествовавшія".—„Философія и примѣненіе оной ко всѣмъ эпохамъ наукъ и искусствъ,— вотъ предметы, заслуживающіе особенное наше вниманіе, предметы тѣмъ болѣе необходимые для Россіи, что она еще нуждается въ твердомъ основаніи изящныхъ наукъ и найдетъ сіе основаніе, сей залогъ своей самобытности, и слѣдственно своей нравственной свободы въ литературѣ, — въ одной философіи, которая заставитъ ее развить свои силы и образовать систему мышленія" *).

Эти прекрасныя мысли приложимы къ нашему времени столько же, и даже болѣе, чѣмъ къ 1827 году, да вѣроятно и надолго еще могутъ годиться для нашего

*) Сочиненія Веневитинова, изд. Смирдина. Спб. 1855 г. стр. 142—144.

руководства. Нужно заботиться о „самобытности“, о „нравственной свободѣ“ нашего умственнаго и художественнаго движенія, нужно „больше думать, нежели производить“, а для этого „устраняться отъ нынѣшняго движенія другихъ народовъ“, именно „закрывать глаза на всѣ маловажныя происшествія въ (европейскомъ) литературномъ мірѣ, безполезно развлекающія наше вниманіе“, и, вмѣсто того, стараться представить себѣ „полную картину развитія ума человѣческаго“ и „вникать въ причины, породившія современную намъ образованность“. Разсматривая эту картину и эти причины, намъ слѣдуетъ искать нѣкоторыхъ „твердыхъ началъ“, которыми объясняется ихъ смыслъ, и потому слѣдуетъ вообще подниматься до высшихъ областей ума, до философскихъ понятій, имѣющихъ руководящее значеніе, и крѣпко держаться на этой высотѣ.

Веневитиновъ писалъ во время относительно счастливое. Тогда господствовала въ научномъ движеніи глубокомысленная философія Шеллинга, и Веневитиновъ, какъ и многіе изъ лучшихъ тогдашнихъ умовъ, былъ ея послѣдователемъ. Чувствуя всю ширину захвата этой философіи и видя зыбкость и мелкость умственныхъ явленій въ нашей литературѣ, онъ какъ-бы боялся, что вліяніе Шеллинга будетъ у насъ недолговѣчно, и потому убѣждалъ писателей и читателей бросить торопливую погоню за всякою новизною и остановиться на плодотворныхъ началахъ и пріемахъ этого философа. Юный поэтъ никакъ не предчувствовалъ, что, лѣтъ черезъ десять или двадцать послѣ его увѣщаній, сами нѣмцы бросятъ и Шеллинга, и его довершителя, Гегеля,

пойдутъ въ науку къ новѣйшимъ французамъ и англичанамъ и станутъ почти краснѣть, когда имъ напомнятъ, что Германія есть отечество философскаго идеализма, что тамъ жили и учили Фихте, Шеллингъ и Гегель.

Мы, русскіе, разумѣется, пошли слѣдомъ за нѣмцами и стали прилежно изучать Бюхнера. Между тѣмъ лучше было бы послушаться Веневитинова и остаться вѣрными нѣмецкому идеализму; тогда, еслибы и оказалась необходимость выйти изъ этого идеализма, мы вышли бы, вѣроятно, не въ ту сторону, въ какую вышли нѣмцы.

29 ноября 1891.

II.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ОБЪ РЕНАНѢ.

1892.

Умеръ великій французскій писатель, и невольно мы задаемъ себѣ общій вопросъ: въ чемъ сила и содержаніе его дѣятельности, и что̀ такое онъ для насъ, русскихъ? Теперь онъ уже весь передъ нами, уже не будетъ больше удивлять и дразнить насъ своими выходками, не будетъ лукаво увѣрять насъ сегодня, что мы напрасно повѣрили тому, что̀ говорилъ онъ вчера. Ренанъ часто подсмѣивался надъ собою, но больше всего онъ, конечно, подсмѣивался надъ читателями, какъ-будто главная его цѣль была—постоянно жалить тупые умы и пустыя души, не давать заглохнуть лучшимъ струнамъ въ ожирѣвшихъ сердцахъ. Его похвалы нерѣдко были очень солоны, а порицанія иногда заключали въ себѣ большую честь. Теперь вся эта игра кончена; иронія и восторженность, лукавство и простодушіе, фраза и слово отъ сердца—все замолкло навсегда, и онъ уже не можетъ ни помѣшать намъ, ни помочь въ пониманіи своихъ писаній. Онъ уже свободенъ отъ вся-

кихъ обязанностей, а на насъ вполнѣ ложится обязанность быть зоркими и добросовѣстными, если желаемъ судить его.

I.

Ренанъ въ нашей литературѣ.

У насъ, въ Россіи, давно составилось и господствуетъ двоякое мнѣніе о Ренанѣ. Одни считаютъ его просто современнымъ вольнодумцемъ, врагомъ религіи и христіанства, такъ сказать, новымъ Вольтеромъ, и потому осыпаютъ его всѣми порицаніями и подозрѣніями, издавна высказываемыми противъ такихъ, враждебныхъ вѣрѣ, писателей. Другіе, напротивъ, хотя не порицаютъ Ренана, но и никакъ не хвалятъ, остаются къ нему совершенно равнодушными, какъ будто къ явленію незначительному и пустому. Таково отношеніе къ нему нашей свѣтской литературы, то-есть того, что обыкновенно называется литературою. Можно даже сказать, что у насъ тѣ, кто чувствовалъ нѣкоторое поползновеніе къ вольнодумству, больше другихъ питали пренебреженіе къ Ренану. Фактъ—очень интересный для нашей умственной жизни. Иностранные писатели у насъ вообще пріобрѣтаютъ значеніе гораздо легче, чѣмъ свои, и даже часто гораздо бо́льшее значеніе, чѣмъ у себя на родинѣ. Но вотъ писатель всесвѣтно знаменитый, притомъ неотразимо привлекательный и заставившій всѣхъ себя читать,—и, однако же, наша литература вполнѣ оттолкнула отъ себя его вліяніе, была къ нему

или рѣшительно враждебна, или рѣшительно равнодушна. Когда, въ 1863 году, вышла Vie de Jesus Ренана, Герценъ назвалъ ее „пустою книжкою", а г-жа Евгенія Туръ, бывшая въ то время въ Парижѣ, такъ отозвалась объ ней въ *Голосѣ* (газета Краевскаго, 1864, № 171):

„Мы считаемъ книгу Ренана книгою, не имѣющею особыхъ достоинствъ и не заслуживающею того шума, который она надѣлала при своемъ появленіи. По нашему мнѣнію, это очень посредственный романъ, и ничуть не ученая книга. Богъ вѣсть, для какой цѣли она написана и какой цѣли она достигла" [1]).

И такъ, самое важное изъ сочиненій Ренана было встрѣчено у насъ не только отрицаніемъ всякой его значительности, но и прямыми подозрѣніями. Съ тѣхъ поръ и до настоящаго времени у насъ не прекращалось подобное холодное и высокомѣрное отношеніе къ Ренану. Изъ сотрудниковъ русскихъ журналовъ едва-ли не я одинъ слѣдилъ за нимъ и изрѣдка кое-что писалъ объ немъ.

Не странное ли это явленіе? Очевидно, просвѣщеніе, почерпаемое нами съ Запада, имѣетъ у насъ какой-то своеобразный ходъ. Напрасно мы только туда и глядимъ, только и добываемъ себѣ европейскія книжки и стараемся познакомиться со всѣмъ новымъ и новѣйшимъ. Есть вещи, которыя никакъ къ намъ не прививаются. Ренанъ для Россіи вовсе не то, что̀ для Франціи и Германіи; тамъ его вліяніе огромно, а у насъ совершенно ничтожно. Вліяніе—что̀ такое? Не просто толпа

---

[1]) *Изъ исторіи литературнаго нигилизма*, стр. 419.

поклонниковъ, а и увлеченіе складомъ мыслей писателя, развитіе его взглядовъ и, наконецъ, борьба съ этими взглядами, сознательное отверженіе ихъ на томъ основаніи, что мы съумѣли стать выше и взглянуть дальше. Ничего такого не возбудилъ у насъ Ренанъ; мы встрѣтили его только слѣпою враждою и слѣпымъ равнодушіемъ, потому, очевидно, что къ правильному, живому отношенію мы еще очень мало способны.

II.

Ренанъ въ европейской литературѣ.

Впрочемъ, правильныя отношенія вообще очень рѣдки. Самъ Ренанъ представляетъ собою образчикъ удивительной неправильности въ умственной жизни народовъ, именно чрезвычайной запоздалости умственнаго вліянія нѣмцевъ на французовъ. Ренанъ вѣдь есть, прежде всего, плодъ нѣмецкой науки, выращенный на французской почвѣ; онъ воспитался на чтеніи нѣмецкихъ философовъ и богослововъ, и отъ нихъ принялъ главный складъ своей мысли и существенные свои научные пріемы. Но не замѣчательно ли, что такъ поздно обнаружилось это вліяніе одной образованности на другую? Еще съ конца прошлаго вѣка, со временъ Гёте, Гердера, Шеллинга, въ Германіи началось то глубокое умственное движеніе, которое сдѣлало эту страну, въ первой половинѣ нашего вѣка, школою высшаго образованія для всего міра. Съ тѣхъ поръ не мало даровитыхъ французовъ побывали въ этой школѣ (напримѣръ,

г-жа Сталь, Кузенъ, Кине и т. д.), и потомъ старались перенести во Францію этотъ новый германскій духъ. Но между народами существуютъ въ этомъ отношеніи какія-то высокія и крѣпкія стѣны, не дающія сливаться разнороднымъ стихіямъ. Все дѣло ограничивалось только поклоненіемъ нѣмецкимъ ученымъ и мыслителямъ, и поклонники вовсе не успѣвали претворить въ свою плоть и кровь существенныхъ стремленій этой литературы. Таковъ, напримѣръ, и въ наши дни Тэнъ, далеко не проникнутый тѣмъ философскимъ духомъ, который онъ такъ высоко цѣнитъ и хвалитъ. Только Ренана можно считать писателемъ, дѣйствительно усвоившимъ себѣ пріемы нѣмецкой мысли; онъ первый успѣлъ подняться надъ обыкновеннымъ уровнемъ французскихъ разсужденій и изслѣдованій, такъ что, какъ бы мы его ни судили, но должны признать, что онъ заставилъ литературу своего народа сдѣлать большой шагъ впередъ.

Очень любопытно также то, какъ появленіе Ренана отразилось въ Германіи. Несмотря на то, что внутренняя работа германскаго духа, конечно, не прекращается, ей случается, однако же, терпѣть долгія остановки и затмѣнія, или же крупныя уклоненія въ сторону. Въ 1863 году было въ Германіи время едва-ли не самаго сильнаго господства матеріализма,—постыдное время, когда почти перестали выходить философскія сочиненія, и профессора философіи, вмѣсто того, чтобы заниматься философіею, писали книги противъ натуралистовъ. Разумѣется, люди религіозные замкнулись въ своихъ вѣрованіяхъ и стали чуждаться богословскихъ и философскихъ изслѣдованій, а люди вольнодумные постоянно

толковали эти изслѣдованія въ свою пользу. Матеріалисты, напримѣръ, думали, что весь смыслъ книги Штрауса Das Leben Jesu состоитъ въ отрицаніи христіанства и даже всякой религіи; потому и вѣрующіе получали право твердить, что ученые, подобные Штраусу, заражены кореннымъ предубѣжденіемъ, доходятъ до явныхъ нелѣпостей, а слѣдовательно, не стоятъ вниманія. Когда разногласіе усиливается до такой степени, когда обѣ партіи одинаково провозглашаютъ: *что не съ нами, то противъ насъ*, тогда исчезаетъ надобность и возможность двигаться впередъ. И, дѣйствительно, философское и богословское движеніе въ это время затихло въ Германіи.

И вдругъ появляется книга Ренана. Германія не могла не узнать въ ней своего дѣтища, не могла не видѣть, что этотъ французъ продолжаетъ лучшія преданія ея мыслителей и экзегетовъ, и что онъ сдвигаетъ изслѣдованіе съ того распутія, на которомъ оно почему-то застряло. Притомъ, блистательная форма писаній Ренана такова, что на нихъ обратилось общее вниманіе, и уже никакъ нельзя было говорить, что дѣло идетъ о полномъ отрицаніи всякой религіи. Нѣкоторые читатели, какъ мы видѣли, гадали даже прямо въ противоположную сторону; они недоумѣвали, *для какой цѣли* написана книга Ренана и *какой цѣли достигла*, т. е. подозрѣвали, что ея тайное стремленіе—поддержать католичество.

По плодамъ ихъ вы узнаете ихъ: въ Германіи книга Ренана составила эпоху, вдругъ оживила экзегетическія и философско-религіозныя изслѣдованія. Начиная съ ея

появленія, нѣмецкая литература по этимъ вопросамъ дала рядъ превосходныхъ сочиненій; Ренанъ какъ будто разрушилъ то оцѣпенѣніе, которое навелъ на всѣхъ черствый и упорный Штраусъ. При этомъ нельзя, конечно, говорить, что нѣмцы научились у Ренана лучшей критикѣ и лучшему умѣнью ставить и понимать вопросы; нѣтъ, нѣмецкіе ученые обыкновенно не безъ пренебреженія отзываются объ учености Ренана и объ его логикѣ. Но онъ взялъ такой тонъ, котораго у нихъ не было, сдѣлалъ попытку художественнаго, т. е. дѣйствительно-историческаго изложенія, на которое они не отваживались; въ этомъ была его сила, и въ этомъ стали съ нимъ соперничать многоученые нѣмцы, притомъ писавшіе нерѣдко съ глубокою и искреннею религіозностію.

Движеніе распространилось и далѣе, напримѣръ, въ Англію. У насъ очень извѣстны по переводамъ двѣ англійскія книги—„Жизнь Христа" Фаррара и „Ecce homo"; безъ возбужденія, произведеннаго Ренаномъ, онѣ, можетъ быть, и не появились бы на свѣтъ, а благочестивые читатели помнятъ, сколько хорошихъ чувствъ и мыслей имъ доставили эти книги.

III.

Полезное вліяніе.

Когда хвалятъ Ренана, то часто его называютъ чрезвычайно *возбудительнымъ* (suggestif), и, конечно, это пре-

красная похвала для писателя. Онъ заставляетъ насъ мыслить, онъ не впадаетъ въ давно проторенныя колеи, а безпрестанно вызываетъ насъ на новыя усилія ума, открываетъ во всѣ стороны какіе-то просвѣты. Почти всегда рѣчь его имѣетъ, если можно такъ выразиться, *тонъ улыбки*, — какъ будто послѣ каждой фразы онъ готовъ спросить читателя: ну, что̀ вы на это скажете? Онъ не уклоняется отъ возраженій, а, можно сказать, прямо ихъ вызываетъ, ни мало не закутывая и не сглаживая своей мысли ходячими выраженіями и формами. Если при такихъ свойствахъ писанія, при умѣньи *возбудительно* толковать о важнѣйшихъ и труднѣйшихъ предметахъ, онъ достигъ большаго вліянія и, какъ мы видѣли, вызвалъ, нѣкоторымъ образомъ, цѣлую литературу, то ему слѣдовало бы отдать большую честь, даже въ томъ случаѣ, еслибы мы находили себѣ пищу для ума не въ его собственныхъ писаніяхъ, а только въ этой вызванной ими литературѣ. Но Ренанъ, какъ кажется, заслуживаетъ не такой лишь скупой похвалы. Несомнѣнно, что въ немъ была значительная религіозность, и что въ ней содержится главная тайна его значенія и успѣха. Его проницательность въ отношеніи къ религіознымъ движеніямъ души — часто удивительна; пусть онъ не обнимаетъ всецѣлой сферы религіозной жизни, но зато во многихъ ея областяхъ онъ понимаетъ всѣ тонкости и оттѣнки. Такимъ образомъ, несмотря на всякія ошибки, противорѣчія и заблужденія, въ книгахъ Ренана есть драгоцѣннѣйшій элементъ, какого, напримѣръ, и слѣда нѣтъ у Штрауса. Поэтому и возставать на Ренана, и обличать его нужно всегда съ осторож-

ностью, чтобы не оказалось, что мы, вступаясь за религію, сами иныхъ вещей въ ней понимать не умѣемъ.

Предметъ этотъ очень труденъ; чтобы пояснить и подтвердить нашу тему, мы сошлемся на одного изъ самыхъ жестокихъ противниковъ Ренана, на знаменитаго въ католической литературѣ отца *Гратри*, писателя, высокаго по характеру и горячаго защитника религіи. Вотъ, что онъ пишетъ:

„Въ эти послѣдніе дни я замѣчаю трогательное явленіе. *Жизнь Іисуса*, это сплетеніе противорѣчій и ошибокъ, эта книга, наполненная оскорбленіями для Христа, содержитъ десять или двѣнадцать страницъ удивленія, преклоненія и почтенія передъ Его красотою. Въ этихъ строчкахъ свѣтятся передъ нами, хотя уменьшенныя и затертыя, нѣкоторыя черты Іисуса. И что же? Вотъ я встрѣчаю многія души, которыя, во всей книгѣ, поняли и увидѣли только это одно. Божественное сіяніе чертъ Христа затмило для нихъ все остальное. На ихъ глаза тамъ вовсе нѣтъ этого остальнаго. И, дѣйствительно, если нѣсколько этихъ чертъ суть истинныя черты Христа, то остальное не имѣетъ существенности. Умъ не принимаетъ и не переноситъ въ одно и то же время противоположностей. Раздѣленіе признаковъ совершается въ умѣ читателей болѣе ясно, чѣмъ оно совершено въ книгѣ. Одни видятъ и одобряютъ оскорбленія, другіе— удивленіе и благоговѣніе. Никто не понимаетъ того и другаго вмѣстѣ“.

„Истинно же умиляетъ меня въ настоящемъ случаѣ то, какъ всемогуща эта единственная въ своемъ родѣ красота; довольно немногихъ искаженныхъ ея чертъ,

чтобы книга, рѣшительно невыносимая, показалась прекрасною" *).

Вотъ факты, засвидѣтельствованные достовѣрнѣйшимъ очевидцемъ, притомъ глубоко понимающимъ дѣло. Гратри указываетъ не на рѣдкіе и единственные случаи; онъ прямо говоритъ о *многихъ душахъ*. Послѣ этого становится понятнымъ, что между невѣрующими нашлись люди, которыхъ книга Ренана возвратила къ вѣрѣ и даже къ церкви,—извѣстные факты, возбудившіе, конечно, немалое негодованіе вольнодумцевъ.

Подобныя явленія должны глубоко радовать каждаго признающаго высокое значеніе религіи. Нужно вспомнить, какъ трудны въ этихъ сферахъ всякіе истинные успѣхи, какъ безплодны бываютъ самыя напряженныя усилія. Краснорѣчіе проповѣдниковъ, несмотря на ихъ полную убѣжденность и благоговѣніе, обыкновенно скользитъ по сердцамъ, какъ давно привычная музыка, или громкая, но безжизненная реторика. Хотя слово есть наилучшее средство для выраженія мысли, но слово можетъ и закрывать нашу мысль, можетъ становиться между говорящимъ и слушающимъ, и мѣшать одной душѣ сообщаться съ другою. Если Ренанъ съумѣлъ избѣжать такой помѣхи, если онъ успѣлъ передать читателямъ то удивленіе и вдохновеніе, которое самъ чувствовалъ, то немудрено, что многимъ его книга „показалась прекрасною", какъ говоритъ Гратри, можетъ быть, прекраснѣе иныхъ писаній, безукоризненно благочестивыхъ и чуждыхъ вольнодумства, но мало затрогивающихъ сердце читателя.

*) *A. Gratry*, Les sophistes et la critique. Par. 1864., стр. 284, 285.

Вообще, Ренана, который никогда не переставалъ говорить о Богѣ, о религіи,о нравственныхъ требованіяхъ, у котораго не сходили съ языка эти высшіе вопросы, нужно признать крупнымъ дѣятелемъ въ томъ поворотѣ отъ вещества и внѣшняго благополучія къ духу и внутреннимъ запросамъ совѣсти, который такъ сильно сказывается въ послѣднія десятилѣтія и среди котораго мы теперь живемъ. Безъ сомнѣнія, этотъ писатель хотѣлъ. добра и въ нѣкоторой мѣрѣ успѣлъ въ томъ, чего хотѣлъ

IV.

Католическій протестантъ.

Но все это—общія точки зрѣнія, съ которыхъ можно видѣть общее значеніе писателя, но не опредѣляются его особенности, не видно опредѣленнаго итога, къ которому сводится трудъ его жизни. Что̀ сдѣлалъ Ренанъ? Выяснилъ-ли онъ какія-нибудь стороны религіи и христіанства, и, если выяснилъ, то какія именно? Намъ хотѣлось бы указать здѣсь хоть одну-двѣ характеристическія черты этой дѣятельности.

Особенности каждаго писателя непремѣнно зависятъ отъ народа, въ которомъ онъ родился, и отъ религіи, въ которой воспитался. Значеніе религіи въ этомъ отношеніи часто вовсе опускается изъ виду, между тѣмъ какъ оно неизмѣримо глубоко и важно. Такъ, напримѣръ, вся нѣмецкая ученость, философія и поэзія носятъ на себѣ очевидную печать протестантства. Этотъ народъ даже прямо представляетъ то удивительное зрѣлище, что между

его свѣтскою и его духовною литературою нѣтъ того рѣзкаго раздѣленія, какое существуетъ между этими двумя областями въ католическихъ странахъ. Французы, а за ними и мы, русскіе, часто забываемъ объ этомъ, и отъ насъ ускользаетъ духовный элементъ, глубоко проникающій нѣмецкихъ писателей. Мы принимаемъ за ничего не значащую случайность, что Гердеръ и Шлейермахеръ были духовными лицами, что Шеллингъ и Гегель были студентами богословія, и т. д., и мы не замѣчаемъ, что эти мыслители до конца остались тѣмъ, чѣмъ они были. Религіозный духъ нѣмецкаго идеализма мы преспокойно откидываемъ; у Канта мы читаемъ *Критику чистаго разума*, но не придаемъ важности *Критикѣ практическаго разума*; у Фихте изучаемъ *Наукословіе*, но никакъ не *Руководство къ блаженной жизни*, и т. д. Вообще, мы не умѣемъ понимать богословскаго характера главнѣйшихъ нѣмецкихъ мыслителей; мы все ищемъ у нихъ вольнодумства и остаемся слѣпы къ тому, что̀ въ нихъ всего важнѣе и поучительнѣе. Въ этомъ отношеніи, въ отношеніи къ глубокой связи между религіею и умственной жизнью, можно позавидовать протестантамъ. Отдѣлившись отъ церкви, оставшись наединѣ со своею совѣстію и съ Библіею, они естественно направили свой умъ на обще-религіозные вопросы и на изученіе Писанія. Они всячески пытались создать себѣ философію, которая возвышалась бы до внутреннѣйшаго смысла религіи; и дѣйствительно, какъ Аристотель свою матефизику называлъ *теологіею*, такъ и геніальныя системы нѣмецкаго идеализма можно прямо назвать рядомъ попытокъ научнаго богомыслія. Съ другой стороны, цѣлыя

поколѣнія ученыхъ, со всей нѣмецкой основательностію, со всѣмъ нѣмецкимъ прилежаніемъ, посвящали себя изученію Библіи. Священная книга была изучена до послѣдней іоты, была изслѣдована во всевозможныхъ отношеніяхъ. Протестантская экзегетическая литература есть нѣчто удивительное въ своемъ родѣ, представляетъ колоссальный трудъ, который ясно свидѣтельствуетъ о религіозномъ воодушевленіи трудившихся. Можно быть недовольнымъ иными выводами этихъ толковниковъ, можно и философскій идеализмъ считать одностороннимъ взглядомъ, но, во всякомъ случаѣ, задумывая лучшую экзегетику и лучшую философію, приходится идти въ школу къ протестантамъ и постараться превзойти то, что они сдѣлали.

Такимъ образомъ, и Ренанъ, примыкая къ нѣмецкой наукѣ, въ сущности и тѣмъ самымъ примкнулъ къ протестантству. Его уваженіе къ религіи было великою новостью для парижанъ, но по ту сторону Рейна оно никого не удивило. Онъ сталъ употреблять формулы Гегеля, сталъ излагать взгляды библейскихъ критиковъ, но все это въ Германіи было хорошо знакомо каждому прилежному студенту богословія, и нашлись строгіе нѣмцы, которые рѣзко обличали подражателя и въ слабомъ пониманіи философіи, и въ поверхностномъ знакомствѣ съ трудами экзегетики. Такъ судилъ, между прочимъ, знаменитый оріенталистъ Эвальдъ, очень религіозный человѣкъ, который еще въ пятидесятыхъ годахъ самъ написалъ и *Исторію израильскаго народа* и *Исторію Христа*. Въ заключеніе своего разбора *Жизни Іисуса* Ренана, Эвальдъ говоритъ: „Если теперь мы возвратимся къ

тому, что въ этомъ сочиненіи можно найти добраго и прекраснаго, то мы замѣтимъ, что все это заимствовано изъ нѣмецкихъ источниковъ и есть не что иное, какъ плодъ послѣднихъ трудовъ Германіи..... Говоримъ это не для того, чтобы потребовать себѣ назадъ честь, весьма скудную, если взять эту книгу въ ея цѣломъ; но мы удивляемся, что нашъ авторъ, вопреки своему обычаю, уже не ссылается больше на Германію, и что онъ, во всей своей книгѣ не упоминаетъ о тѣхъ нашихъ трудахъ, которые относятся къ предмету его сочиненія" (Gött. gelehrte Anz. 1863).

И такъ, религіозный складъ мыслей, слѣды котораго мы находимъ у Ренана и который онъ умѣетъ выражать съ такою силою и искусствомъ, есть, во-первыхъ, плодъ протестантства. Ренанъ протестантъ, насколько онъ сознательно держится своихъ идей. Всякій фактъ, всякій текстъ онъ возводитъ къ ихъ общему, отвлеченному смыслу, и религія для него есть только дѣло совѣсти каждаго.

Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ и католикъ. Какъ извѣстно, онъ былъ даже съ дѣтства назначаемъ къ духовному званію и получилъ высшее католическое образованіе въ семинаріи св. Сульпиція. Поэтому, чисто-католическія воззрѣнія у него безпрестанно отзываются. Напримѣръ, онъ всегда исповѣдывалъ умственный аристократизмъ, извинялъ приспособленіе къ обстоятельствамъ, pias fraudes и т. д.

Мы здѣсь намѣчаемъ только темы для характеристики Ренана, которую не легко выполнить. Вообще же слѣдуетъ сказать, что двойственное положеніе Ренана дѣлало

его мысль часто шаткою, но въ то же время давало ему чрезвычайную ширину взгляда. Онъ могъ понимать обѣ половины западнаго христіанства, могъ и въ той и въ другой чувствовать значеніе частностей, которыя обыкновенно исключаютъ другъ друга въ умахъ.

V.

Свѣтскій писатель.

Здѣсь очередь остановиться на одной чертѣ, которая, какъ намъ кажется, играла огромную роль въ писаніяхъ Ренана. Отказавшись отъ духовнаго званія и отъ всякаго подчиненія церкви, онъ долженъ былъ сдѣлаться *свѣтскимъ* писателемъ. Въ католическихъ странахъ существуетъ самое рѣзкое раздѣленіе между духовною и свѣтскою литературою. Каждая изъ нихъ живетъ и растетъ самостоятельно, какъ будто между ними нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго,—даже больше, какъ будто одна противоположна другой. Причина этого раздѣленія заключается, конечно, въ духовной литературѣ, въ томъ, что она все рѣзче и рѣзче опредѣляла свои границы, все рѣшительнѣе мѣшала своимъ писателямъ выходить за эти границы и отвергала всякаго посторонняго писателя, котораго мысль не умѣщалась вполнѣ внутри этихъ границъ.

Со времени реформаціи католическій міръ чувствовалъ постоянное стремленіе соперничать съ протестантскимъ. Папы съ тѣхъ поръ покинули прежнюю распущенность нравовъ, старались достигнуть безупречной

жизни и дѣятельности; точно также, католическіе богословы не хотѣли отставать отъ протестантскихъ въ подвигахъ мысли и всякой учености. Но, если съ тѣхъ поръ въ католичествѣ и умножилось число людей истинно святой жизни, то въ умственной сферѣ, однако же, всѣ попытки и усилія оказались безплодными. Потому что, какъ скоро эрудиція или философія какого-нибудь писателя выступали или даже только казались выступающими за извѣстные предѣлы, онъ подвергался безпощадному отлученію. Можно насчитать много трогательныхъ примѣровъ, когда люди чрезвычайно даровитые и всей душою стремившіеся укрѣпить католичество посредствомъ науки и мысли, достигали только того, что подъ конецъ были осуждаемы какъ исказители вѣры и враги религіи. Поэтому, совершенно правъ былъ нынѣшній папа, когда посовѣтовалъ своимъ профессорамъ и академикамъ просто вернуться къ Ѳомѣ Аквинскому, и слѣдовательно зачеркнуть всю свою и чужую философію, какая появилась съ тѣхъ поръ. Ученые послушались совѣта, и дѣло идетъ теперь превосходно.

Такимъ образомъ, въ католическихъ странахъ образовалась постепенно цѣлая пропасть между духовною и свѣтскою областью. Свѣтская литература выросла въ постоянной борьбѣ и враждѣ съ духовною, перестала понимать все религіозное и поставила вольнодумство почти прямо своимъ знаменемъ. Главное же ея противодѣйствіе состояло въ томъ, что весь интересъ человѣческой жизни былъ перенесенъ ею на другой полюсъ, именно на земныя блага и радости, которыя она и разработывала совершенно свободно, съ величайшимъ

усердіемъ и успѣхомъ. Притомъ, сама литература сдѣлалась отчасти забавою, удовольствіемъ. Главная масса читателей въ настоящее время уже читаетъ не для того, чтобы мыслить и въ чемъ-нибудь наставляться, а для того, чтобы развлекаться, чтобы потѣшаться игрою воображенія. Отсюда удивительные успѣхи въ искусствѣ разсказывать, изображать дѣйствительность словами.

И вотъ Ренанъ захотѣлъ попасть въ тонъ этой литературы. Онъ, впрочемъ, искренно восхищается всѣмъ этимъ движеніемъ, онъ преклоняется передъ своимъ вѣкомъ съ такимъ же чувствомъ, какъ если бы онъ былъ средневѣковой монахъ, который какимъ-то чудомъ перенесенъ въ XIX столѣтіе и ослѣпленъ вдругъ открывшимися ему умственными и вещественными успѣхами людей. Поэтому онъ во всемъ захотѣлъ быть какъ можно болѣе *свѣтскимъ*, ни въ чемъ не показаться *семинаристомъ*. Эти его старанія очень замѣтны; отъ нихъ происходитъ особенная пикантность его изложенія, когда онъ о священныхъ предметахъ говоритъ не только *мірскимъ*, но прямо свѣтскимъ тономъ; тутъ онъ иногда впадаетъ даже въ пошлость, напускаетъ на себя развязность и сальность какого-то вертопраха.

Подъ конецъ жизни, онъ, вѣроятно, чувствовалъ, что его усердіе нерѣдко заходило слишкомъ далеко. Въ 1890 году онъ писалъ: „въ моихъ сочиненіяхъ, назначенныхъ для свѣтскихъ людей, я долженъ былъ принести много жертвъ тому, что во Франціи называется вкусомъ“. Невольно хочется спросить: какая же была нужда Ренану писать для свѣтскихъ людей? Ради какихъ благъ онъ вздумалъ служить не своему уму и чувству, а „тому,

что̀ во Франціи называется вкусомъ"? И жалко и досадно, если такому пустому идолу Ренанъ „принесъ много жертвъ", какъ онъ увѣряетъ.

Дальше онъ нѣсколько поясняетъ свою жалобу. „Французскія требованія ясности и умѣренности, которыя иногда, нельзя въ томъ не признаться, принуждаютъ насъ говорить лишь часть того, что̀ мы думаемъ, и вредятъ глубинѣ, казались мнѣ тиранніею. Французскій языкъ хочетъ выражать лишь ясныя вещи; между тѣмъ, самые важные законы, тѣ, которые касаются превращеній жизни, не бываютъ ясны; мы ихъ усматриваемъ въ нѣкоторомъ полусвѣтѣ". „Такимъ-то образомъ, Франція прошла мимо иныхъ драгоцѣнныхъ истинъ, не то чтобы не видя ихъ, но отбрасывая ихъ въ сторону, какъ нѣчто безполезное или невозможное для выраженія" [1]).

Въ этихъ самооправданіяхъ или самообвиненіяхъ, можетъ быть, есть нѣкоторое преувеличеніе. Можетъ быть, то, чего не успѣлъ высказать Ренанъ, эта область „глубины" и „драгоцѣнныхъ истинъ", не такъ велика, какъ можно подумать съ перваго раза. Вѣроятнѣе, что онъ самъ, какъ истый французъ, не чувствовалъ расположенія говорить о томъ, что̀ видѣлъ только „въ полусвѣтѣ". Въ сущности, онъ не обладалъ философскимъ складомъ мысли; у него нигдѣ нѣтъ точной постановки понятій и ихъ послѣдовательнаго развитія. Онъ имѣлъ большой вкусъ къ философскимъ соображеніямъ, но обыкновенно понималъ ихъ только въ образахъ и фантазіяхъ, уловлялъ ихъ смыслъ чувствомъ, а не умомъ.

---

1) *L'avenir de la science.* Préface. V, VII

Тѣмъ привлекательнѣе онъ для читателей, но едва-ли можно сказать, что онъ скрывалъ про себя пониманіе болѣе глубокое, чѣмъ то, которое успѣлъ выразить.

VI.

Оцѣнка со стороны католиковъ и протестантовъ.

Вотъ стихіи, изъ которыхъ сложился умственный міръ Ренана. Онѣ влекли его въ разныя стороны; но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ давали ему такое богатство мыслей, какое рѣдко можетъ встрѣтиться. Германскій французъ, или французскій германецъ, протестантскій католикъ, свѣтскій монахъ—таковъ былъ человѣкъ, задумавшій написать *Исторію первобытнаго христіанства.*

Что̀ же вышло? Не мудрено, что всѣ его читали (кромѣ Спенсера, объявившаго о томъ въ газетахъ) и что онъ никому не угодилъ. Говорить объ этой книгѣ можно безъ конца; но для насъ интересно было бы найти для нея основную точку зрѣнія, то-есть ту точку, съ которой открывается главная ея черта. Волей-неволей приходится и придется читать Ренана; не дурно бы поискать какихъ-нибудь указаній, при которыхъ мы могли бы въ немъ не путаться, могли тотчасъ видѣть его ложную сторону и прямо брать то хорошее, что̀ въ немъ есть.

Католики не могутъ намъ помочь въ этомъ дѣлѣ. Они встрѣтили книгу Ренана съ обыкновеннымъ въ такихъ случаяхъ слѣпымъ фанатизмомъ. Тотъ же чистосердечный и блестящій умомъ Гратри, изъ котораго мы привели выписку, говорящую отчасти въ пользу

Ренана, въ другихъ мѣстахъ объявляетъ и старается доказать, что Vie de Jesus „основана не только на атеизмѣ, но на отрицаніи разума, что она есть лучшій плодъ, завершенное, классическое, окончательное произведеніе софистической школы, самой странной, самой слѣпой и наиболѣе достойной сожалѣнія, какая только упоминается въ исторіи человѣческой мысли“ *). (Тутъ разумѣется школа Гегеля).

Невольно приходитъ на умъ поговорка: *кто слишкомъ много доказываетъ, ничего не доказываетъ.* Когда порицаніе доходитъ до такой крайней степени, оно теряетъ всякую силу, потому что слишкомъ ясна его несправедливость. А главное—оно намъ безполезно; оно лишаетъ порицаемую книгу всякаго человѣческаго смысла, дѣлаетъ изъ нея невозможное чудище, а потому не можетъ руководить насъ даже въ пониманіи ея темныхъ, дурныхъ сторонъ.

Настоящую свою критику Ренанъ нашелъ у протестантовъ, притомъ не у какихъ-нибудь отсталыхъ лютеранъ, а у самыхъ передовыхъ протестантовъ, доходящихъ до грани вольнодумства, или даже перешедшихъ эту грань. Они вполнѣ цѣнятъ достоинства Ренана, значеніе того поворота, который онъ произвелъ въ пріемахъ исторіи, составлявшей его предметъ; но ихъ поразилъ у него нѣкоторый существенный порокъ, именно, недостатокъ чистаго вкуса и чистаго нравственнаго чувства. Такъ, *Карлъ Шварцъ* указываетъ у него погоню за „рѣзкими контрастами, совершенно напоминающими

*) Les sophistes et la critique, стр. 36.

поэзію новѣйшихъ французскихъ романтиковъ, послѣднія произведенія Виктора Гюго"; но, сверхъ того, „повсюду проглядывающую нравственную распущенность, тоже новѣйшаго парижскаго времени". „Онъ думаетъ", продолжаетъ Шварцъ, „что всѣ великія дѣла дѣлаются только посредствомъ народа, что для дѣйствія на народъ нужно отдаваться его идеямъ, нужно брать его, какъ онъ есть, со всѣми его иллюзіями". „Ренанъ особенно любитъ украшенія, угождающія вкусу читателей и *читательницъ* романовъ. Сюда мѣтятъ романическіе намеки въ отношеніи къ Маріи Магдалинѣ, къ женѣ Пилата, увидѣвшей въ окно чарующій образъ юнаго галилеянина" и пр. Нельзя не согласиться съ Шварцомъ, что во всемъ подобномъ, дѣйствительно, слышно вѣяніе „новѣйшаго парижскаго духа съ его нравственною гнилью" *).

Разумѣется, намъ нельзя здѣсь вдаваться въ обширныя выдержки и разъясненія. Приведемъ лишь, ради подтвержденія, еще отзывъ Шерера, глубокаго и тонкаго писателя. Онъ осыпаетъ похвалами Vie de Jesus, но въ заключеніе говоритъ:

„Несравненное величіе религіи Христа состоитъ именно въ томъ, что, будучи религіею абсолютно нравственною, она не связана ни съ какимъ условіемъ времени или національности. Что̀ принесла она въ міръ? Она принесла нѣкоторый идеалъ жизни, понятіе *святости*, понятіе, уже знакомое людямъ Ветхаго Завѣта, но которое еще болѣе возвысилъ и въ то же время

*) *Schwarz*, Zur Geschichte der neuesten Theologie, 4-te Aufl. Leipz., 1869, стр. 538 и сл.

смягчилъ сынъ Маріи, которое Онъ, какъ-бы сказать, пропиталъ слезами и нѣжностію, такъ что оно съ тѣхъ поръ навсегда завладѣло совѣстью людей".

„Вотъ въ чемъ духъ ученія и миссіи Іисуса, вотъ область идей, въ которой нужно установить свою мысль, если желаемъ точно опредѣлить характеръ христіанства. Между тѣмъ, Ренанъ сталъ на иную точку зрѣнія, на точку художника. Вмѣсто того, чтобы смотрѣть на Евангеліе со стороны нашихъ нравственныхъ инстинктовъ, онъ искалъ въ немъ преимущественно великаго, прекраснаго, я готовъ былъ сказать — красиваго (буквально joli — хорошенькаго). Онъ приложилъ къ жизни Іисуса чисто эстетическія категоріи. Онъ имѣлъ на это право, безъ сомнѣнія. Первая свобода автора есть свобода дѣлать лишь то, что онъ хочетъ дѣлать. Вообще, мы не видимъ причины, почему бы человѣкъ свѣтскій и художникъ не имѣлъ тоже права сказать намъ, какою онъ находитъ религію, разсматриваемую съ внѣшней стороны. Но нужно признать, однако же, что дѣйствительно понимаются вещи только когда мы ихъ оцѣниваемъ по ихъ собственной природѣ, а люди, когда мы отдаемся ихъ генію, — и даже, что настоящее художество есть художество, которое во всякомъ предметѣ сообразуетъ свой тонъ, свой рисунокъ, свой стиль съ характеромъ воспроизводимыхъ имъ фактовъ" 1).

Вотъ жестокій приговоръ, отъ котораго никогда не уйдетъ Ренанъ. Онъ сталъ на точку, не соотвѣтствую-

---

1) *E. Scherer*, Mélanges d'histoire réligieuse. 2-me éd. Par. 1865, стр. 126, 127.

щую предмету, да и на этой точкѣ не исполнилъ ея высшихъ требованій. Нельзя также и не почувствовать ироніи, когда за Ренаномъ признаются права *свѣтскаго* человѣка, какъ-будто онъ никогда и не былъ духовнымъ, какъ будто его свѣтскость ничуть не умышленная, а натуральная.

Между тѣмъ, ради этой свѣтскости, которую ему такъ хотѣлось усвоить, онъ беретъ религію больше всего „съ внѣшней стороны", онъ почти упускаетъ изъ вида ея нравственный элементъ, тотъ „идеалъ жизни", который она внесла въ человѣчество. Слѣдовательно, онъ неизмѣримо понижаетъ и искажаетъ предметъ, о которомъ писалъ.

VII.

Отзывъ Аміеля.

Книга Ренана возбудила множество споровъ и опроверженій, цѣлую литературу, очень любопытную, если слѣдить въ ней за принципами, сознательно или безсознательно одушевлявшими пишущихъ. Намъ кажется особенно интереснымъ здѣсь эпизодъ съ Аміелемъ, прославившимся своими посмертными записками. Ренанъ, какъ извѣстно, никогда не вступалъ въ споры, никому не отвѣчалъ ни на какія нападенія. Онъ молчалъ даже тогда, когда ему приписывались разговоры, которыхъ онъ не велъ, когда печатались письма, которыхъ онъ не писалъ. Но съ Аміелемъ у него вышло что-то похожее на полемику. Аміель, бывшій профессоръ фило-

софіи въ Женевѣ, при жизни не имѣлъ никакой извѣстности; но, когда онъ умеръ (1881 г.), друзья его издали въ двухъ небольшихъ томикахъ выборку изъ дневника, который онъ постоянно велъ и который, въ теченіе десятковъ лѣтъ, составилъ рукопись, равную десяткамъ томовъ. Выборка, изданная подъ названіемъ Journal intime, поразила всѣхъ глубиною и силою мыслей и выраженія, и сразу поставила имя Аміеля въ разрядъ первостепенныхъ знаменитостей. Вотъ въ этомъ-то дневникѣ, гдѣ обсуждаются между прочимъ всякаго рода писатели, читанные авторомъ, встрѣтились отзывы и объ Ренанѣ. И вотъ, Ренанъ, не отвѣчавшій никому изъ живыхъ, почему-то отвѣтилъ на загробную укоризну Аміеля.

Приведемъ сперва, что̀ говоритъ Аміель. Замѣтимъ, что онъ былъ реформатъ, былъ глубоко посвященъ въ германскую философію и отличался необыкновенною чуткостію. Онъ высоко цѣнитъ литературныя достоинства Ренана. Вотъ, напримѣръ, какъ онъ его характеризуетъ:

„20-го іюля 1869 года. Прочиталъ пять или шесть главъ *Св. Павла* Ренана. Если анализировать до конца, авторъ — вольнодумецъ, но вольнодумецъ, коего гибкое воображеніе умѣетъ предаваться тонкому эпикуреизму религіознаго чувства. Онъ считаетъ грубымъ того, кто не поддается этимъ граціознымъ мечтамъ, и ограниченнымъ того, кто принимаетъ ихъ серіозно. Онъ забавляется видоизмѣненіями совѣсти, но онъ слишкомъ тонокъ, чтобы надъ ними смѣяться. Настоящій критикъ ничего не заключаетъ и ничего не исключаетъ; все его

удовольствіе—понимать не вѣря и наслаждаться созданіями энтузіазма, сохраняя притомъ свободу ума и ничуть не подпадая иллюзіи. Такіе пріемы кажутся фокусничествомъ; но это лишь благодушная иронія очень образованнаго ума, желающаго не быть чуждымъ ничему и не впадать ни въ какой обманъ. Это совершенный дилеттантизмъ Возрожденія. А сверхъ того—взгляды, взгляды безъ конца — и радостное чувство науки" 1).

Но, спустя нѣсколько времени, Аміель уже не такъ спокойно оцѣниваетъ этотъ удивительный *дилеттантизмъ*, а произноситъ надъ нимъ суровый приговоръ:

„15-го авг. 1871 года. Прочелъ во второй разъ La vie de Jesus Ренана. Характеристично въ этомъ анализѣ христіанства то, что грѣхъ не играетъ въ немъ никакой роли. Между тѣмъ, если что-нибудь объясняетъ успѣхъ Благой Вѣсти между людьми, то именно то, что она приносила избавленіе отъ грѣха, однимъ словомъ, спасеніе. Слѣдовало бы, однако же, объяснять религію религіозно и не увертываться отъ средоточія своего предмета. Это не тотъ Христосъ, который составлялъ силу мучениковъ и который отеръ столько слезъ. У автора не достаетъ нравственной серіозности, и онъ смѣшиваетъ благородство со святостію. Онъ говоритъ какъ впечатлительный художникъ о трогательномъ предметѣ, но его совѣсть, повидимому, не заинтересована въ вопросѣ. Развѣ можно смѣшать эпикуреизмъ воображенія, отдающагося прелести эстетическаго зрѣлища,

---

1) *H. Amiel*, Fragments d'un journal intime, 5-me éd. t. II, стр. 62.

съ терзаніями души, страстно ищущей истины? Въ Ренанѣ есть еще остатокъ семинарской хитрости; онъ изъ священныхъ шнуровъ дѣлаетъ петли, которыми давитъ. Можно, пожалуй, допустить эти презрительныя нѣжности въ отношеніи къ какому-нибудь духовенству, болѣе или менѣе коварному, но передъ искренними душами слѣдовало бы держаться нѣкоторой болѣе почтительной искренности. Пересмѣивайте фарисейство, но собюдайте прямоту, когда говорите съ честными людьми" [1]).

Это совершенно справедливо, и сказано мѣтко и сильно. *Недостатокъ нравственной серіозности, недостатокъ прямоты и искренности*—вотъ глубокій порокъ Ренана. Но конечно, не весь Ренанъ въ этомъ порокѣ; конечно, въ то же время онъ всячески старается добиться отъ себя именно нравственной серіозности и искренней прямоты, но только никогда не можетъ этого вполнѣ достигнуть; онъ ищетъ Бога, но часто лишь теряется въ пустотѣ, онъ безпрестанно пускается въ откровенность, но часто лишь доходитъ до границы, за которой начинается цинизмъ. Онъ не можетъ воздерживаться отъ колебанія, и въ этихъ безпрерывныхъ и иногда очень странныхъ колебаніяхъ—его слабость и, вмѣстѣ, его сила. Если мы разгадаемъ ихъ секретъ, то съумѣемъ найти и много добраго въ усиліяхъ этого гибкаго ума. Но, во всякомъ случаѣ, Ренанъ весь высказался, и не слѣдуетъ предполагать въ немъ какой-нибудь скрытой глубины.

---

[1]) Тамъ же, стр. 122, 123.

VIII.

Отвѣтъ Ренана Аміелю.

Въ 1884 году, черезъ два года послѣ выхода книги Аміеля, Ренанъ написалъ большой разборъ этой книги и тутъ отвѣчаетъ на мѣста, въ которыхъ она касается его самого.

Можно думать, что Ренанъ почувствовалъ себя задѣтымъ за живое. Весь его разборъ написанъ какъ будто съ желаніемъ не оцѣнить, а уронить Аміеля въ глазахъ читателей. Достоинства *Дневника* были съ великимъ мастерствомъ анализированы въ статьѣ Шерера, приложенной къ *Дневнику* въ видѣ предисловія. Ренанъ ничего почти не говоритъ объ этихъ достоинствахъ, а пользуется книгой только для того, чтобы объяснить, почему Аміель ничего не успѣлъ сдѣлать въ литературѣ, и даже будто бы не отличался искусствомъ писанія. Между тѣмъ, самый этотъ *Дневникъ* есть, конечно, не малое пріобрѣтеніе французской литературы, а изящество и легкость, съ которою въ немъ выражаются почти неуловимыя мысли, — выше всякихъ похвалъ.

Но главное содержаніе статьи Ренана есть, очевидно, оправданіе себя, отстаиваніе своихъ сочиненій. При этомъ онъ ничуть не думаетъ утверждать, что Аміель ошибся въ своей характеристикѣ и приписалъ ему непринадлежащія ему черты. Нѣтъ, у Аміеля все

точно. Но Ренанъ доказываетъ, что Аміель напрасно осуждаетъ эти черты, что онѣ вовсѣ не дурны, а скорѣе очень хороши. Напримѣръ:

„Аміель негодуетъ, что иногда, говоря о такихъ предметахъ, я даю мѣсто улыбкѣ и ироніи. Но, право! въ этомъ случаѣ я считаю, что веду себя довольно по-философски". И т. д.

Въ другомъ мѣстѣ: „Состояніе души, которое Аміель презрительно называетъ *эпикуреизмомъ воображенія*, можетъ быть, вовсе не дурной пріемъ. Веселость имѣетъ въ себѣ нѣчто очень философское" и проч.

Еще одно мѣсто: „*Пересмѣивайте фарисейство, но соблюдайте прямоту, когда говорите съ честными людьми*, говоритъ мнѣ Аміель съ нѣкоторымъ гнѣвомъ. Боже мой! Какъ часто честные люди подвергаются опасности стать фарисеями, сами того не зная!" и т. д. *).

По всѣмъ этимъ и другимъ подобнымъ вопросамъ, разсужденія Ренана очень *возбудительны*, и на нихъ можно бы съ удовольствіемъ остановиться. Но мы поспѣшимъ къ главному вопросу, къ той точкѣ, гдѣ, какъ намъ думается, всего глубже выразилась противоположность двухъ писателей. Ренанъ пишетъ:

„Въ особенности его (Аміеля) занимаетъ и опечаливаетъ *грѣхъ*, его, лучшаго изъ людей, который меньше всякаго другаго могъ знать, что̀ это такое. Онъ очень меня упрекаетъ, что я на этотъ предметъ не обращаю достаточнаго вниманія, и онъ дважды или трижды спра-

---

*) Feuilles détachées стр. 394, 396, 387. (Въ этой книгѣ перепечатана статья объ Аміелѣ).

шиваетъ себя: „Куда же Ренанъ дѣваетъ грѣхъ?“ Скажу то, что̀ на дняхъ говорилъ *) въ моемъ родномъ городѣ: мнѣ кажется, я дѣйствительно вовсе его упраздняю“. (Стр. 369, 370).

Да, грѣха Ренанъ не признаетъ. Собственно на эту тему и написана вся его статья объ Аміелѣ, на тему о сущности и происхожденіи *зла* и о томъ, какъ достигнуть *спасенія* отъ золъ внѣшнихъ и внутреннихъ. Относительно грѣха, Ренанъ отзывается больше всего— незнаніемъ и непониманіемъ, и рѣшительно проповѣдуетъ оптимизмъ, то-есть, что жизнь не содержитъ въ себѣ никакого кореннаго зла. „Возстановленіе христіанства на основаніи пессимизма“, — замѣчаетъ онъ, — „есть одинъ изъ поразительнѣйшихъ симптомовъ нашего времени“ (стр. 375); и ему этотъ симптомъ страненъ и непріятенъ. Онъ, со своей стороны, тоже желаетъ религіозности, но говоритъ: „по-моему, тотъ религіозенъ, кто доволенъ Господомъ Богомъ и самимъ собою“ (стр. 373).

Мы не будемъ входить въ подробности этой аргументаціи, какъ она ни „возбудительна“; лучше мы прямо приведемъ заключительный выводъ Ренана. Вопросъ о грѣхѣ и злѣ есть вопросъ о нашей нравственности, и отъ рѣшенія его зависятъ правила нашей жизни, опредѣленіе ея высшаго блага. Ренанъ, въ этомъ отношеніи, рѣшительно заявляетъ слѣдующее:

„Аміель съ безпокойствомъ спрашиваетъ: *что̀ же*

---

*) Ссылка на рѣчь въ Трегье (Discours et conférences, стр. 217). „Я ничего не понимаю въ этихъ печальныхъ догматахъ“.

спасаетъ? О, Боже мой, спасаетъ то, что̀ даетъ каждому побужденіе жить. Средство спасенія не одно и то же для всѣхъ. Для одного это — добродѣтель; для другаго—жажда истины; еще для другаго—любовь къ искусству; для многихъ—любопытство, честолюбіе, путешествія, роскошь, женщины, богатство; на самой низшей ступени—морфинъ и алкоголь. Люди добродѣтельные находятъ свою награду въ самой добродѣтели; а тѣ, кто не добродѣтеленъ, имѣютъ на свою долю удовольствіе" (стр. 382).

Вотъ, я думаю, наихудшая страница во всѣхъ сочиненіяхъ Ренана; почти совѣстно указывать на нее надъ только-что закрывшеюся могилою писателя, у котораго столько превосходныхъ страницъ. Можно бы и эту страницу назвать превосходною, но только еслибы можно было принять ее за иронію, за насмѣшку надъ извѣстными нравственными понятіями,—еслибы, напримѣръ, Ренанъ обратился съ этими словами къ своимъ любезнымъ парижанамъ и сказалъ имъ: вотъ вѣдь вся ваша нравственность. Но, къ несчастію, тутъ ироніи нѣтъ. Бѣда въ томъ, что люди, съ увлеченіемъ предающіеся ироніи и насмѣшкѣ, если даже сперва и хранятъ въ себѣ нѣкоторыя высокія понятія, во имя которыхъ совершается это подсмѣиваніе, то со временемъ, однако, часто становятся совершенно въ уровень со своими насмѣшками, теряютъ способность видѣть дѣло въ его истинномъ видѣ, и если вздумаютъ заговорить прямою рѣчью, скажутъ то самое, что̀ говорили на смѣхъ. Таковъ у насъ былъ Салтыковъ; такъ и Ренанъ заплатилъ любимой имъ ироніи нѣкоторую дань.

По точному смыслу его рѣчи выходитъ, что всеобщій спаситель есть алкоголь. Въ самомъ дѣлѣ, первая черта спасенія, даруемаго религіею и нравственностію, конечно та, что это спасеніе всѣмъ доступно, что въ этой области часто послѣдніе становятся первыми и первые послѣдними. Ренанъ не хочетъ такого однообразія, но не видитъ, что волей-неволей людямъ придется же отыскивать какой-нибудь единый путь. Множество людей, и безъ совѣтовъ Ренана, стараются „спасаться" посредствомъ „богатства", или „женщинъ", или „роскоши"; но вѣдь на такихъ и подобныхъ путяхъ нѣтъ конца неудачамъ, а для огромнаго большинства людей эти пути спасенія даже совершенно закрыты. Остается намъ, слѣдовательно, только одинъ выборъ: или „добродѣтель", или „алкоголь". Если оба эти средства, какъ увѣряетъ Ренанъ, одинаково приводятъ къ цѣли, то не ясно ли, какое изъ нихъ выберутъ слабые смертные?

Какое мелкое пониманіе человѣческихъ радостей и горестей!

IX.

Католическое и протестанское вольнодумство.

Чрезвычайно удивительно, что человѣкъ, написавшій исторію первобытнаго христіанства и исторію израильскаго народа, не понималъ, однако, въ сущности, что̀ такое *грѣхъ*, а, слѣдовательно, и что̀ такое *святость*. Онъ былъ воспитанъ какъ духовный, и всю жизнь занимался предметами, на которыхъ былъ воспитанъ; не

странная ли загадка, что онъ не понималъ существенной черты религіи? Для него грѣхъ есть не болѣе, какъ тоска; для него никогда не было ясно, какъ возникаетъ въ душѣ сознаніе грѣховности и желаніе отъ нея освободиться. Въ одномъ мѣстѣ Ренанъ самъ даетъ намъ нѣкоторый ключъ къ этой загадкѣ. Защищаясь отъ упрековъ Аміеля, онъ говоритъ:

„Вотъ великая разница между воспитаніемъ католическимъ и воспитаніемъ протестантскимъ. Тѣ, кто, подобно мнѣ, получили католическое воспитаніе, сохранили въ себѣ глубокіе его слѣды. Но эти слѣды не суть догматы, это—мечтанія. Какъ только та великая златотканная завѣса, испещренная шелкомъ, ситцемъ и коленкоромъ, за которою католицизмъ скрываетъ отъ насъ зрѣлище міра,—какъ только, говорю, эта завѣса разодрана, мы видимъ вселенную въ ея безконечномъ великолѣпіи, природу — въ ея высокомъ и полномъ величіи. Между тѣмъ, протестантъ, самый свободный, часто сохраняетъ въ душѣ какую-то грусть, нѣкоторый запасъ умственной суровости, подобной славянскому пессимизму *). Иное дѣло — улыбаться надъ легендою какого-набудь миѳологическаго святаго; иное дѣло—хранить въ себѣ впечатлѣніе этихъ страшныхъ тайнъ, которыя наводили печаль на столько душъ, притомъ лучшихъ душъ“ **).

Намъ кажется, что Ренанъ тутъ очень вѣрно и искренно указалъ на источникъ того, что̀, по его мнѣнію, составляетъ его достоинство, а по нашему—его недоста-

---

*) Намекъ на Л. Н. Толстаго и на Достоевскаго.

**) Feuilles détachées, стр. 370.

токъ. Разница между католическимъ вольнодумцемъ и вольнодумцемъ протестантскимъ очевидно зависитъ отъ разницы между самимъ католичествомъ и протестантствомъ. Отсутствіе „нравственной серіозности", непониманіе „грѣха"—вытекаютъ въ извѣстной мѣрѣ изъ католическаго воспитанія Ренана. И въ самомъ дѣлѣ, если въ религіи преобладаетъ внѣшній характеръ, если спасеніе человѣка зависитъ не столько отъ него самого, сколько отъ средствъ и дѣйствій, направляемыхъ на него извнѣ, то естественно, что его нравственное чувство станетъ терять свою силу, можетъ даже заглохнуть и выродиться. Протестантъ, пріученный обращать къ своей душѣ болѣе строгія требованія, получаетъ, такимъ образомъ, важное преимущество надъ католикомъ. Можно порадоваться, что мы, русскіе, оказались тутъ на той сторонѣ, которой нельзя не отдать полнаго предпочтенія. Говоря о *славянскомъ пессимизмѣ*, Ренанъ, очевидно, разумѣетъ тѣ произведенія нашихъ писателей, которыя недавно обратитили на себя вниманіе Европы и поразили французовъ своимъ христіанскимъ направленіемъ. И дѣйствительно, то, что Ренанъ называетъ „страшными тайнами", самые глубокіе вопросы нравственности были затронуты въ произведеніяхъ этихъ нашихъ писателей.

Кончая эти замѣтки, не можемъ не пожалѣть, что такъ мало пришлось сказать о свѣтлыхъ сторонахъ писаній Ренана. Можетъ быть, однако же, читатель, и по сказанному, уже почувствуетъ, какъ они неотразимо занимательны и какъ неизмѣримо богаты содержаніемъ. Нужно только умѣть читать Ренана, и тогда эта зани-

мательность станетъ для насъ назидательностію, и это богатство пойдетъ намъ въ прокъ. Какъ бы то ни было, этотъ семинаристъ успѣлъ заставить Францію, а за нею и весь образованный міръ, интересоваться предметами и вопросами, которые считались почти сданными въ архивъ. Это составитъ для него вѣчную похвалу.

16 окт. 1892.

III.

ОТЗЫВЫ РЕНАНА О СЛАВЯНСКОМЪ МІРѢ.

1892.

Какъ смотритъ на славянъ Европа? Въ какомъ видѣ она себѣ насъ представляетъ? Разумѣется, мы спрашиваемъ о *внутреннемъ* видѣ, о томъ нравственномъ и умственномъ обликѣ, который мы имѣемъ въ глазахъ европейцевъ. Еще недавно объ этомъ нечего было и спрашивать, такъ какъ мы не имѣли въ ихъ глазахъ *никакого* облика, были пустымъ мѣстомъ, огромнымъ племенемъ, сильнымъ физически, но въ нравственномъ отношеніи нѣмымъ, глухимъ и безжизненнымъ. Безъ сомнѣнія, и до сихъ поръ такъ смотритъ на насъ не только почти вся такъ называемая образованная публика Европы, но и большинство людей ученыхъ и мыслящихъ. Для нихъ, какъ для философа Гартмана и для депутата Менгера, мы—не болѣе, какъ варвары, отъ которыхъ приходится спасать цивилизацію.

Понемногу, однако же, въ Европѣ появились и все умножаются люди свободные отъ такого ослѣпленія, становящіеся выше безсознательнаго чувства отчужденія и боязни. Когда Вогюэ или Анатолій Леруа-Болье говорятъ о Россіи, мы чувствуемъ, что они настолько знакомы съ предметомъ и настолько чужды предубѣжденій, какъ этого прежде никогда не бывало. Что̀ касается до знаменитаго Ренана, то, кажется, славянскій міръ вовсе не входилъ въ кругъ его любознательности; но, конечно, у писателя, питавшаго такіе широкіе и человѣчные взгляды, мы не найдемъ слѣдовъ ненависти и презрѣнія къ одному изъ великихъ племенъ міра. А нѣкоторые его небольшіе отзывы, особенно изъ послѣдняго времени, дышатъ такимъ сочувствіемъ и пониманіемъ, что мы рѣшаемся указать на нихъ читателямъ.

Въ первый разъ Ренанъ заговорилъ о славянахъ, кажется, послѣ 1870 года, послѣ страшнаго пораженія Франціи, измѣнившаго все положеніе дѣлъ Европы. Русская политика была тогда на сторонѣ Германіи, вопреки многимъ желаніямъ. Но дѣло обратилось въ нашу пользу. Германія, нашъ естественный (казалось бы) союзникъ, обнаружила свою затаенную холодность, а далекая Франція стала питать къ намъ горячую дружбу. Этотъ поворотъ дѣлъ былъ предвидѣнъ и объясненъ Н. Я. Данилевскимъ *); но сознаніе измѣнившагося положенія не вдругъ пробудилось въ самой Европѣ, и нужны были многіе годы, прежде чѣмъ Франція осмотрѣлась и

---

*) *Сборникъ политическихъ и экономическихъ статей* Н. Я. Данилевскаго. Спб. 1890. См. первую статью, писанную въ 1870 г.

обратила свои глаза на Россію. Тотчасъ послѣ разгрома, мы все еще были для французовъ только варварами, только опасными дикарями.

Невозможно описать, какой жестокій ударъ испытали умы и сердца во Франціи отъ страшнаго пораженія; казалось, великій народъ вдругъ почувствовалъ себя смертельно больнымъ, потерялъ вѣру въ себя. Патріоты принялись искать средствъ для исцѣленія, и появилась цѣлая литература, объяснявшая болѣзнь и предлагавшая перестройку всѣхъ порядковъ, всѣхъ основъ, оказавшихся такими дряблыми. Тогда и Ренанъ выпустилъ свою книгу: La réforme intellectuelle et morale (1871). Тутъ онъ смотритъ на Европу, какъ на нѣкоторое цѣлое, противоположное славянскому міру,—совершенно согласно съ ученіемъ Н. Я. Данилевскаго („Россія и Европа"). Поэтому Ренанъ видитъ въ войнѣ между Франціею и Германіею войну междоусобную, „величайшее бѣдствіе для цивилизаціи", именно потому, что Европѣ постоянно грозитъ опасность со стороны славянъ, со стороны Россіи. Всего опаснѣе то, что въ Россіи возникла мысль о „духовной самобытности". Ренанъ не рѣшается прямо отвергать эти „преувеличенныя надежды", однако говоритъ, что всего лучше было бы для блага человѣчества, если бы эти мечты были подавлены. Будь Европа въ крѣпкомъ союзѣ и единеніи, она могла бы это сдѣлать, могла бы держать восточный міръ въ своей политической и нравственной „опекѣ" и „направить Россію на свой же путь". Теперь же трудно сказать, что̀ будетъ, и можно думать, что, какъ въ древности Македонія покорила разъединенную Грецію, такъ и для Европы „настанетъ день сла-

вянскаго завоеванія". Обращаясь къ нѣмцамъ и припоминая все зло, которое отъ нихъ понесли славяне, Ренанъ говоритъ: „въ этотъ день мы (французы) будемъ стоять выше васъ (нѣмцевъ)". Въ извѣстномъ смыслѣ, это предсказаніе сбывается уже теперь: въ чувствахъ Россіи Франція занимаетъ высокое мѣсто сравнительно съ Германіей *).

Во всемъ этомъ Ренанъ очевидно стоялъ еще на старой точкѣ зрѣнія въ разсужденіи славянъ. Съ тѣхъ поръ понемногу не только политическія отношенія выяснились, но сталъ выясняться для Европы и нашъ нравственный обликъ. Русская литература распространилась на Западѣ, мало того—стала одною изъ господствующихъ силъ, набрала множество поклонниковъ и подражателей. Очень жаль, что Ренанъ ни разу не сдѣлалъ отзыва о какихъ-нибудь опредѣленныхъ произведеніяхъ рускихъ писателей. Провожая тѣло Тургенева (1883), онъ ограничился немногими общими словами. Легко замѣтить, однако, перемѣну тона. „Для этого великаго славянскаго племени",—сказалъ онъ—„появленіе котораго на переднемъ планѣ міра составляетъ самое неожиданное явленіе нашего вѣка, нужно считать честью, что оно съ перваго же разу выразилось въ такомъ совершенномъ мастерѣ. Никогда тайны темнаго и еще противорѣчиваго сознанія не были раскрыты съ такою изумительною чуткостью" и т. д.

Читатели видятъ, что Ренанъ вовсе незнакомъ съ нашимъ литературнымъ развитіемъ; онъ очень удивленъ, что у варваровъ явился такой писатель, какъ Тургеневъ.

*) См. „Борьба съ Западомъ". Кн. 1, стр. 378—391.

„Когда будущее",—говоритъ онъ дальше,—„откроетъ намъ вполнѣ всѣ неожиданности, хранящіяся въ этомъ изумительномъ славянскомъ духѣ, съ его пламенною вѣрою, съ его глубокою проницательностію, съ его особеннымъ пониманіемъ жизни и смерти, съ его потребностію мученичества, съ его жаждою идеала, тогда изображенія Тургенева будутъ безцѣнными документами, чѣмъ-то въ родѣ портрета геніальнаго человѣка въ его дѣтствѣ. Тургеневъ исполнилъ роль выразителя, истолкователя одного изъ великихъ племенъ человѣчества *)".

Несмотря на преувеличеніе значенія Тургенева, здѣсь можно согласиться съ общею мыслью, что мы дѣйствительно поздно выступили на историчестое поприще и что Европа имѣетъ нѣкоторое право встрѣчать проявленія нашего духа съ удивленіемъ.

Въ 1884 году, говоря о Мицкевичѣ, Ренанъ и къ нему прилагаетъ этотъ взглядъ. „Полный первобытныхъ соковъ великихъ племенъ на другое утро послѣ ихъ пробужденія",—говоритъ онъ,—„это былъ какой-то литовскій исполинъ, только что родившійся изъ земли, или лучше, внезапно вдохновенный небомъ, соединявшій въ себѣ съ пророческими видѣніями пророческія иллюзіи, но постоянно полный непоколебимой вѣры въ будущее человѣчества и своего племени, упорный идеалистъ несмотря на всѣ разочарованія, оптимистъ двадцать разъ обманутый, но неисправимый" **).

Тутъ Мицкевичъ является намъ такимъ же внезапнымъ порожденіемъ своего племени, какимъ казался

*) Discours et conférences, p. 249.
**) Тамъ же, стр. 255.

Ренану Тургеневъ. Эти племена какъ-будто долго спали и потомъ вдругъ „пробуждаются“; тогда они производятъ великановъ, въ которыхъ разомъ обнаруживается вся сила спавшаго племени. Эту мысль не разъ высказываетъ Ренанъ; она стала для него одною изъ историческихъ теоремъ. Въ 1885 году, когда его пригласили въ Кемперъ, въ Бретани, и чествовали какъ знаменитаго земляка, онъ разговорился о себѣ и о кельтическомъ племени, къ которому принадлежатъ бретонцы.

„Я не литераторъ“,—говорилъ онъ—„я человѣкъ изъ простаго народа, я — заключительная точка длинныхъ темныхъ линій мужиковъ и моряковъ. Я наслаждаюсь ихъ запасами мышленія; я очень признателенъ этимъ бѣднымъ людямъ, доставившимъ мнѣ своею умственною воздержностію такія живыя наслажденія“.

„Вотъ гдѣ тайна нашей молодости (Ренанъ разумѣетъ вообще бретонцевъ). Мы располагаемъ еще жить, въ то время когда столько людей говорятъ лишь объ умираніи. Людское племя, на которое мы всего болѣе похожи и которое всего лучше понимаетъ насъ, это—славяне; ибо они находятся въ положеніи подобномъ нашему; они въ одно время и новы въ жизни, и древни по своему существованію“.

„Ничего нельзя понять въ человѣчествѣ, если держаться взглядовъ узкаго индивидуализма. Что̀ есть въ насъ лучшаго,—имѣетъ свой источникъ раньше насъ“.

„Племя приноситъ свой цвѣтъ, когда оно выходитъ изъ забвенія. Блестящія умственныя развитія возникаютъ изъ обширной области безсознательнаго, мнѣ хочется почти сказать, — изъ обширныхъ хранилищъ невѣжества. Не

опасайтесь, что я стану васъ приглашать къ воздѣлыванію травы, которая очень хорошо разрастается и безъ всякаго ухода; несмотря на общее и обязательное обученіе, всегда будетъ довольно невѣжества. Но я сталъ бы бояться за человѣчество въ тотъ день, когда свѣтъ проникъ бы во всѣ его слои. Откуда тогда явился бы геній, который почти всегда есть результатъ долгаго предшествовавшаго сна? Откуда явились бы инстинктивныя чувства, храбрость, которая столь существенно есть дѣло наслѣдственное, благородная любовь, не имѣющая никакой связи съ размышленіемъ, всѣ эти мысли не отдающія сами себѣ никакого отчета, которыя живутъ въ насъ помимо насъ и составляютъ лучшую часть наслѣдія всякаго племени и всякой націи?" *).

Вотъ прекрасныя слова въ защиту и объясненіе того своеобразія, которое свойственно различнымъ народамъ и составляетъ ихъ силу.

Ренанъ думаетъ, что пока народъ не выступаетъ въ жизнь, пока онъ спитъ, въ немъ совершается накопленіе силъ, дающее ему такую богатырскую свѣжесть и мощь когда онъ проснется. Интересно, что Ренанъ сближаетъ тутъ славянское племя съ племенемъ кельтическимъ, однимъ изъ представителей котораго считаетъ самого себя.

Недавно мною приведены были слова Ренана о „славянскомъ пессимизмѣ", объ „умственной суровости" въ пониманіи религіозныхъ вопросовъ **). Эта черта славянъ, очевидно, была для него твердо и ясно уста-

*) Тамъ же, стр. 227—229.

**) Выше. «Нѣсколько словъ объ Ренанѣ», стр. 78.

новленною. Онъ называлъ насъ „печальнымъ племенемъ". Именно, въ 1888 году, говоря рѣчь въ „Союзѣ для распространенія французскаго языка", и выставляя всю благодѣтельность этого распространенія, онъ полушутя доказывалъ, что французскій языкъ противодѣйствуетъ всякому фанатизму, а потомъ продолжалъ такъ: „Кромѣ фанатическихъ племенъ, существуютъ еще племена печальныя: ихъ тоже научите по французски. Я имѣю въ виду приэтомъ въ особенности нашихъ несчастныхъ братьевъ, славянъ. Они столько страдали въ теченіе вѣковъ, что больше всего нужно мѣшать имъ любить ничтожество. Французскій языкъ и французское вино могли бы въ этомъ случаѣ сыграть нѣкоторую гуманитарную роль„ и пр.

Ренанъ, говоря вообще о *печальныхъ* племенахъ, безъ сомнѣнія, кромѣ славянъ, разумѣлъ племя кельтическое. Это сближеніе кельтовъ со славянами по ихъ внутреннему духовному строю можно было бы обстоятельно пояснить и подтвердить на основаніи писаній Ренана. Онъ ничего не писалъ о славянахъ, но на кельтахъ онъ не разъ останавливался съ великой любовью. Сюда относится его удивительная статья: „Поэзія кельтическихъ племенъ" (въ Essais de morale et de critique), а также первыя главы книги „Souvenirs d'enfance et de jeunesse" и разсказъ „Emma Kosilis" (въ Feuilles détachées).

Душевный складъ кельтовъ изображается Ренаномъ съ большою тонкостію и опредѣленностію, и мы невольно узнаемъ въ немъ родственныя себѣ черты. Онъ выводитъ этотъ складъ изъ многовѣковаго уединенія кельтическихъ племенъ, заставившаго ихъ сосредоточиваться въ себѣ, жить лишь тѣмъ, что̀ было въ нихъ самихъ. Такъ и мы, рус-

скіе, долго были отрѣзаны отъ Европы и предоставлены самимъ себѣ въ духовномъ развитіи. Приведемъ три-четыре характерныхъ свойства, которыя Ренанъ приписываетъ кельтамъ.

„Это племя не довѣряетъ иностранцу, потому что видитъ въ немъ существо болѣе утонченное, могущее употребить во зло его простоту. Равнодушное къ удивленію другихъ, оно проситъ только одного, чтобы его оставили жить у себя дома. Это по преимуществу—племя домашнее, созданное для семьи и радостей семейнаго очага. Нѣтъ другаго племени, въ которомъ бы узы крови были такъ крѣпки, порождали бы столько обязанностей, привязывали бы человѣка къ себѣ подобнымъ въ такихъ размѣрахъ и такъ глубоко. Всякое общественое учрежденіе кельтическихъ народовъ было въ началѣ лишь расширеніемъ семьи“.

Въ этомъ племени сложился особенный взглядъ на жизнь вообще.

„Жизнь для этихъ народовъ не есть личное похожденіе, въ которое каждый пускается на свой рискъ, на свое горе и радость; нѣтъ, это—звено нѣкотораго преданія, это—даръ, переданный и полученный, уплачиваемый долгъ и исполняемая обязанность“.

Отсюда—упорный консерватизмъ и отсутствіе подвижности.

„Это племя послѣднее отстаивало свою религіозную независимость отъ Рима, и оно стало самою твердою опорою католицизма; во Франціи оно послѣднее защищало свою политическую независимость отъ короля, и оно же явило міру послѣднихъ роялистовъ“.

„Жизнь является имъ какъ нѣкоторое твердое условіе, которое измѣнить не во власти человѣка. Мало одаренные иниціативой, слишкомъ расположенные смотрѣть на себя, какъ на низшихъ и опекаемыхъ, они легко приходятъ къ фатализму и самоотреченію".

„Отсюда происходитъ",—продолжаетъ Ренанъ, „грусть этого племени". Его пѣсни большею частью печальны, и Ренанъ едва можетъ найти слова, чтобы изобразить всю „прелестную унылость этихъ народныхъ мелодій".

Въ кельтическомъ складѣ чувствъ онъ вообще находитъ великія достоинства.

„Съ потребностью сосредоточенія въ себѣ, въ кельтическомъ племени тѣсно связана та безконечная тонкость чувства, которая характеристична для этого племени. Натуры мало расположенныя къ изліяніямъ — почти всегда суть натуры чувствующія съ наибольшею глубиною; ибо чѣмъ глубже чувство, тѣмъ меньше оно стремится выразиться. Отсюда (въ поэзіи кельтовъ) эта прелестная стыдливость, что-то прикрытое, сдержанное, изящное, равно удаленное и отъ реторики чувства, столь знакомой латинскимъ расамъ, и отъ сознательной наивности Германіи. Внѣшняя сдержанность кельтическихъ народовъ, которую часто принимаютъ за холодность, зависитъ отъ той внутренней робости, вслѣдствіе которой они думаютъ, что чувство теряетъ половину своей цѣны, когда оно высказано, и что сердце не должно имѣть другаго зрителя, кромѣ самого себя".

Всѣ эти черты Ренанъ соединяетъ въ такое общее выраженіе:

„Если бы было позволительно приписывать полъ на-

родамъ, такъ же, какъ мы его указываемъ у недѣлимыхъ, то слѣдовало бы безъ всякаго колебанія сказать, что кельтическое племя есть существенно племя женское".

Можетъ быть читатели вспомнятъ, что нѣмецкіе писатели очень часто признавали и славянъ „женскимъ элементомъ", пассивнымъ и воспринимающимъ въ отношеніи къ германскому племени; но у Ренана нѣсколько иная мысль.

Приведемъ еще одну черту.

„Существенный недостатокъ бретонскихъ народовъ, склонность къ пьянству,—недостатокъ, который, по всѣмъ преданіямъ шестаго вѣка, былъ причиной ихъ бѣдствій, —зависитъ отъ непобѣдимой потребности иллюзіи. Не говорите, что это—жажда грубаго наслажденія, ибо не было еще народа, который въ другихъ отношеніяхъ былъ бы такъ трезвъ и такъ чуждъ всякой чувственности; нѣтъ, бретонцы искали въ своихъ медахъ видѣнія міра невидимаго. До сихъ поръ еще въ Ирландіи пьянство составляетъ часть всѣхъ тѣхъ праздниковъ, которые наиболѣе сохранили народную и мужицкую физіономію".

Не тотъ же ли характеръ имѣетъ и наше русское пьянство? Мнѣ вспоминаются при этомъ разговоры Н. Я. Данилевскаго; питая большое отвращеніе къ пьянымъ, онъ, однако, любилъ указывать на относительную невинность и такъ-сказать идеальность этого нашего порока.

Къ сожалѣнію намъ приходится ограничиться этими маленькими выдержками изъ обширной характеристики кельтическаго племени. Намъ думается, что читатели все-таки узнаютъ здѣсь черты очень близкія къ чер-

тамъ русскаго народа, по крайней мѣрѣ къ чертамъ того слоя, или элемента, который Ап. Григорьевъ называлъ *смирнымъ типомъ*, и въ которомъ, по нашему мнѣнію, нужно видѣть главную силу, самый твердый корень нашего племени. Несмотря на большую нѣжность, съ которою Ренанъ писалъ о кельтахъ, въ этомъ изображеніи не найдутъ преувеличенія тѣ, кто любитъ и понимаетъ нашъ „смирный типъ". Но кромѣ того всякій, конечно, скажетъ, что этимъ типомъ наша народность не исчерпывается, что она несравненно шире и сложнѣе въ своихъ задаткахъ. Ренанъ правъ, говоря, что мы, славяне, теперь на первомъ планѣ (avant-scène) міра; теперь намъ приходится показать, великъ ли и хорошъ ли нашъ „запасъ безсознательныхъ силъ",—наслѣдіе долгихъ вѣковъ, сокровище чувствъ и мыслей, родившихся „раньше насъ". Все это скажется, разумѣется, только въ тѣхъ изъ насъ, въ комъ „говоритъ душа", и дай Богъ, чтобы она въ насъ не убывала.

IV.

ХОДЪ И ХАРАКТЕРЪ СОВРЕМЕННАГО ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ *).

1892.

I.

Авторитетъ наукъ.

Всѣ мы чувствуемъ (и чѣмъ дольше кто живетъ, тѣмъ яснѣе чувствуетъ), что насъ окружаетъ нѣкоторый широкій потокъ умственнаго и нравственнаго движенія. Можно устраняться отъ этого потока, можно защищать себя отъ его волнъ и противодѣйствовать имъ, но остановить его или измѣнить его направленіе невозможно. Ибо онъ управляется силами, которымъ слѣпо повинуются люди. Очень хорошо описываетъ Фюстель де-Куланжъ дѣйствіе такихъ силъ. Есть, говоритъ онъ,

*) Статья эта написана по поводу новаго изданія книги *Міръ какъ цѣлое* и содержитъ взглядъ на движеніе естествознанія въ продолженіе двадцати лѣтъ, прошедшихъ со времени перваго изданія этой книги.

„нѣчто болѣе сильное, чѣмъ матеріальная сила, болѣе властное, чѣмъ интересъ, болѣе твердое, чѣмъ философская теорія, болѣе крѣпкое, чѣмъ всякій договоръ".

„Таково именно—*вѣрованіе*. Ничто другое не имѣетъ такого могущества надъ душою. Вѣрованіе есть произведеніе нашего ума, но мы не можемъ видоизмѣнять его по нашему желанію. Оно есть наше созданіе, но мы этого не знаемъ. Оно—человѣческое, а мы его считаемъ божественнымъ. Оно есть дѣло нашихъ душевныхъ силъ, а оно сильнѣе насъ. Оно въ насъ; оно насъ не оставляетъ; оно говоритъ намъ каждую минуту. Если оно велитъ намъ повиноваться, мы повинуемся; если оно указываетъ намъ обязанности, мы ихъ принимаемъ. Человѣкъ можетъ, конечно, покорять природу, но онъ порабощенъ своею мыслью" *).

До такого непреоборимаго могущества, до такого порабощающаго авторитета часто достигаютъ не одни „вѣрованія", а вообще всякаго рода содержаніе человѣческихъ мыслей, и даже всякаго рода ихъ предрасположенія. И тогда складъ жизни и дѣятельности людей находится подъ вліяніемъ этихъ авторитетныхъ понятій и направленій.

Поэтому, нѣтъ предмета важнѣе, какъ изученіе исторіи такихъ силъ, дѣйствующихъ во внутреннемъ мірѣ человѣчества, изученіе ихъ появленія, развитія и разрушенія. Мало сказать, что человѣкъ обыкновенно носитъ въ себѣ какіе-нибудь авторитеты; нужно прибавить, что онъ безъ авторитетовъ жить не можетъ, такъ

---

*) *Fustel de Coulanges*, La cité antique. Par. 1864, стр. 163.

что, когда отживаетъ одинъ изъ нихъ, тотчасъ возникаетъ новый, и пониженіе однихъ есть непремѣнно возвышеніе другихъ.

Въ наше время, какъ извѣстно, очень высоко поднялся авторитетъ науки вообще и естествознанія въ частности. Это очень замѣчательный фактъ, котораго особенности и размѣры намъ слѣдуетъ выяснять себѣ со всякимъ стараніемъ. Если мы сперва остановимся на естественыхъ наукахъ, то, кажется, не трудно будетъ доказать и чрезвычайную силу ихъ теперешняго авторитета, и свойство того вліянія, которое онѣ производятъ. Никто изъ ученыхъ не пользуется теперь такою славою и такимъ вѣсомъ въ публикѣ, какъ натуралисты; и сами они хорошо сознаютъ свою власть и значеніе. Знаменитый физіологъ Дюбуа-Реймонъ, котораго можно считать самымъ чистымъ и типическимъ представителемъ современныхъ натуралистовъ, не разъ смѣло высказывалъ это сознаніе; онъ говоритъ:

„Естествознаніе есть абсолютный органъ культуры, и исторія естествознанія есть собственная (настоящая) исторія человѣчества“.

„Было бы прекрасною задачею — изобразить тотъ переворотъ, который въ теченіе послѣднихъ столѣтій мирно совершило естествознаніе въ состояніи человѣчества“.

„Побѣду естественно-научнаго воззрѣнія послѣдующія времена будутъ считать такою же эпохою въ развитіи человѣчества, какою мы считаемъ побѣду монотеизма восьмнадцать вѣковъ тому назадъ. Нужды нѣтъ, что народы никогда не будутъ зрѣлы для этой формы

религіи; ибо развѣ былъ когда-нибудь осуществленъ ими идеалъ христіанства?" *)

И такъ, Дюбуа-Реймонъ видитъ въ „естественно-научномъ воззрѣніи" даже нѣчто подобное религіи, т. е. нѣчто, имѣющее такую же силу и тѣ же права, какъ религія. И, по его мнѣнію, это воззрѣніе уже одержало побѣду, уже господствуетъ въ лучшихъ умахъ, уже распространяется въ народахъ тѣмъ больше, чѣмъ они зрѣлѣе; полнаго же его господства невозможно ожидать только по несовершенству человѣческой природы.

II.

Механическое объясненіе.

Не любопытно ли узнать, въ чемъ состоитъ это „естественно-научное воззрѣніе"? Легко можно было бы сгруппировать различныя его черты, которыя и тутъ, и въ другихъ мѣстахъ, указываетъ Дюбуа-Реймонъ очень точно и съ большимъ воодушевленіемъ. Но мы лучше прямо обратимся къ существенной чертѣ, къ тому взгляду или пріему, который составляетъ самую основу этого воззрѣнія.

„Изслѣдованію природы",—говоритъ нашъ ученый,— „съ несомнѣнной ясностію и достовѣрностію напередъ опредѣлены его цѣль и его путь: познаніе вещественнаго міра и его измѣненій, и механическое объясненіе

---

[1]) *Emil Du Bois-Reymond*, Reden. Leipz. 1886. I, стр. 271, 272.

этихъ измѣненій посредствомъ наблюденія, опыта и вычисленія" *).

Тутъ вся сила заключается въ словахъ *механическое объясненіе*. По какому пути мы будемъ двигаться, такова будетъ и цѣль, которой мы достигнемъ. Если все въ природѣ будемъ объяснять механически, то мы непремѣнно придемъ къ механическому взгляду на природу. Такъ это и понимаетъ Дюбуа-Реймонъ.

„Законъ причинности", — говоритъ онъ,—„господствуетъ какъ надо всѣмъ нашимъ мышленіемъ, такъ и надъ теоретическимъ естествознаніемъ. Онъ есть приведенное въ систематическій видъ стремленіе „познавать причины вещей" (rerum cognoscere causas). По природѣ нашего ума, это стремленіе принимаетъ форму механическаго анализа. Какое бы представленіе о составѣ (конституціи) вещества мы ни полагали въ основаніе, теоретическое естествознаніе успокоится только тогда, когда сведетъ міръ явленій на движенія послѣднихъ элементовъ, происходящія по тѣмъ же законамъ, какъ и движенія болѣе грубаго, подлежащаго чувствамъ вещества" **).

На этомъ основаніи, въ другихъ мѣстахъ Дюбуа-Реймонъ выражается еще рѣшительнѣе, объявляетъ, что „только механическое пониманіе есть наука", что „натуралистъ мыслитъ механически", и что „эти высшія точки естествознанія суть собственная (настоящая) метафизика нашего времени" ***).

---

*) Reden, II, стр. 356.
**) Reden, I, стр. 434.
***) Reden II, стр. 405 и 407.

Если же такъ, то отсюда, намъ кажется, можно хорошо видѣть, почему чрезвычайный авторитетъ, пріобрѣтенный въ наше время естественными науками, отразился и отражается въ развитіи матеріализма, такъ какъ то, что̀ Дюбуа-Реймонъ называетъ *естественно-научнымъ воззрѣніемъ*, въ сущности, за малыми исключеніями, есть не болѣе, какъ рѣшительный матеріализмъ. Въ самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ, что кто нибудь видитъ *въ механическомъ объясненіи* самое совершенное познаніе, полное удовлетвореніе запросовъ своего ума. Естественно, что онъ всюду будетъ прилагать эту точку зрѣнія, и что ему станетъ казаться темнымъ, ложнымъ и вовсе не существующимъ все, что̀ подъ нее не подходитъ. Чтобы міръ былъ для него ясенъ, нужно, чтобы въ мірѣ все состояло только изъ вещества, и всѣ явленія были бы только движеніями вещественныхъ частицъ. А это и есть матеріализмъ. Такимъ образомъ, люди становятся матеріалистами ради того, чтобы имѣть убѣжденіе, что они обладаютъ твердымъ и яснымъ понятіемъ о сущности вещей. И понятно, что они крѣпко держатся за такое убѣжденіе.

Что именно таково происхожденіе матеріализма, иногда хорошо видно изъ умственныхъ явленій, которыми онъ сопровождается. Механическое объясненіе есть очень скудный и односторонній пріемъ, такъ что только поверхностные и непослѣдовательные умы бываютъ слѣпо увѣрены, что все можно подвести подъ этотъ пріемъ. Добросовѣстный и основательный матеріалистъ легко замѣчаетъ, что механика не обнимаетъ всѣхъ явленій и не разрѣшаетъ всѣхъ вопросовъ. Что̀ же

въ такомъ случаѣ приходится думать матеріалисту? Держась лишь одного механическаго объясненія, онъ принужденъ сказать: если оказалось, что есть что-нибудь не подходящее подъ такое объясненіе, то значитъ, я не могу этого знать, значитъ, это—нѣчто „непознаваемое", недоступное для человѣческаго ума. То-есть, матеріалистъ, чтобы удержаться на своей точкѣ зрѣнія, станетъ отрицать самое существованіе и возможность другихъ точекъ.

Подобный случай былъ съ самимъ Дюбуа-Реймономъ, ученымъ чрезвычайно остроумнымъ и точнымъ. Въ 1872 году онъ произвелъ большой шумъ въ мірѣ германскихъ натуралистовъ, провозгласивши свое ignorabimus (не узнаемъ!), то-есть заявивши, что между задачами естественныхъ наукъ есть нѣкоторыя вполнѣ и навсегда неразрѣшимыя. Онъ сдѣлалъ вопросъ о такихъ задачахъ предметомъ своихъ прилежныхъ размышленій, и въ 1880 году, въ торжественномъ засѣданіи Берлинской академіи наукъ, наконецъ, насчиталъ и изложилъ *семь міровыхъ загадокъ* (такъ онъ выразился), не поддающихся никакимъ нашимъ усиліямъ. Ради любопытныхъ читателей приведемъ эти загадки: 1) сущность вещества и силы, 2) происхожденіе движенія, 3) происхожденіе жизни, 4) цѣлесобразность природы, 5) происхожденіе ощущенія, 6) происхожденіе разума и языка, 7) свобода воли.

Приэтомъ нашъ ученый объяснилъ, (да это видно уже по самому порядку этихъ задачъ и по языку, которымъ онѣ выражены), что здѣсь ставится такое требованіе: опредѣливъ „сущность вещества и силы", вывести указанные затѣмъ шесть фактовъ изъ движенія веществен-

ныхъ частицъ, дать имъ механическое объясненіе. Дюбуа-Реймонъ совершенно справедливо утверждаетъ, что исполнить это невозможно; но ему не приходитъ и на мысль, что, можетъ быть, самое это требованіе неправильно, или, какъ выражаются математики, нелѣпо, что только въ этой неправильности и состоитъ единая и простая разгадка всѣхъ „загадокъ".

III.

Новѣйшая исторія естествознанія.

Годъ февральской революціи составляетъ нѣкоторую эпоху и въ исторіи естественныхъ наукъ. Передъ самою революціею, въ 1847 году, появилось разсужденіе Гельмгольтца *О сохраненіи силы* и вышли *Физіологическія письма* Карла Фохта. Законъ сохраненія энергіи не возбудилъ тогда большаго вниманія и лишь постепенно завоевалъ себѣ свое мѣсто; но книга Фохта, въ которой открыто и рѣзко исповѣдывался матеріализмъ, подѣйствовала зажигательно, и матеріализмъ быстро и надолго распространился въ Германіи. Вслѣдъ за тѣмъ, въ 1848 г. вышли *Изслѣдованія о животномъ электричествѣ* Дюбуа-Реймона (по мнѣнію нѣкоторыхъ, величайшее изъ всѣхъ физіологическихъ произведеній), и тутъ отчетливо и твердо было провозглашено, что всѣ цѣли физіологіи сводятся къ механическому объясненію,— ученіе, которое авторъ развиваетъ и защищаетъ и до настоящихъ дней.

Чтобы понимать эту исторію, нужно вспомнить,

какое направленіе имѣла наука до этого времени. Въ зоологіи тогда господствовали идеи Кювье и Оуэна, въ физіологіи высшимъ авторитетомъ былъ Іоганнесъ Мюллеръ, въ органической химіи Либихъ, усердно остаивавшій „жизненную силу". Общій взглядъ, котораго держались эти натуралисты, и вслѣдъ за ними большинство другихъ, можно назвать, въ противоположность матеріализму, *витализмомъ*; именно, они были убѣждены, что въ живыхъ тѣлахъ, въ организмахъ, присутствуетъ и дѣйствуетъ нѣчто такое, чего вовсе нѣтъ въ мертвой природѣ. Это понятіе объ органической жизни было слишкомъ неопредѣленно и потому трудно приложимо; но нашлась область, въ которой задача науки была совершенно ясна съ этой точки зрѣнія. Именно, форма организмовъ (мы разумѣемъ здѣсь и внѣшнюю, и внутреннюю форму, т. е. строеніе), безпрестанно повторяющаяся по закону наслѣдственности и всегда проходящая неизмѣнный рядъ метаморфозъ, признавалась прямымъ созданіемъ жизни. Поэтому, самое пристальное вниманіе натуралистовъ было обращено на изученіе всякихъ органическихъ формъ. Сюда относятся постоянныя усилія, во-первыхъ, опредѣлить естественное сродство цѣлыхъ организмовъ, то-есть расположить ихъ въ естественной системѣ, во-вторыхъ, подвести подъ тѣ же пріемы самыя части организмовъ, то-есть опредѣлить гомологію всѣхъ отдѣльныхъ органовъ, и наконецъ, прослѣдить и сравнить всѣ циклы развитія, проходимые различными организмами и ихъ отдѣльными органами. Эти три задачи постепенно сливались въ одну общую задачу, которую можно выразить такъ: найти

тотъ порядокъ (ту послѣдовательность и тѣ развѣтвленія), въ которомъ идутъ органическія формы отъ самаго простаго организма до разнообразнѣйшихъ сложныхъ организмовъ, и доходятъ до самаго высшаго. По мѣрѣ того, какъ намъ становилась бы яснѣе и яснѣе эта картина, можно было бы надѣяться уловить смыслъ и законъ того жизненнаго творчества, которое ее создаетъ.

Такимъ образомъ, до половины нашего вѣка труды натуралистовъ были сосредоточены на *морфологическомъ изслѣдованіи*, которое стояло хотя въ менѣе ясной, но въ столь же тѣсной и существенной связи съ витализмомъ, какъ *механическое объясненіе* съ матеріализмомъ. Въ половинѣ вѣка поднялась жестокая борьба между этими двумя направленіями, то-есть матеріалистическій взглядъ, до тѣхъ поръ не имѣвшій въ ученомъ мірѣ большаго значенія, вдругъ получилъ неожиданную силу и сталъ добиваться преобладанія.

Эта борьба продолжается до сихъ поръ; она составляетъ главный интересъ въ современномъ движеніи естественныхъ наукъ, тотъ вопросъ, который сталъ на пути этого движенія и который нельзя обойти, а нужно основательно разрѣшить. Вообще, относительно развитія и успѣховъ, въ послѣднія десятилѣтія естественныя науки ясно распадаются на два отдѣла. Науки о мертвой природѣ твердо и быстро идутъ впередъ; онѣ обладаютъ совершенно ясными началами и пріемами, и спокойно прилагаютъ ихъ къ дѣлу. Напротивъ, всѣ науки объ органическомъ мірѣ находятся въ колебаніи и не дѣлаютъ прочныхъ и положительныхъ успѣховъ; притомъ, онѣ движутся какъ-бы ощупью, не имѣя сознательныхъ

и твердыхъ началъ. Если вглядѣться въ этотъ контрастъ, то нельзя имъ не поразиться; факты этой недавней исторіи громко говорятъ, что развитіе наукъ пріостановлено какимъ-то недостаткомъ или препятствіемъ. Очевидно, блестящіе успѣхи наукъ о мертвой природѣ, для которыхъ, дѣйствительно, прямой путь и высшая цѣль есть *механическое объясненіе*, были величайшею поддержкою для стремленія—перенести эти самые начала и пріемы въ науки объ органическомъ мірѣ. Но теперь можно, кажется, положительно сказать, что попытка этого перенесенія не удалась и, кромѣ того, принесла большой вредъ органическимъ наукамъ, сбивая ихъ съ ихъ собственнаго пути, отвлекая вниманіе отъ ихъ настоящихъ задачъ.

IV.

Вліяніе ученія Дарвина.

Матеріализмъ, который, къ стыду нашего столѣтія, игралъ въ немъ такую большую роль, иногда почти господствующую (1847 — 1867 г.), напрасно именуется часто *новымъ матеріализмомъ*, такъ какъ въ своихъ основахъ и пріемахъ онъ—все то же, давно извѣстное ученіе. Эрдманнъ указываетъ двѣ черты, которыми, по его мнѣнію, новые матеріалисты отличаются отъ матеріалистовъ XVIII вѣка. Именно, они признаютъ не только сохраненіе вещества, но и сохраненіе силы, открытое въ наше время; кромѣ того, они принимаютъ ученіе

Дарвина, незнакомое прошлому вѣку *). Но сохраненіе силы есть теорема, всецѣло входящая въ пріемы *механическаго объясненія*, и вовсе не содержитъ признанія какой-нибудь новой сущности въ вещахъ. Точно такъ, и теорія Дарвина, собственно, не внесла ничего новаго въ матеріализмъ, а имѣетъ для него лишь отрицательное значеніе, именно представляетъ *обходъ* того возраженія, которое выводилось изъ цѣлесообразности организмовъ. И та и другая теорія были нѣкоторымъ развитіемъ механическаго взгляда, а потому, конечно, усиливали матеріализмъ, но онѣ не измѣняли его ни въ чемъ существенномъ.

Важно здѣсь взглянуть на вліяніе этихъ ученій на органическія науки. Законъ сохраненія энергіи сослужилъ и въ нихъ свою прекрасную службу—измѣренія и повѣрки явленій. Прежде было извѣстно, что элементарный составъ организмовъ вполнѣ опредѣляется составомъ веществъ, вступающихъ въ нихъ и изъ нихъ выходящихъ. Точно такъ, теперь установлено, что запасъ энергіи, содержащійся въ огранизмахъ, накопляется въ нихъ извнѣ, и что всякое обнаруженіе ими физической энергіи происходитъ на счетъ этого запаса. Организмы равно подходятъ какъ подъ общее правило химіи, такъ и подъ общее правило физики. Этотъ выводъ устраняетъ разныя неправильныя понятія, напримѣръ предположеніе *жизненной силы*, но не имѣетъ значенія прямо для ученія объ организмахъ.

---

*) *J. E. Erdmann.* Grundriss der Feschichte der Philosophie. 3 Aufl. Berl. 1878. II, стр. 709.

Что касается до теоріи Дарвина, то дѣйствіе ея въ органическихъ наукахъ было огромное, хотя, очевидно, неправильное. Она, повидимому, разрѣшала всю тайну органическаго міра, ибо она объясняла происхожденіе различныхъ формъ организмовъ и, вмѣстѣ, существенное ихъ свойство, —цѣлесообразность. Такимъ образомъ, казалось, были достигнуты всѣ цѣли тѣхъ морфологическихъ изслѣдованій, которымъ такъ усердно предавались многія поколѣнія натуралистовъ. Но странно, оказалось, что именно эти изслѣдованія не играли никакой роли въ теоріи Дарвина, не входили въ ея содержаніе. Морфологи когда-то съ напряженнымъ вниманіемъ углублялись въ изученіе внѣшней и внутренней формы организмовъ, въ сравненіе частей и цѣлыхъ формъ, надѣясь уловить какіе нибудь законы органическаго творчества. Дарвинъ разомъ порѣшилъ дѣло, объявивши, что такихъ законовъ вовсе нѣтъ, что организмы строятся и перерождаются не по какимъ-либо твердымъ нормамъ, что они просто—существа неустойчивыя, зыбкія, принимающія опредѣленный видъ лишь въ силу внѣшнихъ обстоятельствъ.

Понятно, что морфологическое изслѣдованіе, при такихъ понятіяхъ, потеряло свое прежнее значеніе, и натуралисты стали имъ пренебрегать. Это вредное вліяніе дарвинизма обнаружилось въ такой степени, что его трудно было не замѣтить. Сошлемся на слова покойнаго московскаго профессора Борзенкова, который въ своихъ лекціяхъ сравнительной анатоміи довольно долго останавливался на общихъ вопросахъ. Изъ великаго уваженія къ Дарвину, онъ не рѣшился обвинять его самого,

но сдѣлалъ твердыя замѣчанія о его послѣдователяхъ, именно о пресловутомъ Геккелѣ, на котораго и сваливаетъ всю вину,—хотя очевидно, ученикъ здѣсь только вѣрно слѣдовалъ учителю. Борзенковъ утверждаетъ, что „вліяніе, которое геккелизмъ оказывалъ и продолжаетъ еще оказывать на зоологическія науки", можно выразить такъ: „вообще, уменьшеніе количества и ухудшеніе качества наблюденій и совершенная фантастичность ихъ объясненій". Въ частности, Борзенковъ указываетъ, что пострадали и классификація, и эмбріологія. „Въ дѣлѣ классификаціи", говоритъ онъ, „вмѣсто изученія сходства и различія организаціи различныхъ группъ нынѣ живущихъ и ископаемыхъ животныхъ, вмѣсто изученія тѣхъ соотношеній, въ которыхъ дѣйствительно находятся различныя животныя,—(наступило) стремленіе строить генеалогію всего животнаго царства, — и при этомъ построеніи полнѣйшій произволъ". „Въ области морфологіи, количество наблюденій надъ тѣмъ, какъ дѣйствительно развиваются органы и организмы, количество настоящихъ эмбріологическихъ работъ уменьшилось, а количество филогенетическихъ соображеній увеличилось, и при этихъ соображеніяхъ, опять—полный просторъ игрѣ въ *наслѣдственность* и *приспособленіе*"*).

Эти дурныя слѣдствія, очевидно, зависятъ отъ того, что теорія Дарвина не нуждалась въ фактахъ, которыми занимались морфологи, что она задалась понятіями, при которыхъ строгое и точное изученіе этихъ фактовъ потеряло свой смыслъ и свою цѣль.

---

*) *Ученыя Записки Московскаго Университета.* 1884. Чтенія Я. А. Борзенкова по сравнительной анатоміи, стр. 141, 142.

Обыкновенно, впрочемъ, заслугу Дарвина и видятъ не въ этой области, а въ томъ, что онъ основалъ новую телеологію, побудилъ натуралистовъ изучать отношенія организмовъ между собою и къ внѣшнему міру. Ученые вышли изъ своихъ кабинетовъ и стали наблюдать игру жизни въ природѣ, борьбу каждаго живаго существа съ обстоятельствами и съ другими живыми существами. Тутъ пошли открытія за открытіями, и мы узнали, какую необходимость или выгоду представляютъ всякаго рода черты строенія организмовъ, даже самыя мелкія, значенія которыхъ мы прежде и не подозрѣвали. Такимъ образомъ составилась какъ-бы цѣлая особая наука, которую любятъ называть прекраснымъ именемъ *біологіи*.

Всѣ эти изслѣдованія, конечно, и любопытны и полезны, но не трудно убѣдиться, что они уклоняются отъ прямыхъ задачъ органической морфологіи, не разрѣшаютъ ихъ, а только обходятъ. Мы здѣсь изслѣдуемъ одни внѣшнія отношенія организмовъ, слѣдовательно ищемъ не той цѣлесообразности, которую каждый организмъ имѣетъ въ себѣ самомъ, какъ гармонію всѣхъ частей и всего развитія, какъ осуществленіе типа, къ которому онъ стремится, а разсматриваемъ лишь выгоды и невыгоды его устройства въ столкновеніи съ окружающими случайностями. Изъ этого выходитъ не настоящая телеологія, а только внѣшняя цѣлесообразность. Потомъ, относительно всякихъ цѣлей имѣетъ силу замѣчаніе Бакона, что онѣ „безплодны, какъ дѣвственницы, посвятившія себя Богу“. Пусть мы вполнѣ удостовѣрились, что бѣлый цвѣтъ зайца зимою спасаетъ

его среди бѣлаго снѣга отъ зоркихъ хищниковъ; это нимало не рѣшаетъ вопроса, въ чемъ состоитъ причина и самый процессъ этой перемѣны цвѣта шерсти. Дарвинистическая біологія отвѣчаетъ, что это случайность, передаваемая по наслѣдству и укрѣпленная долгимъ подборомъ. Но гдѣ же тутъ объясненіе? Если даже не обратимъ вниманія на то, что *наслѣдственность* есть въ высшей степени таинственное явленіе и, слѣдовательно, ссылка на него въ сущности не объясняетъ, а затемняетъ дѣло, то все же намъ слѣдуетъ спросить, какъ и отчего побѣлѣлъ при наступленіи зимы тотъ первый заяцъ, съ котораго мы начинаемъ наше объясненіе? Только когда составимъ себѣ какое нибудь понятіе объ этомъ процессѣ, можно будетъ разсуждать о томъ, какое значеніе онъ имѣетъ для животнаго, какъ связанъ съ другими отправленіями его жизни.

V.

Морфологическія изслѣдованія.

Мы видимъ теперь, что господство механическаго взгляда на всю природу и дарвинистическаго взгляда на организмы неизбѣжно должно было прервать ту усердную и общую работу морфологическаго изслѣдованія, которая совершалась въ первую половину вѣка. Этотъ быстрый наплывъ теоретическихъ идей, механизма и дарвинизма, справедливо иногда сравниваютъ (напримѣръ, Бэръ, Борзенковъ) съ шумнымъ, но кратковременнымъ владычествомъ натурфилософіи Шеллинга. И въ томъ и въ

другомъ случаѣ, умъ человѣческій обнаружилъ нетерпѣливость, не захотѣлъ мириться съ медленнымъ и кропотливымъ движеніемъ науки и вздумалъ разомъ перескочить къ цѣли. Но теперешнее уклоненіе отъ строгихъ пріемовъ науки и обходъ ея прямаго пути гораздо упорнѣе, увлекательнѣе, а потому дѣйствуетъ шире и продолжительнѣе, чѣмъ прежнее увлеченіе умозрѣніями философіи тождества. Можно бы доказать, что „натурфилософія" отчасти оплодотворила естествознаніе, заставляя умы подыматься на новыя и высокія точки зрѣнія. Сила же нынѣшняго направленія въ томъ и состоитъ, что оно понижаетъ умственныя требованія, ограничиваетъ кругозоръ, узакониваетъ низменныя понятія. Нужны бываютъ усилія, чтобы подняться на высоту, тогда какъ спускаться внизъ и держаться внизу умы расположены по своей естественной тяжести.

Безъ сомнѣнія, однако, и механическій взглядъ дѣйствовалъ плодотворно на извѣстную сторону органическихъ наукъ. Всѣ физическія и химическія явленія живыхъ тѣлъ были изучаемы съ величайшимъ успѣхомъ. Но это вѣдь нельзя считать настоящимъ *физіологическимъ* изслѣдованіемъ. Произошло нѣчто удивительное. Физика и химія организмовъ разъяснялись полнѣе и полнѣе съ каждымъ днемъ, а между тѣмъ, вопреки всякимъ ожиданіямъ, пониманіе органическаго процесса не дѣлало ни шагу впередъ, и тайна жизни ничуть не раскрывалась. Два всесвѣтно знаменитыхъ физіолога, Дюбуа-Реймонъ и Гельмгольтцъ, будучи приверженцами механическаго взгляда, занимались, въ сущности, не физіологіею, а физикою. Ихъ труды и открытія, можно ска-

зать, не пролили никакого свѣта на вопросы чисто органическіе. *Изслѣдованія о животномъ электричествѣ* Дюбуа-Реймона есть чисто физическое изысканіе, и *Физіологическая оптика* Гельмгольтца есть преимущественно изслѣдованіе не самого зрѣнія, а его оптическихъ условій. Замѣчательно, что Гельмгольтцъ, который первоначально былъ медикомъ, подъ конецъ оставилъ и практику медицины и преподаваніе физіологіи и занялъ въ Берлинѣ профессуру физики.

Въ то же время, конечно, изученіе организмовъ по ихъ существу не могло вовсе прекратиться: оно даже сдѣлало очень важные шаги, которые только не достаточно поражали вниманіе, прикованное къ ходячимъ теоріямъ. Одновременно съ теоріею Дарвина появилась *Целлюлярная патологія* Вирхова (1858), которая произвела цѣлый переворотъ въ медицинѣ, именно повела къ морфологическому изслѣдованію болѣзней. Значеніе этого переворота самъ Вирховъ впослѣдствіи излагалъ такъ:

„До сихъ поръ никакъ не умѣли дойти до яснаго понятія о томъ, изъ какихъ частей живаго тѣла собственно исходитъ дѣйствіе, и что̀ именно дѣйствуетъ. Это главный вопросъ всей физіологіи и патологіи. Я отвѣчалъ, указывая на *клѣточку, какъ на истинную органическую единицу*. Такъ какъ я, поэтому, гистологію, то есть ученіе о клѣточкѣ и происходящихъ изъ нея тканяхъ, ставилъ въ неразрывную связь съ физіологіей и патологіей, то прежде всего я требовалъ признанія, что *клѣточка есть дѣйствительно послѣдній формовой элементъ всякаго жизненнаго явленія какъ въ здоровомъ,*

такъ и въ большомъ, что изъ нея исходитъ всякая дѣятельность жизни".

„Такимъ образомъ", прибавляетъ Вирховъ, „жизнь признается чѣмъ-то совершенно особеннымъ", и даже „жизнь, вообще, отдѣляется отъ великаго цѣлаго явленій природы и не разрѣшается сейчасъ же и вполнѣ въ химію и физику". Вирховъ заранѣе ожидаетъ, что за это его станутъ упрекать въ „біологической мистикѣ"; несмотря на то, онъ настаиваетъ, что „одна лишь клѣточка есть *сѣдалище дѣятельности*, та элементарная область, отъ которой зависитъ родъ дѣятельности" и что она „сохраняетъ значеніе живаго элемента лишь до тѣхъ поръ, пока дѣйствительно представляетъ неповрежденное цѣлое" *).

Тутъ видно то значеніе, которое теорія клѣточекъ имѣетъ вообще въ ученіи объ организмахъ и органическихъ явленіяхъ. Когда-то Шлейденъ и Шваннъ, установляя эту теорію, думали, что сводятъ сложные организмы на нѣкоторые однородные элементы, что такимъ образомъ упрощаютъ всю задачу, и что загадка этихъ элементовъ уже легче, уже близка къ механическому объясненію. Оказалось не то. Если употребимъ выраженіе Вирхова, то можно сказать, что всю *мистику* цѣлаго организма пришлось перенести на клѣточку. Клѣточка есть въ полномъ смыслѣ слова организмъ; она раждается, размножается, старѣетъ и умираетъ по тѣмъ же таинственнымъ и твердымъ законамъ, какъ и всякіе организмы; воздѣйствія ея протоплазмы столь же разно-

*) *R. Virchow*, Cellularpathologie, 4-te Aufl. Berl. 1871, стр. 4.

образны и загадочны, какъ дѣятельность очень сложныхъ живыхъ существъ. Такимъ образомъ, вслѣдствіе ученія о составѣ организмовъ изъ клѣточекъ задача пониманія органической жизнедѣятельности только перемѣстилась и *удвоилась*, а не упростилась.

Что̀ касается до надежды механически объяснить образованіе клѣточки, то эта надежда потерпѣла полное крушеніе. Вирховъ провозгласилъ, какъ общую аксіому: omnis cellula ex cellula, „всякая клѣточка происходитъ отъ другой клѣточки", и доказывалъ ее безчисленными наблюденіями надъ образованіемъ тканей всякаго рода. Противъ *самопроизвольнаго зарожденія* вооружился удивительный экспериментаторъ *Пастёръ* и доказалъ неопровержимыми опытами, что самые простые организмы раждаются отъ организмовъ же, а не образуются изъ неорганизованныхъ веществъ. Другіе труды Пастёра, точно также, нанесли большой ущербъ той области, которую физико-химическое объясненіе считало подъ своею властью. Броженіе, гніеніе, заразительныя болѣзни—всѣ эти столь важные для насъ процессы, происходятъ, по изслѣдованіямъ Пастёра, при участіи разныхъ микробовъ. Отсюда объясняется тотъ загадочный ходъ этихъ процессовъ, который прежде такъ затруднялъ медиковъ и натуралистовъ. Благодаря Пастёру, мы узнали истинное свойство этихъ явленій, а потому научились даже управлять ими во многихъ случаяхъ. Но, такъ какъ все здѣсь зависитъ отъ жизни микробовъ, то тутъ вездѣ встрѣчаются черты той таинственности, которая облекаетъ для насъ явленія жизни.

Повидимому, и Вирховъ, и Пастёръ, и другіе ученые

того же направленія, только ставятъ намъ загадки, только обнаруживаютъ трудные пункты, мѣшающіе пониманію явленій. Но, если мы взглянемъ на эти изслѣдованія съ надлежащей точки зрѣнія, то увидимъ въ нихъ великіе успѣхи науки. Теорія клѣточекъ, проведенная по обоимъ органическимъ царствамъ, дала намъ истинную опору для опредѣленія отношеній между организмами. Именно, теперь мы можемъ твердо судить о большей или меньшей сложности, о степеняхъ совершенства организмовъ, и, далѣе, видѣть, что всѣ различныя формы растеній и животныхъ имѣютъ одну общую основу. Обнаружилась связь и однородность всего органическаго міра и, сверхъ того, его полная обособленность отъ мертвой природы, такъ какъ пришлось рѣшительно отказаться отъ зарожденія организмовъ изъ мертвыхъ веществъ. Никогда вся область жизни не являлась изслѣдователямъ въ такихъ ясныхъ границахъ, въ такой цѣльности и самобытности, какъ въ наше время.

VI.

Витализмъ.

Изъ предыдущаго мы видимъ, чѣмъ страдаетъ современное естествознаніе. Изъ руководящихъ началъ въ немъ имѣютъ силу и большое господство только тѣ, которыхъ держатся приверженцы механическаго взгляда, то-есть понятія и пріемы теоретической механики. Напротивъ, виталисты, или, вообще, ученые, предающіеся морфологическому изслѣдованію, послѣ неудачной по-

пытки построить теорію *жизненной силы*, не заявляютъ и не имѣютъ какихъ-нибудь ясныхъ научныхъ началъ. Поэтому, они дѣйствуютъ какъ-бы ощупью, часто лишены увѣренности въ своемъ пути, не дѣлаютъ твердыхъ возраженій противъ новыхъ *врачей-механиковъ* (въ родѣ Дюбуа-Реймона) и, вообще, остаются въ тѣни, тогда какъ эти врачи-механики громко провозглашаютъ свое ученіе и его непобѣдимую силу.

Натуралисты особенно легко увлекаются мыслью о верховномъ значеніи естественныхъ наукъ; они безотчетно признаютъ окончательнымъ то состояніе методовъ и основныхъ понятій, которое установилось въ этихъ наукахъ, и почти никогда не думаютъ, что эти методы требуютъ развитія, и эти понятія—разъясненія. Поэтому, когда предметъ явно не поддается пониманію, и натуралисты видятъ, наконецъ, недостаточность употребляемыхъ ими пріемовъ мысли, они или прямо объявляютъ, что дошли до предѣловъ возможнаго познанія, какъ это высказалъ Дюбуа-Реймонъ, или же, какъ виталисты, на тысячу ладовъ прикидываютъ къ дѣлу свои неясные и недостаточные пріемы, движутся ощупью и въ темнотѣ и не доходятъ ни до какихъ опредѣленныхъ и точныхъ взглядовъ. Между тѣмъ, есть наука, изслѣдующая всякіе методы и свойства всякихъ понятій, именно философія. Къ ней слѣдовало бы натуралистамъ обратиться за помощью; но, къ несчастію, эта наука въ послѣднія десятилѣтія потеряла свой авторитетъ, и можно прямо сказать, что именно недостатокъ философскаго руководства составляетъ причину тѣхъ неправильностей въ движеніи естественныхъ наукъ, о которыхъ мы говоримъ.

Величайшій изъ виталистовъ послѣдняго времени есть, безъ сомнѣнія, *Клодъ Бернаръ* (род. 1813, ум. 1878). Кто хочетъ понимать сущность механическаго взгляда на міръ, тотъ долженъ изучать теоретическую механику; кто хочетъ понимать витализмъ въ его чисто научномъ видѣ, въ его твердыхъ основаніяхъ, тотъ долженъ изучать преимущественно Клода Бернара. Не было ученаго болѣе обильнаго изслѣдованіями и открытіями, болѣе преданнаго изысканію истины, болѣе вѣрнаго научному духу, болѣе безпристрастнаго и остерегающагося предвзятыхъ идей; поэтому, виталистическіе взгляды, до которыхъ онъ достигъ и которые высказалъ, составляютъ не какія-нибудь личныя его воззрѣнія, а прочное, твердо обоснованное достояніе науки. Но, несмотря на свою великую геніальность, Клодъ Бернаръ видимо затруднялся, когда стремился вполнѣ и опредѣленно выразить свою мысль. Онъ постоянно какъ будто борется съ терминами и понятіями, не довольно гибкими для обозначенія того, что онъ хочетъ формулировать *). Поэтому, мы найдемъ у него множество превосходныхъ указаній на истинное пониманіе органической жизни, но онъ не оставилъ намъ связной теоріи и точно установленнаго метода.

---

*) Взгляды и пріемы Клода Бернара подробно разбираются въ моей книгѣ: *Объ основныхъ понятіяхъ психологіи и физіологіи.* Изд. 2-е. Спб. 1894.

VII.

Ученый міръ.

Нужно полагать строгое различіе между наукою и учеными. Когда мы говоримъ: *состояніе* науки, *событіе* въ наукѣ, *упадокъ* науки, то, большею частію, правильнѣе было бы говорить: состояніе ученыхъ, упадокъ ученаго міра и т. д. Наука всегда вѣрна себѣ самой, всегда устремлена къ своей цѣли, но мы легко ей измѣняемъ, легко сбиваемся съ ея пути. Наукѣ, по самому ея существу, противна всякая авторитетность; несравненный ореолъ, окружающій знамя науки, въ томъ и состоитъ, что она не терпитъ никакого подчиненія, кромѣ свободнаго, что въ ней всякій судитъ самъ, ничего не дѣлается и не должно дѣлаться слѣпо и безсознательно. Между тѣмъ, по слабости человѣческихъ умовъ, въ дѣйствительности владычество науки имѣетъ совершенно другой характеръ. Если мы постоянно говоримъ о *жрецахъ* науки и себя называемъ *профанами*, то это вовсе не шутки, а очень точныя выраженія. Между наукою и нами стоитъ каста особыхъ людей, какъ говорится, *посвятившихъ* себя наукѣ,—такъ называемый *ученый міръ*; и этотъ міръ не только обладаетъ авторитетомъ, но всячески ищетъ его и укрѣпляетъ; и мы, когда усвоиваемъ себѣ научныя воззрѣнія, обыкновенно слѣпо подчиняемся этому авторитету, не боясь грѣха, который такимъ образомъ совершаемъ противъ самаго принципа науки, требующаго сознательности и свободы.

Иногда мы ропщемъ на ученыхъ, жалуемся на трудность ихъ писаній, на узость занятій и взглядовъ *спеціалистовъ*; но мы не замѣчаемъ, что сами же соблазняемъ ученыхъ такъ или иначе отдѣляться отъ непосвященныхъ. Стоитъ кому-нибудь сдѣлаться спеціалистомъ, чтобы тотчасъ же получить въ нашихъ глазахъ извѣстную долю ученаго авторитета.

Вообще можно сказать, что владычество науки есть лишь власть надъ умами ученаго міра въ томъ составѣ, который онъ имѣетъ въ данную минуту. Вотъ гдѣ кроется причина всякихъ неправильностей общаго научнаго движенія. Ученые, число которыхъ возрастаетъ съ каждымъ днемъ, въ большинствѣ сами лишены самостоятельности, сами слѣпо преклоняются передъ авторитетомъ свѣтилъ своей науки, крѣпко держатся другъ за друга, упорно стоятъ за разъ принятыя ученія, а между тѣмъ всегда готовы подаваться въ сторону низменныхъ взглядовъ и машинальнаго накопленія познаній. Поэтому, ученый міръ представляетъ иногда истинное препятствіе движенію науки, или даже ту среду, въ которой заразительно распространяются особаго рода заблужденія, не поддающіяся потомъ никакимъ усиліямъ. И такъ, нужно всегда помнить, что голосъ ученаго міра не есть еще голосъ самой науки.

Въ исторіи наукъ есть одинъ любопытный примѣръ дѣйствій ученаго міра. Великій поэтъ Гёте занимался, какъ извѣстно, и естественными науками, и сдѣлалъ въ нихъ нѣсколько самостоятельныхъ изслѣдованій, небольшихъ, но очень важныхъ по идеямъ, по пріемамъ мысли, открывавшимъ въ наукѣ новые пути. Изслѣдованія эти такъ

содержательны, что, конечно, могли бы составить хорошее имя не одному, а чуть не полдюжинѣ обыкновенныхъ натуралистовъ; но трудамъ Гёте выпала жестокая доля: ученый міръ упорно не хотѣлъ ихъ знать, не принялъ ихъ въ науку и отвергалъ до тѣхъ поръ, пока настоящіе, патентованные ученые не пришли къ тѣмъ же самымъ положеніямъ, какія доказывалъ Гёте.

Очень характерно разсуждаетъ объ этомъ фактѣ Дюбуа-Реймонъ. Онъ говоритъ сперва вообще: „Если мы будемъ судить не взирая на лица, а съ точки зрѣнія исторіи науки, незнающей никакого argumentum ad pietatem, то нельзя скрыть, что *и безъ Гёте* наука вообще пошла бы такъ же далеко, какъ теперь". Уже тутъ видно, что Гёте разсматривается какъ человѣкъ посторонній. Своихъ людей, обыкновенныхъ натуралистовъ, наука съ почетомъ вноситъ въ свою исторію вовсе не тогда лишь, когда окажется, что безъ ихъ подвиговъ наука никакъ не могла бы обойтись. Она поминаетъ съ благодарностію всякіе ихъ посильные труды. Но Гёте, если хочетъ столь большой чести въ чужомъ вѣдомствѣ, долженъ доказать, что онъ былъ необходимъ этому вѣдомству, что онъ спасъ его отъ застоя. Затѣмъ Дюбуа-Реймонъ перебираетъ съ этой точки зрѣнія всѣ изслѣдованія Гёте.

„Метаморфозу растеній", говоритъ онъ, „раньше Гёте открылъ *Каспаръ Фридрихъ Вольфъ*; „послѣдовательные образы" были описаны *Эразмомъ Дарвиномъ* и *Робертомъ Дарвиномъ*; теорія позвонковъ была опубликова *Океномъ*,—такъ что во всемъ этомъ Гёте имѣетъ право не на первенство, а только на самостоятельность.

Между-челюстная кость человѣка была вскорѣ послѣ него самостоятельно найдена *Викъ-Дазиромъ*. Такъ какъ, притомъ, Гёте стоялъ внѣ спеціально-научныхъ круговъ и спеціально-научной литературы, и противъ поэта, изслѣдующаго природу, господствовало предубѣжденіе, которое черезъ чуръ оправдывалось его полемикою въ ученіи о цвѣтахъ: то его труды очень долгое время не имѣли почти никакого успѣха заграницею, а въ Германіи имѣли лишь сомнительный успѣхъ. И такъ, наука подвинулась впередъ не при помощи Гёте, а независимо отъ него, какъ это всего лучше видно изъ того, что и теперь еще читаются лекціи и пишутся статьи съ цѣлью доказать, что онъ, вообще, былъ натуралистомъ"*).

Увы! Еще и теперь! Можно подумать, что въ натуралисты постригаются какъ въ монахи, или помазуются, какъ въ короли, и вотъ мы никакъ не можемъ найти достовѣрныхъ свѣдѣній, было ли совершено надъ Гёте такое постриженіе или помазаніе. Всего удивительнѣе, что Дюбуа-Реймонъ не видитъ, до какой жестокой степени ученый міръ былъ и есть несправедливъ къ Гёте. Развѣ правы были „спеціально научные (fachwissenschaftliche) круги", что, такъ какъ Гёте къ нимъ не принадлежалъ, то они знать не хотѣли его трудовъ? Развѣ не дико „предубѣжденіе противъ поэта, занимающагося изученіемъ природы"? Развѣ хорошо, убѣдившись въ одной ошибкѣ изслѣдователя, откинуть безъ разбора и вниманія всѣ его другія изысканія? Подобный образъ дѣйствій можно, пожалуй, простить отдѣльному человѣку; но

*) Reden, I, стр. 436.

цѣлый ученый міръ, казалось бы, долженъ былъ поступать вполнѣ независимо отъ случайныхъ обстоятельствъ и судить лишь по существу дѣла. Оказывается, наоборотъ: въ ученомъ мірѣ иногда предразсудки крѣпче и исключительность сильнѣе, чѣмъ въ отдѣльныхъ людяхъ.

Что̀ касается до того, что изслѣдованія Гёте были предвосхищены другими, то и тутъ едва-ли правъ Дюбуа-Реймонъ. Эти предшественники говорили, пожалуй, то же, да не такъ, не съ тою полнотою и ясностію мысли, какъ Гёте; притомъ, ихъ изслѣдованія вовсе не были еще вполнѣ приняты въ науку, не были въ ней на такомъ виду, какъ можно это подумать по словамъ Дюбуа-Реймона. Напримѣръ, истинно геніальный К. Фр. Вольфъ былъ совершенно отвергнутъ и забытъ, и о немъ вспомнили лишь долго спустя, когда метаморфоза растеній была наконецъ установлена въ наукѣ А. П. Декандолемъ. Но теперь и Вольфъ пошелъ въ счетъ, ради обороны достоинства науки отъ притязаній Гёте.

VIII.

Виды на будущее.

Вотъ нѣсколько замѣчаній о томъ, какимъ неправильностямъ подвержено развитіе науки и какого свойства бываетъ ея господство надъ умами. Подчиняясь научному движенію, существующему вокругъ насъ, или, пожалуй, надъ нами, мы всегда должны помнить, что подвергаемся опасности подчиниться не чистой истинѣ, а одностороннему взгляду, или даже упорному застою,

противящемуся истиннымъ требованіямъ знанія. Безопасенъ будетъ только тотъ, кто проникнетъ до самаго существа науки и, слѣдовательно, будетъ подчиняться уже не слѣпо, а вполнѣ сознательно и свободно. Это — дѣло возможное, но, конечно, лишь для немногихъ профановъ, да и не для большинства жрецовъ науки; поэтому, никогда не будетъ ни безусловно правильнаго развитія науки, ни такого свѣтлаго ея владычества, когда исчезло бы всякое суевѣріе авторитета, и на умы прямо дѣйствовала бы истина своею внутреннею силою. Не будемъ же надѣяться на полное торжество какихъ-нибудь нашихъ понятій, какъ бы ясно мы ни видѣли ихъ правильность; не будемъ думать, что рано или поздно исчезнутъ ученія, ложность которыхъ намъ вполнѣ очевидна. Мы должны всячески охранять свободу своего ума, и для насъ должно быть все равно, успѣютъ ли когда-нибудь наши мысли достигнуть общаго признанія, или мы одни останемся ихъ исповѣдниками. Тогда чистое озареніе истины будетъ намъ доступно. И когда пишемъ, то должны заботиться не о томъ, чтобы заполонить читателя, связать его мысль авторитетомъ, чувствомъ, воображеніемъ, а о томъ, чтобы освободить его умъ, открыть ему просторъ въ какую-нибудь сторону, возбудить въ немъ самостоятельную дѣятельность. Эту заботу всякаго истиннаго ученаго прекрасно выразилъ Вирховъ, когда во второй разъ издавалъ свою знаменитую *Целлюлярную патологію* (1859). „Книга эта“, сказалъ онъ, „вполнѣ достигла бы своей цѣли, еслибы подѣйствовала въ обширныхъ кругахъ какъ пропаганда — не именно целлюлярной патологіи, а лишь вообще — не

зависимаго мышленія и изслѣдованія".

Такимъ желаніемъ долженъ сопровождать свое писаніе каждый писатель.

7 февр. 1892.

V.

ЗАМѢТКИ ОБЪ ТЭНѢ.

1893.

Въ сравненіи съ Ренаномъ, Тэна, конечно, нужно поставить во второй, или даже въ третій разрядъ писателей. Онъ далеко уступаетъ Ренану и въ обиліи мыслей, и въ важности и разнообразіи предметовъ, о которыхъ писалъ, и, наконецъ, въ самомъ методѣ, съ которымъ брался за каждый свой предметъ, и въ мастерствѣ, съ которымъ его излагалъ. Между тѣмъ, имя Тэна невольно какъ-то соединяется съ именемъ Ренана, когда мы думаемъ о французской литературѣ; эти два писателя, очевидно, возвышались надъ остальною литературою, господствовали въ ней, хотя стояли далеко не на одномъ уровнѣ. Успѣхъ Ренана былъ при этомъ ниже его достоинствъ, потому что это былъ скептикъ, загадочный и прихотливый; успѣхъ Тэна былъ, напротивъ, нѣсколько выше его достоинствъ и зависѣлъ отъ того, что это былъ догматикъ, излагавшій свои мысли твердо, систематически и ясно до прозрачности. Пони-

мать Тэна не трудно, и въ этомъ для многихъ была его привлекательность. У насъ, въ Россіи, сочиненія Тэна очень читались и главнѣйшія были переведены, именно *Чтенія объ искусствѣ* (1874), *Титъ Ливій* (1885), *Объ умѣ и познаніи* (1872)*), *Исторія революціи* (печаталась въ приложеніи къ *Русской рѣчи* въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ; не ручаемся за точность заглавія).

Что̀ же такое Тэнъ? Судьба наша такова, что французскіе писатели занимаютъ насъ столько же, если не больше, чѣмъ свои; мы живемъ постояннымъ отраженіемъ чужой умственной жизни. Поэтому, сверхъ своихъ дѣлъ, у насъ всегда много чужихъ. Тутъ не было бы ничего дурнаго, еслибы мы успѣвали справляться со всѣмъ этимъ изобиліемъ умственныхъ явленій, еслибы никогда не впадали ни въ попугайство, ни въ путаницу и сумбуръ; по несчастію, нельзя намъ этимъ похвалиться. Относительно Тэна рѣшаемся представить читателямъ слѣдующія общія замѣчанія.

I.

Науки и позитивизмъ.

Когда дѣло идетъ объ Тэнѣ, то непремѣнно приходится разсматривать его, какъ философа. Ибо у него не только была нѣкоторая философія въ родѣ той, какую можно найти у каждаго писателя, если станемъ доискиваться главныхъ основъ и пріемовъ его мыслей;

*) Второе изданіе этого перевода вышло въ 1894 г.

у Тэна были такіе философскіе взгляды и пріемы, которые онъ прямо заявлялъ и исповѣдывалъ, и которымъ онъ старался подчинить весь ходъ своихъ разсужденій. Трудно найти книги, имѣющія болѣе систематическій и методическій видъ, чѣмъ его книги. Эта строгая внѣшняя форма, это постоянное однообразіе подведенія частныхъ случаевъ подъ общія положенія даже портитъ его писанія, дѣлаетъ ихъ монотонными. По счастію, читатель скоро догадывается, что формулы Тэна слишкомъ узки и односторонни для содержанія въ нихъ вкладываемаго. Тэнъ былъ человѣкъ огромныхъ умственныхъ силъ, съ чрезвычайнымъ трудолюбіемъ и ученостью и, вмѣстѣ съ тѣмъ, съ большимъ даромъ слова, съ остроуміемъ, наблюдательностью и художественнымъ вкусомъ. Понятно, что все это богатство не укладывалось въ узкія рамки его философскихъ построеній и било черезъ край,—что̀ и даетъ едва-ли не главную привлекательность его сочиненіямъ. Можно сказать, дѣйствительно, что его философія иногда больше вредила его писаніямъ, чѣмъ приносила имъ пользу.

Въ чемъ состояла эта философія? Во-первыхъ, Тэнъ принадлежитъ къ позитивистамъ. Такъ опредѣлилъ его Шереръ еще въ 1858 г., черезъ пять лѣтъ послѣ появленія Тэна въ литературѣ, и это опредѣленіе нужно признать вполнѣ вѣрнымъ *). Позитивизмъ есть чисто французское явленіе, и Тэнъ входитъ, какъ одинъ изъ потоковъ, въ это умственное движеніе, появившееся во Франціи почти съ начала нынѣшняго вѣка. Это была

*) *E. Scherer*, Mélanges de critique religieuse. Par. 1860, стр. 451 и слѣд.

нѣкоторая попытка выйти изъ господствовавшей шаткости, изъ анархическаго отрицанія и сомнѣнія, въ которомъ были оставлены умы прошлымъ вѣкомъ и его революціею. Какъ извѣстно, позитивизмъ видитъ свой главный авторитетъ, свою незыблемую опору въ наукахъ, то-есть не въ познаніяхъ вообще, а въ томъ, что̀ французы называютъ les sciences, въ такъ называемыхъ *положительныхъ* наукахъ, куда относится математика, затѣмъ точныя науки и, наконецъ, вообще естествознаніе. Когда все было подрыто и расшатано, и религія, и политика, и всѣ понятія о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ, тогда оказалось, что есть, однако же, науки, которыя при этомъ не потерпѣли никакого ущерба, остались столь же твердыми и ясными въ своемъ содержаніи и значеніи, какъ и прежде. Уваженіе къ нимъ безмѣрно возрасло, и естественно явилась мысль остановиться на нихъ, какъ на единственно надежной области познаній. Вотъ почему ихъ стали называть *положительными*, не въ смыслѣ противоположности чему-нибудь отрицательному, а въ смыслѣ опредѣленности, твердости, достовѣрности, такъ, какъ мы говоримъ: „положительное законодательство“, „положительная религія“. Шеллингъ въ свои старые годы училъ, что въ философіи существуютъ двѣ области, одна, которую слѣдуетъ называть *отрицательною* философіею, и другая, высшая, — *положительная* философія. Совершенно иначе понимается выраженіе „положительныя науки“; тутъ подразумѣвается противоположность наукамъ шаткимъ, спорнымъ, много утверждающимъ, но не имѣющимъ твердой достовѣрности.

Позитивизмъ есть попытка основать на положительныхъ наукихъ полное міровоззрѣніе, полную философію. Н. Я. Данилевскій считаетъ развитіе этихъ наукъ за наиболѣе характерную черту европейской культуры. Франція, какъ главная представительница Европы, сдѣлала величайшіе успѣхи въ этихъ наукахъ; она и породила мысль поставить ихъ въ средоточіе всей умственной дѣятельности. Подобныя стремленія питалъ уже знаменитый соціалистъ Сенъ-Симонъ; ученикъ Сенъ-Симона, Огюстъ Контъ, продолжалъ ихъ развивать и создалъ философскую систему позитивизма.

Явленіе чрезвычайно любопытное. Науки вообще представляютъ замѣчательно устойчивыя произведенія человѣческаго ума, медленно, но непрерывно и неодолимо растущія, созидаемыя силами, которыхъ направленіе и обособленіе имѣетъ въ себѣ нѣчто загадочное. Если изъ нихъ выдѣлилась группа, заслужившая названіе „положительныхъ", то намъ предстоитъ вопросъ: чѣмъ отличается эта группа отъ остальныхъ, въ чемъ тайна ея особенной твердости? Если мы хотимъ принять ее за основу нашего міровоззрѣнія, то намъ необходимо какъ-нибудь отвѣчать на это, какъ-нибудь опредѣлить свое положеніе въ цѣлой сферѣ ума и знанія.

Огюстъ Контъ понялъ это требованіе, и успѣхъ его системы, кажется, зависѣлъ именно оттого, что онъ попытался дать отвѣты на представляющіеся здѣсь вопросы. Во-первыхъ, онъ сказалъ, что положительныя науки опираются на опытѣ, и что въ этомъ состоитъ ихъ твердость. При этомъ онъ вовсе и не думалъ доказывать

самый принципъ опыта, считая такое доказательство, очевидно, дѣломъ излишнимъ; авторитетъ опыта признается совершенно легко и безпрекословно. Далѣе Контъ училъ, что, ограничиваясь однѣми положительными науками, мы дѣйствительно должны ограничить наше познаніе, что все, лежащее за ихъ предѣлами, мы должны признать недоступнымъ, или просто несуществующимъ для нашего ума. Въ этомъ случаѣ Контъ противорѣчилъ чрезвычайно сильному предубѣжденію; поклонники наукъ ждали и ждутъ отъ нихъ рѣшенія всѣхъ вопросовъ. Какъ человѣкъ съ отличнымъ научнымъ образованіемъ, Контъ ясно видѣлъ, что задачи положительныхъ наукъ имѣютъ точную опредѣленность, въ силу которой эти науки, какъ и всякія другія, не могутъ найти того, чего не ищутъ. Онъ утверждалъ, что онѣ даютъ намъ только *законы* явленій, то-есть болѣе или менѣе общія правила, опредѣляющія связь однихъ явленій съ другими, но никогда не открываютъ намъ *сущностей*, лежащихъ въ основѣ явленій, не доводятъ насъ до *причинъ*, которыя ихъ производятъ. Въ этомъ ученіи сказалось, очевидно, вѣрное чувство границъ, полагаемыхъ эмпиризму самымъ существомъ дѣла.

Затѣмъ, Контъ постарался установить понятіе о тѣхъ областяхъ мышленія, которыя находятся за предѣлами положительнаго знанія, и такимъ образомъ опредѣлить положеніе позитивизма въ настоящемъ и прошедшемъ человѣческой мысли. Онъ утверждалъ, что нашъ умъ можетъ дѣйствовать тремя различными способами, или ходить тремя различными путями, *теологическимъ*, *метафизическимъ* и *позитивнымъ*. Умъ можетъ въ одно и

то же время вдаваться во всѣ эти пути, но если онъ дѣйствуетъ съ полною силою и твердостію, то онъ съ перваго пути переходитъ на второй, а со втораго на третій, окончательный. Все, что существуетъ внѣ позитивизма, создано и создается двумя первыми, несовершенными способами, теологическимъ и метафизическимъ мышленіемъ. Но исторія показываетъ, по убѣжденію Конта, что эти пріемы отживаютъ одинъ за другимъ, и что будущее принадлежитъ нераздѣльному господству позитивнаго мышленія.

Наконецъ, Контъ пытался доказать, что человѣкъ и можетъ и долженъ довольствоваться положительнымъ знаніемъ, что оно даетъ отвѣтъ на всѣ практическіе вопросы. Тутъ обнаружилось, что въ кругу положительныхъ наукъ не было науки о самомъ важномъ предметѣ, *о человѣческомъ обществѣ*. Поэтому Контъ составилъ планъ новой положительной науки, *соціологіи*, и утверждалъ, что ее нужно и должно разработать по пріемамъ точныхъ наукъ. Впослѣдствіи, какъ извѣстно, онъ основалъ и позитивную религію, которая могла бы замѣнить христіанство.

Такимъ образомъ, позитивизмъ у Конта, по видимому, получилъ совершенно твердую и ясную постановку. Каковы бы ни были его отвѣты, но онъ далъ опредѣленные отвѣты на вопросы, какъ онъ понимаетъ познаніе, какимъ путемъ его ищетъ и какъ смотритъ на другіе пути.

II.

Философія Тэна.

Легко видѣть, однакоже, что выводы Конта не представляютъ безусловной строгости, такъ что, исходя изъ тѣхъ же основъ, можно прійти къ другимъ заключеніямъ. Это и случилось со многими, не менѣе Конта ревностными поклонниками научнаго духа вообще и эмпиризма въ частности. Таковъ былъ, напримѣръ, Милль, объявившій себя приверженцемъ позитивизма, но написавшій логику и твердо стоявшій за психологію,—науки, которыя Контомъ отвергались, не признавались въ числѣ положительныхъ наукъ. Вопросы о кругѣ наукъ, которыя слѣдуетъ признать положительными, о методѣ каждой изъ нихъ и области, подлежащей каждому методу,—вообще трудны и требуютъ прилежнаго изслѣдованія. Тутъ возможны неодинаковые взгляды на предметъ и различныя степени его пониманія. Особенность Тэна состоитъ въ томъ, что, держась, какъ и Контъ, положительныхъ наукъ, онъ понялъ ихъ методы нѣсколько иначе, нѣсколько глубже и яснѣе Конта, а потому и явился позитивистомъ не похожимъ на другихъ писателей этого направленія, до того, что не хотѣлъ и самъ себя къ нимъ причислять.

Дѣло это стоило бы подробнаго изслѣдованія. Всякій успѣхъ въ пониманіи научныхъ методовъ есть драгоцѣнное умственное пріобрѣтеніе, ибо подвигаетъ насъ въ познаніи метода вообще, тѣхъ коренныхъ пріемовъ

мысли, особую форму или частный видъ которыхъ составляетъ методъ каждой частной науки. Къ сожалѣнію, шагъ, сдѣланный на этомъ пути Тэномъ, не обоснованъ имъ вполнѣ отчетливо и опредѣленно. Можно только сказать, что, изучая положительныя науки, онъ нашелъ въ нихъ больше, чѣмъ одни лишь эмпирическіе законы, нашелъ элементы нѣкоторой метафизики, и такимъ образомъ вышелъ за предѣлъ, поставленный Контомъ для положительнаго знанія. И въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ сомнѣнія, что никакая наука не можетъ ограничиться опытомъ, и каждая идетъ дальше его. Но въ чемъ и какъ совершается это движеніе, у Тэна указано не довольно методически. Всего яснѣе онъ говоритъ объ этомъ въ статьѣ объ Миллѣ. Тутъ онъ утверждаетъ, что сверхъ опыта наука неизбѣжно употребляетъ еще другой пріемъ, *отвлеченіе* (abstraction), которому онъ, очевидно, даетъ значеніе, нѣсколько отличное отъ общеупотребительнаго. Это отвлеченіе или анализъ есть способность находить элементы, простыя составныя части, стихіи, изъ которыхъ состоятъ конкретные факты, даваемые намъ опытомъ. „Есть простыя понятія, то-есть, неразложимые абстракты; ихъ сочетаніе порождаетъ все остальное, и правила ихъ соединеній, или ихъ взаимныхъ противорѣчій, составляютъ первичные законы міра [1])“. Такимъ образомъ, міръ приводится у Тэна къ нѣкоторому единству, и признана возможность познавать его существенные элементы,—чего никакъ не могли допустить Контъ и Милль.

---

[1]) Histoire de la littérature anglaise. IV, p. 422. (Paris, 1864).

Очевидно, однако, что этого нельзя достигнуть посредствомъ простаго отвлеченія; чтобы совершать тотъ анализъ, который предполагается Тэномъ, намъ нужны нѣкоторыя особенныя правила, нужна способность отличать въ данномъ фактѣ его первичные, неразложимые элементы,—словомъ, нужна нѣкоторая система категорій, съ которою мы могли бы приступать къ изслѣдованію. Тэнъ касается этого пункта только мимоходомъ и не пришелъ въ этомъ вопросѣ ни къ какому опредѣленному ученію. Обыкновенный его пріемъ состоитъ въ томъ, что онъ прямо беретъ категоріи, установившіяся въ наукахъ, и подводитъ подъ нихъ разсматриваемые факты. На первомъ мѣстѣ, разумѣется, стоитъ познаніе *причинъ*, *условій*, *зависимости* явленій. Все обусловлено, все имѣетъ свою причину, и такимъ образомъ міръ является связнымъ и цѣльнымъ.

„Наука имѣетъ цѣлью найти причину каждаго предмета и причину причинъ, которая есть причина міра [1])". Мы не будемъ останавливаться на особомъ значеніи, которое Тэнъ придаетъ своему понятію причины и которое не имѣетъ у него вліянія на приложеніе этого понятія [2]). Далѣе, самую важную роль и самое обшир-

---

[1]) Les philosophes classiques de XIX siécle. Préface, стр. VI. (Par. 1868).

[2]) Вотъ характерное мѣсто для любопытныхъ читателей:

„Причина какого-нибудь факта есть законъ или господствующее качество, изъ котораго выводится этотъ фактъ; дѣйствующая сила есть логическая необходимость, связывающая производный фактъ съ первичнымъ закономъ;—такъ сила тяжести есть логическая необходимость, связывающая паденіе камня со всеобщимъ закономъ тяготѣнія (стр. VI)".

ное употребленіе у него имѣютъ категоріи, заимствованныя изъ наукъ объ организмахъ. Въ предисловіи ко 2-му изданію Essais de critique et d'histoire (1866) онъ подробно перечисляетъ эти категоріи: *связь признаковъ* (Кювье), *органическое колебаніе* (Жоффруа Сентъ-Илеръ), *подчиненіе признаковъ* (естественная система), *единство состава* (Жоффруа Сентъ-Илеръ), *теорія гомологовъ* (Оуэнъ) и пр. Эти категоріи Тэнъ прилагаетъ ко всѣмъ явленіямъ человѣческаго міра, къ политической и культурной исторіи, къ произведеніямъ литературы, къ теоріи и исторіи искусствъ и т. д.

Конечно, это превосходныя категоріи, очень широкія и гибкія, способныя обнять разнообразныя явленія, и Тэнъ совершенно правъ, прилагая ихъ къ своему предмету. Однакоже, для полной прочности дѣла требовалось бы нѣкоторое теоретическое установленіе этихъ категорій, а не простая ссылка на естественныя науки объ организмахъ. Какъ нарочно, случилось такъ, что тѣ самыя категоріи, которыя такъ нужны Тэну и которыя онъ бралъ изъ самаго надежнаго источника, изъ положительныхъ наукъ, въ послѣднее время потеряли силу въ этихъ наукахъ, такъ сказать, *вышли изъ моды* у натуралистовъ. Въ самомъ дѣлѣ, все это (*связь признаковъ* и пр.)— суть категоріи *развитія*, нѣкотораго внутренняго процесса, имѣющаго свой принципъ и свою цѣль. Въ прежнее время натуралисты съ великимъ трудомъ отыскивали черты этого процесса и устанавливали формулы его законовъ; но теперь они такъ увлеклись механическими взглядами на организмы, что большею частію отрицаютъ значеніе добытыхъ прежде научныхъ положеній. Вѣрный своему

пріему, Тэнъ ссылается въ концѣ и на ученіе Дарвина, какъ на законъ, найденный въ естественныхъ наукахъ, и не замѣчаетъ, что это ученіе стоитъ въ противорѣчіи съ категоріями, которыя онъ только-что перечислилъ.

Мы видимъ отсюда, что философскіе взгляды Тэна не имѣютъ ни совершенной строгости, ни какой-нибудь полноты. Онъ самъ (въ началѣ того же предисловія) очень вѣрно говоритъ о себѣ:

„Многіе критики сдѣлали мнѣ честь или опровергать, или одобрять то, что̀ имъ угодно называть моею системою. У меня нѣтъ такихъ притязаній—имѣть систему; по наибольшей мѣрѣ, я только пытаюсь слѣдовать извѣстному методу. Система есть объясненіе всей совокупности, и указываетъ на дѣло, доведенное до конца; методъ есть извѣстный способъ работать и указываетъ на дѣло, которое предстоитъ сдѣлать".

Однако же, по исходнымъ точкамъ, по направленію изслѣдованія можно заранѣе судить о результатахъ; поэтому, читатели и критики Тэна были правы, когда говорили, что онъ проповѣдуетъ фатализмъ, что его философія есть нѣчто подобное пантеизму Спинозы, всего точнѣе—натурализмъ. Да и самъ Тэнъ не всегда былъ такъ сдержанъ, чтобы не провозглашать своихъ общихъ и крайнихъ выводовъ; онъ не разъ указывалъ ту систему, къ которой ведетъ его методъ.

Что Тэнъ кладетъ въ основу позитивизмъ, видно изъ слѣдующихъ словъ:

„Сверхъ всѣхъ тѣхъ низшихъ анализовъ, которые называются *науками* и которые сводятъ факты къ нѣкоторымъ частнымъ типамъ и законамъ, можетъ суще-

ствовать еще высшій анализъ, называемый *метафизикою*, который сводилъ бы эти законы и эти типы къ нѣкоторой общей формулѣ. Этотъ анализъ не опровергалъ бы прежнихъ анализовъ, а лишь пополнялъ бы ихъ. Онъ не начиналъ бы новаго движенія, а лишь продолжалъ бы то, которое начато" [1]).

Какъ мы уже замѣтили, для этой работы, долженствующей лишь довести до конца дѣло позитивизма, необходимо имѣть нѣкоторое руководство. Тэнъ не скрываетъ, подъ какими вліяніями у него укрѣпилась идея этой, такъ сказать, позитивной метафизики. Онъ прямо называетъ Спинозу и Гегеля. Но въ какой мѣрѣ и что именно было усвоено Тэномъ? Вотъ что онъ говоритъ о Гегелѣ:

„Метафизики стараются опредѣлить верховный законъ, не проходя черезъ опытъ и сразу. Въ Германіи они пытались сдѣлать это съ героическою смѣлостію, съ высокою геніальностію и съ неблагоразуміемъ еще большимъ, чѣмъ ихъ геній и смѣлость. Однимъ прыжкомъ они взлетѣли къ основному закону и, закрывъ глаза на природу, пытались найти, посредствомъ нѣкотораго геометрическаго построенія, міръ, на который не посмотрѣли. Неснабженные точными обозначеніями, лишенные французскаго анализа, унесшіеся прямо на вершину громадной пирамиды, ступеней которой они не хотѣли проходить, они подверглись великому паденію; но въ этихъ развалинахъ и на днѣ этой пропасти, обвалившіеся остатки ихъ зданія все-таки превосходятъ своимъ

---

[1]) Philos. class. Prèf. стр IX.

великолѣпіемъ и своей массой всѣ другія человѣческія построенія, и полуразрушенный планъ, который можно въ нихъ прослѣдить, указываетъ будущимъ философамъ, своими несовершенствами и своими достоинствами, ту цѣль, которой нужно достигнуть въ концѣ, и тотъ путь, на который не нужно вступать съ начала" [1]).

Въ этой яркой картинѣ очень хорошъ и совершенно справедливъ энтузіазмъ, внушенный Тэну германскимъ идеализмомъ. Обломки этой философіи (если кому она представляется въ видѣ обломковъ) дѣйствительно неизмѣримо превосходятъ своимъ великолѣпіемъ всѣ другія попытки философскихъ построеній. Какъ видно, эти обломки еще не забыты и до сихъ поръ дѣйствуютъ. Но нужно пожелать, чтобы каждый философствующій основательно изучалъ ихъ, а не смотрѣлъ на нихъ, хотя бы и съ уваженіемъ, но лишь издалека, какъ на памятникъ минувшей старины. Съ другой стороны, конечно, стоятъ всякаго вниманія и положительныя науки, „французскій анализъ" и „точныя обозначенія". Очевидная цѣль Тэна состояла въ томъ, чтобы соединить все это съ германскою метафизикою, сочетать Конта съ Гегелемъ. Но для такого дѣла нужно философское обсужденіе и обоснованіе, котораго у Тэна существуютъ лишь небольшіе зачатки.

Въ заключеніе приведемъ страницу, всего яснѣе излагающую его общій взглядъ:

„Тутъ мы чувствуемъ, что въ насъ раждается понятіе *природы*. Въ силу іерархіи необходимостей, міръ

---

[1]) Philos class. стр. 360.

образуетъ единое нераздѣльное существо, котораго всѣ другія существа суть члены. На послѣдней вершинѣ вещей, на самой высотѣ свѣтлаго и недоступнаго эѳира, произносится вѣчная аксіома; и простирающійся въ даль откликъ этой творческой формулы составляетъ своими неистощимыми волнами всю безграничность міра. Всякая форма, всякая перемѣна, всякое движеніе, всякая идея есть одинъ изъ ея актовъ. Она пребываетъ во всѣхъ вещахъ, и никакою вещью не ограничивается. Вещество и мысль, планета и человѣкъ, нагроможденіе солнцъ и трепетанія какого-нибудь насѣкомаго, жизнь и смерть, горе и радость,—нѣтъ ничего такого, въ чемъ бы она не выражалась, и нѣтъ ничего такого, что̀ бы выражало ее всецѣло. Она наполняетъ время и пространство и остается выше времени и пространства. Она въ нихъ не содержится, и они отъ нея происходятъ. Всякая жизнь есть одинъ изъ ея моментовъ, всякое существо есть одна изъ ея формъ, и ряды вещей исходятъ изъ нея по несокрушимымъ необходимостямъ, связанные божественными звеньями ея золотой цѣпи. Безразличная, неподвижная, вѣчная, всемогущая, творческая,—нѣтъ имени ее исчерпывающаго, и когда открывается ея ясный и возвышенный ликъ, нѣтъ человѣческаго духа, который бы не преклонился, пораженный удивленіемъ и страхомъ. Этотъ духъ въ то же мгновеніе возстаетъ, онъ забываетъ свою смертность и свою малость; онъ по сочувствію наслаждается этою мыслимою имъ безконечностію и участвуетъ въ ея величіи“ [1]).

---

[1]) Тамъ же, стр. 361.

Можно видѣть изъ этого, что *гдѣ сокровище наше, тамъ и сердце наше*, что все, чему служитъ наша мысль, въ чемъ она полагаетъ цѣль своихъ исканій, становится для насъ какимъ-то божествомъ, такъ что можно обоготворять не только разумъ, природу, но и „аксіому".

III.

Эстетика и психологія Тэна.

Философскіе взгляды Тэна наложили печать на всѣ его произведенія. Рѣдко можно найти писателя, у котораго такъ ясно были бы видны на каждой страницѣ всѣ пріемы его мысли. Онъ даже старается выставить наголо тѣ логическія рамки, тѣ связи и формы, въ которыя вкладываетъ свое содержаніе. И вездѣ мы видимъ, главнымъ образомъ, эмпирика и аналитика. Онъ всегда ставитъ цѣлые ряды фактовъ, изъ которыхъ вытекаетъ извѣстное заключеніе, или которыми желаетъ доказать поставленное впереди положеніе. Онъ невольно уклоняется даже отъ единственнаго числа, а любитъ ставить множественное. *Человѣкъ смертенъ*—это выраженіе имѣетъ метафизическую форму; будетъ гораздо ближе къ опыту, если мы скажемъ: *всѣ люди умираютъ, Петръ, Иванъ и пр. и пр.*

Поэтому, всѣ писанія Тэна можно разсматривать какъ приложенія къ частному предмету его общихъ принциповъ. Его статьи по литературной критикѣ, его *Исторія англійской литературы* составляютъ приложеніе тѣхъ же самыхъ эмпирическихъ пріемовъ, какъ и

лекціи объ искусствѣ греческомъ, итальянскомъ, нидерландскомъ. Все это блещетъ великими достоинствами, обширнымъ изученіемъ предмета, вкусомъ, остроуміемъ, точностію фактовъ и мастерствомъ легкаго и прозрачнаго языка. Но нельзя не признать, что эти писанія оставляютъ въ насъ, однако же, какую-то неудовлетворенность. Мы чувствуемъ, что они не подымаются до высшей оцѣнки произведеній поэзіи и искусства, и потому не возбуждаютъ и не воспламеняютъ въ насъ любви къ этимъ произведеніямъ. Каждаго поэта и художника авторъ разлагаетъ на его элементы и показываетъ намъ происхожденіе этихъ элементовъ. Можно подумать, что произведенія художества происходятъ какъ непроизвольныя сочетанія особенностей народа, страны, вкусовъ, нравовъ и обычаевъ даннаго времени. Въ чемъ состоитъ цѣльность художественнаго произведенія, его неисчерпаемая жизненность, и то его главное качество, по которому оно бываетъ намъ дорого, какому бы вѣку и какой бы странѣ оно ни принадлежало,—этого нельзя понять по изложенію Тэна. Анализируя, разлагая на части свой предметъ, онъ какъ-будто теряетъ изъ вида его единство, самую его душу. Тэнъ это самъ чувствовалъ и, чтобы спасти это единство, придумалъ теорію нѣкоторой связи распадающихся въ его мысли элементовъ. Онъ признавалъ въ каждомъ художникѣ *господствующую способность* и въ каждомъ произведеніи искусства—*господствующую черту* (characére). Это ученіе, кажется, составляетъ прямую копію съ ученія натуралистовъ о *подчиненіи признаковъ* въ естественной системѣ организмовъ. Подчиненіе признаковъ есть очень

важный вопросъ и для науки о мышленіи и для классификаціи предметовъ природы; но оно есть только внѣшняя черта единства, содержитъ только указаніе на внутреннюю единую жизнь предмета, а не исчерпываетъ этой жизни.

Психологическіе взгляды Тэна изложены въ его книгѣ De l'intelligence (1871), гдѣ дается психологическое объясненіе всей познавательной дѣятельности человѣка. Это та англійская психологія, основанная на ассоціаціяхъ и ведущая дѣло чисто эмпирически, которую у насъ нѣсколькими годами ранѣе (1867) сталъ проповѣдывать М. М. Троицкій въ своей книгѣ *„Нѣмецкая психологія въ текущемъ столѣтіи“*. Опять нужно сказать, что книга Тэна представляетъ большія достоинства, и по выбору фактовъ, и по строгости и мастерству изложенія. Нѣкоторыя его выраженія стали даже ходячими, напримѣръ, что *воспріятіе есть лишь правдивая галлюцинація.* Онъ съ замѣчательной послѣдовательностію проводилъ принятыя имъ основанія. Такъ понятіе *я* у него вполнѣ обратилось въ нѣкоторую ассоціацію, и онъ часто говоритъ о „составныхъ частяхъ“ *я*, о „новыхъ сочетаніяхъ“, въ него входящихъ, наконецъ о нѣсколькихъ *я*, образующихся въ одномъ человѣкѣ.

IV.

Исторія вообще.

Послѣднія двадцать лѣтъ своей жизни Тэнъ посвятилъ исторіи. Его трудъ Les origines de la France con-

temporaine (*Первоначала современной Франціи*) напоминаетъ своимъ заглавіемъ трудъ Ренана Les origines du christianisme (*Первоначальная исторія христіанства*), какъ будто Тэнъ задумалъ написать сочиненіе, не уступающее книгѣ Ренана объемомъ и богатствомъ изысканій. Но цѣль Тэна не простая исторія, а разрѣшеніе нѣкоторой совершенно отчетливой задачи. „Въ 1849 году", разсказываетъ онъ, „когда мнѣ былъ двадцать одинъ годъ, я былъ избирателемъ и пришелъ въ большое затрудненіе; ибо мнѣ предстояло подать голосъ за пятнадцать или двадцать депутатовъ, и притомъ, по французскому обычаю, я не только долженъ былъ выбрать людей, но и выбирать между теоріями". И вотъ оказалось, что у него нѣтъ никакого политическаго мнѣнія, никакой излюбленной теоріи. „Послушавши разныхъ доктринъ, я убѣдился, что несомнѣнно есть нѣкоторый пробѣлъ въ моемъ умѣ". Чтобы наполнить этотъ пробѣлъ, чтобы составить себѣ нѣкоторое твердое политическое мнѣніе, онъ (спустя, однако, двадцать и болѣе лѣтъ) рѣшился наконецъ изучать свою страну и ея исторію. „Соціальная и политическая форма", говоритъ онъ, „въ которую какой-нибудь народъ можетъ отлиться и въ которой онъ можетъ *оставаться*, не предоставлена на его произволъ, а опредѣляется его характеромъ и его прошедшимъ". „Нужно ее *открыть*, если она существуетъ, а не пускать ее на голоса" [1]).

Въ сущности, это очень странная задача, совершенно напоминающая стремленіе Конта создать положитель-

---

[1]) *Les Origines*, t. I. Préface.

ную науку *соціологіи*. Тэнъ какъ будто хотѣлъ приступить къ дѣлу съ пустыми руками, не имѣя никакихъ мнѣній, и составить себѣ мнѣнія эмпирически, посредствомъ тщательнаго изученія фактовъ. Можно было бы въ такомъ случаѣ заранѣе предсказать, что онъ и отойдетъ съ пустыми руками. Но въ дѣйствительности такіе пріемы въ изученіи исторіи вовсе невозможны. Приступая къ исторіи, мы непремѣнно приносимъ съ собою извѣстныя понятія, и чѣмъ эти понятія шире, гибче, выше, чище, тѣмъ лучше и успѣшнѣе идетъ дѣло; чѣмъ они уже, грубѣе, низменнѣе, тѣмъ хуже выходитъ дѣло. И съ чѣмъ мы пришли, то, обыкновенно, и выносимъ, чего искали, то и находимъ. Съ какими понятіями о мірѣ и человѣкѣ приступилъ Тэнъ къ исторіи? Общій взглядъ его можно назвать натурализмомъ, а въ пониманіи души онъ держится эмпирической психологіи. И вотъ у него, какъ у очень логическаго и точнаго писателя, отчетливо выступили выводы этихъ ученій.

Вся всемірная исторія есть въ сущности ничто иное, какъ исторія души человѣческой. А что̀ такое эта душа? Тэнъ въ первомъ томѣ своей книги говоритъ объ этомъ такъ:

„То, что̀ мы называемъ въ человѣкѣ разумомъ, не есть врожденный, первоначальный и пребывающій даръ, а лишь позднее пріобрѣтеніе и легко распадающійся составъ (composè). Достаточно самаго скуднаго знакомства съ физіологіею, чтобы знать, что онъ есть нѣкоторое состояніе неустойчиваго равновѣсія, зависящаго отъ неменѣе неустойчиваго состоянія мозга, нервовъ, крови и желудка. — — — Потомъ, обратитесь

къ психологіи: самая простая умственная операція, какое-нибудь воспріятіе чувствъ, воспоминаніе, названіе имени предмета, обыкновенное сужденіе есть игра сложной механики, общее и конечное произведеніе многихъ милліоновъ колесъ (мозговыхъ клѣточекъ [корковый слой] считаютъ до тысячи двухсотъ милліоновъ, а волоконъ ихъ соединяющихъ—до четырехъ милліардовъ), которыя, подобно колесамъ часовъ, тянутъ и толкаютъ слѣпо, каждое само по себѣ, кеждое будучи увлекаемо собственною своею силою, каждое будучи удерживаемо отъ отклоненій въ своемъ отправленіи уравнительными приборами и противовѣсами. Если стрѣлка показываетъ почти вѣрно часъ, то лишь по совпаденію, составляющему какое-то диво, если не чудо, и галлюцинація, бредъ, мономанія, ждутъ насъ у нашего порога и всегда готовы войти въ насъ. Собственно говоря, человѣкъ есть по природѣ сумасшедшій, и тѣло его отъ природы больное; здоровье нашего ума, какъ и здоровье нашихъ органовъ есть лишь часто повторяющася удача и счастливый случай"[1]).

Такова, по убѣжденію Тэна, душа человѣка съ умственной стороны; посмотримъ теперь, какова она въ своихъ стремленіяхъ и дѣйствіяхъ.

„Во-первыхъ, если и не несомнѣнно, что человѣкъ по крови есть дальній родичъ обезьяны, то по крайней мѣрѣ достовѣрно, что по своему строенію онъ есть животное очень близкое къ обезьянѣ, снабженное клыками, плотоядное и хищное, въ древности каннибалъ, а по-

---

[1]) *Les origines de la France contemp.* T. I, стр. 311. (Par. 1876).

томъ охотникъ и воинъ. Отсюда въ немъ постоянный запасъ звѣрства, жестокости, насильственныхъ и разрушительныхъ инстинктовъ.— — — — Во-вторыхъ, отъ начала онъ былъ брошенъ, нагой и безпомощный, на неблагодарную землю, гдѣ трудно продовольствоваться, и онъ подъ страхомъ смерти долженъ былъ дѣлать запасы и сбереженія. Отсюда у него постоянная забота и одержащая его идея пріобрѣтать, копить и обладать, жадность и скупость, именно въ томъ классѣ, который, будучи прикованъ къ землѣ, голодаетъ въ теченіе шестидесяти поколѣній, чтобы питать другіе классы, и котораго цѣпкія руки постоянно протянуты и стремятся схватить ту почву, гдѣ онѣ выращиваютъ плоды.— — — Наконецъ, его тонкая умственная организація сдѣлала изъ него отъ начала воображательное существо, въ которомъ мечты кишатъ и сами собою развиваются въ чудовищныя химеры, преувеличивая безъ мѣры его страхи, надежды и желанія. Отсюда въ немъ избытокъ чувствительности, внезапные приливы волненій, заразительные восторги, потоки неукротимой страсти, эпидемія довѣрчивости и подозрительности, словомъ энтузіазмъ и паника.— — — Вотъ нѣкоторыя изъ стихійныхъ силъ, управляющихъ человѣческою жизнью.— — Истина въ томъ, что, подобно всѣмъ стихійнымъ силамъ, подобно рѣкѣ или потоку, эти силы, если остаются въ своемъ руслѣ, то только по принужденію; ихъ умѣренность есть слѣдствіе только сопротивленія плотины. Противъ ихъ разливовъ и опустошеній необходимо было употребить силу, равную ихъ силѣ, соразмѣрную ихъ степенямъ, тѣмъ болѣе твердую, чѣмъ они опаснѣе, въ слу-

чаѣ нужды деспотическую противъ ихъ деспотизма, во всякомъ случаѣ принудительную и карательную, сначала атамана, потомъ военачальника, всегда нѣкотораго воина, избираемаго или наслѣдственнаго, съ зоркими глазами, съ тяжелой рукою, который бы путемъ насилія внушалъ страхъ и страхомъ поддерживалъ бы миръ. Чтобы направлять и ограничивать его удары, употребляются различные механизмы, предварительная конституція, раздѣленіе властей, законы, суды. Но на концѣ всѣхъ этихъ колесъ всегда является основная пружина, дѣятельное орудіе, то-есть воинъ, вооруженный противъ того дикаря, разбойника и съумасшедшаго, которые скрываются въ каждомъ изъ насъ, усыпленные и скованные, но все-таки еще живые въ пещерѣ нашего сердца" *).

Вотъ какое существо есть герой всемірной исторіи. И какъ не согласиться, что все, сказанное Тэномъ, совершенно вѣрно? Все это данныя положительныхъ наукъ, все добыто и установлено физіологіею и эмпирическою психологіею. Если же такъ, то отсюда заранѣе видно, что исторія человѣчества должна быть повѣстью о непрерывномъ рядѣ безумій и злодѣйствъ. И, конечно, не мало найдется людей, которые, услышавъ это заключеніе, воскликнутъ: да это такъ и есть!

Между тѣмъ, безъ сомнѣнія это есть только изнанка исторіи, какъ болѣзнь есть изнанка здоровья, какъ сонъ и страданіе—изнанка бодрствованія и радости. Почему Тэнъ такъ рѣшительно говоритъ, что наше тѣло отъ природы больное? Это очевидная нелѣпость. Самое су-

*) Тамъ же, стр. 315, 316.

щество органической дѣятельности таково, чтобы производить и поддерживать здоровье. Но онъ не умѣетъ опредѣлить, что̀ такое здоровье; для него оно нѣчто таинственное, неуловимое. Онъ не видитъ, не имѣетъ средствъ видѣть, какъ возникаетъ этотъ порядокъ, тогда какъ элементы безпорядка на лицо, являются постоянно, всюду и со всѣхъ сторонъ. Вотъ онъ и говоритъ, что здоровье есть только видимость, а что въ сущности господствуетъ болѣзнь. Такъ точно эмпирическая психологія не знаетъ, что̀ такое разумъ; она разлагаетъ на части и ступени всѣ явленія умственной дѣятельности; но при этомъ оказывается только, что всякія ихъ сочетанія еще не достигаютъ конечной цѣли, и что всегда существуетъ возможность хаоса въ этихъ условіяхъ. И тогда становится непонятнымъ, какъ же возникаетъ разумъ, когда все насъ ведетъ къ безумію.

Значитъ, нужно думать, что въ душѣ человѣка и въ исторіи дѣйствуютъ нѣкоторыя высшія силы, которыхъ не знаетъ или не умѣетъ ввести въ свой разсчетъ Тэнъ. Разумѣется, весь смыслъ исторіи измѣняется для того, кто будетъ сознательно слѣдить въ ней за проявленіемъ и развитіемъ этихъ силъ.

V.

Исторія революціи.

Въ сущности, исторія человѣчества представляетъ намъ рядъ явленій таинственныхъ, непонятныхъ, то-есть

имѣющихъ для нашего ума неисчерпаемую глубину, неистощимую поучительность. Какъ понять силы, создающія разнообразіе человѣческихъ племенъ и человѣческихъ душъ? Какъ объяснить развитіе такихъ геніальныхъ народовъ, какъ греки, евреи? Можемъ ли мы постигнуть, въ чемъ состоитъ одряхлѣніе племени, убываніе въ немъ души? Если станемъ разсматривать событія, то найдемъ въ нихъ такую же загадочность. Мы не въ силахъ вполнѣ перенестись въ души людей, которые подвергались какимъ-нибудь катастрофамъ, или сами вызывали эти катастофы. Развѣ намъ понятенъ энтузіазмъ христіанскихъ мучениковъ, фанатизмъ защитниковъ Іерусалима, или злоба творцевъ Варѳоломеевской ночи? Да мы не можемъ себѣ ясно представить состояніе человѣческихъ душъ даже при событіяхъ постоянно повторяющихся. Что̀ происходитъ въ томъ, кто погибаетъ въ пламени пожара, подъ ножемъ убійцы, что̀ происходитъ въ самомъ убійцѣ? Что̀ дѣлается съ людьми во время сраженія? Объ этомъ хорошо знаютъ только тѣ, кто бывалъ въ сраженіяхъ, да и тѣ знаютъ только о себѣ, а не о другихъ и не объ совокупномъ ходѣ чувствъ и дѣйствій.

Поэтому, когда мы изучаемъ исторію, намъ приходится напрягать всѣ силы нашего пониманія, но заранѣе быть готовыми къ тому, что полнаго пониманія мы не достигнемъ. Мы прикидываемъ къ предмету то однѣ, то другія мѣрки, мы освѣщаемъ его то съ одной, то съ другой стороны, и каждый разъ лучше и лучше его разумѣемъ, но вполнѣ исчерпать его мы не можемъ, такъ какъ часть всегда меньше цѣлаго, и никакой умъ

не можетъ подняться на высоту, на которой человѣчество лежало бы ниже его.

Одно изъ самыхъ таинственныхъ и глубокихъ явленій есть Революція. Съ нея Тэнъ весьма правильно началъ свое изслѣдованіе, чтобы понять современное положеніе Франціи; но съ нея вообще начинается новый періодъ исторіи всей Европы, періодъ, въ которомъ мы теперь живемъ. Нашъ вѣкъ есть время блестящаго и быстраго развитія; и въ этомъ развитіи, на всѣхъ формахъ европейской жизни можно замѣтить вліяніе Революціи, или прямое, или отраженное въ силу примиренія съ противодѣйствіемъ иныхъ, старыхъ началъ. Понятно, что такое событіе должно было стать предметомъ великаго вниманія. Было время (преимущественно между 1830 и 1848 гг.), когда революція для всѣхъ передовыхъ умовъ Европы была предметомъ восторженнаго поклоненія, какъ нѣкоторая героическая эпоха, пробившая своими подвигами новые пути для человѣчества. Потомъ, однакоже, понемногу наступило разочарованіе, преимущественно потому, что въ самой Франціи событія не стали оправдывать прежнихъ надеждъ. Во время второй имперіи чуткіе умы уже понимали, что страна сошла съ прямого пути; Ренанъ выразилъ свою потерю вѣры въ принципы революціи еще въ 1859 году, а въ 1868 году уже прямо сказалъ, что революція, при всѣхъ своихъ качествахъ, есть *опытъ неудавшійся*. Германское нашествіе, конечно, могло только подтверждать этотъ приговоръ, и очень понятно, что потомъ, до самой смерти, Ренанъ, когда шла рѣчь о горячо имъ любимой Франціи, всегда говорилъ: pauvre France, notre pauvre France.

Изъ этого можно, кажется, заключить, что революція еще слишкомъ къ намъ близка, что мы живемъ еще среди прямыхъ послѣдствій и того хорошаго и того дурнаго, что̀ она произвела, а потому и превозносимъ, и порицаемъ ее пристрастно, безъ настоящей мѣры. Во всякомъ случаѣ, конечно, нужно сказать, что люди обманулись. Надежды и порыванія прошлаго столѣтія были очень свѣтлы и радостны; а когда они исполнились, когда въ значительной мѣрѣ достигнуто было то, что̀ считалось благополучіемъ, это благополучіе оказалось мало насъ удовлетворяющимъ, и мы иногда презрительно смотримъ на то, что̀ въ сущности есть несомнѣнное и большее добро.

Что̀ же сдѣлалъ Тэнъ въ своей исторіи? Онъ выступилъ самымъ жестокимъ противникомъ революціи. Но не по принципамъ,—у него нѣтъ никакихъ принциповъ, и онъ только еще ихъ ищетъ. Онъ приложилъ къ исторіи свой анализъ, свою эмпирическую психологію, и эта исторія оказалась картиною ужасающихъ безумій и злодѣйствъ. Главное вниманіе онъ обратилъ не на внѣшнія событія и не на оффиціальныя рѣчи и парады, а на внутреннее состояніе Франціи и на свойства дѣйствующихъ лицъ. Для этого онъ сдѣлалъ обширныя и трудныя изысканія, долго рылся въ архивахъ и подобралъ длинные ряды поясняющихъ дѣло фактовъ. И въ первый разъ открылось намъ вполнѣ зрѣлище тѣхъ неслыханныхъ бѣдствій, безумій и злодѣяній, которыя перенесла Франція во время революціи. Это время поравнялось для насъ своимъ ужасомъ со всѣмъ, что̀ есть наиболѣе ужаснаго въ исторіи. Но

странно: чѣмъ мрачнѣе выходитъ картина подъ перомъ Тэна, тѣмъ она становится для насъ непонятнѣе. Онъ превосходно показываетъ намъ, какъ при этихъ потрясеніяхъ открывался просторъ для всякихъ вожделѣній и неистовствъ, скрывающихся въ человѣческихъ душахъ, какъ эти души теряли мѣру въ своихъ жестокостяхъ и безумствахъ, какъ при этомъ люди честные и добрые неизбѣжно проигрывали въ борьбѣ съ безчестными и злыми; но онъ не можетъ намъ объяснить, какъ же, при полномъ дѣйствіи всѣхъ причинъ разложенія, не разрушилось это общество, какія силы не дали ему распасться и даже, напротивъ, скрѣпили его и вдохнули въ него необыкновенную дѣятельность. Описывая отдѣльныя лица, Тэнъ рисуетъ намъ почти помѣшанныхъ, вовсе не чувствующихъ шаткости своего положенія, дѣйствующихъ вопреки всякимъ разумнымъ соображеніямъ, говорящихъ нелѣпости и самихъ на себя накликающихъ гибель. Невольно мы начинаемъ понимать при этомъ, что тутъ люди были ничтожны передъ идеями, которыя ими управляли, что они, какъ ни старались иные, не доростали до того, чтобы стать представителями этихъ идей, а были только ихъ орудіями, или только злоупотребляли ими. Между тѣмъ, объ идеяхъ, составляющихъ всю разгадку этой исторіи, какъ и всякой другой, Тэнъ не говоритъ ничего яснаго и не изслѣдуетъ ихъ развитія и дѣйствія. Очевидно, что еслибы, напримѣръ, положительныя идеи власти, государства, преданности отечеству не имѣли тогда во Франціи удивительной крѣпости, еслибы не дѣйствовали съ огромной силой другія, отрицательныя идеи,—равенства, свободы, мести и пр.,

то весь ходъ революціи не имѣлъ бы никакого удовлетворительнаго объясненія.

Такимъ образомъ, книга Тэна, обильная новыми фактами, ярко освѣщающая многія новыя стороны предмета, чрезвычайно любопытная и поучительная, однакоже, можно сказать, лишена высшей поучительности, не посвящаетъ насъ въ глубину предмета. Если цѣль Тэна состояла, какъ онъ самъ говоритъ, въ томъ, чтобы отыскивать принципы, то приходится сказать, что, посредствомъ своихъ аналитическихъ пріемовъ, онъ не достигъ высшихъ принциповъ, не поднялся до верховныхъ силъ, заправляющихъ исторіею.

Но онъ, конечно, многое нашелъ, съ большой яркостью выставилъ нѣкоторыя изъ менѣе высокихъ началъ. Итогъ его открытій этого рода сводится, кажется, къ понятіямъ о *либеральномъ государствѣ*. Въ цѣломъ томѣ, которому имъ дано остроумное названіе *Якобинскаго завоеванія*, онъ превосходно показываетъ, какъ правительственною властью неизбѣжно завладѣваетъ небольшой слой людей, относительно котораго и нужно какое-нибудь огражденіе остальнымъ гражданамъ. Съ особенною ясностью Тэнъ отвергаетъ ложное понятіе революціонеровъ о правахъ государства, понимаемыхъ ими на манеръ древнихъ, грековъ и римлянъ. Со временъ древности, по словамъ Тэна, „измѣнилась самая глубина душъ"; въ людяхъ развились чувства, которыя совершенно непримиримы съ порядкомъ античныхъ обществъ. Эти чувства указываются двумя многосодержательными словами: *совѣсть* и *честь*. Тэнъ написалъ объ нихъ превосходныя страницы. Развитіе *совѣсти* онъ

относитъ къ религіи и излагаетъ его слѣдующимъ образомъ:

„Одинъ въ присутствіи Бога, христіанинъ почувствовалъ, что въ немъ какъ воскъ растаяли всѣ узы, соединявшія его жизнь съ жизнью его группы; потому-что онъ стоитъ лицомъ къ лицу съ судіею, и этотъ непогрѣшимый судія видитъ души такими, каковы онѣ есть, не смутно и въ кучѣ, а раздѣльно, каждую особо. Передъ его трибуналомъ, ни одна душа не порука за другую, каждая отвѣчаетъ только за себя, ей вмѣняются лишь одни ея дѣла. Но эти дѣла имѣютъ безконечное значеніе; ибо сама она, искупленная кровью Божіей, имѣетъ безконечную цѣнность; поэтому, смотря но тому, воспользовалась ли она или нѣтъ божественною жертвою, ея награда или ея казнь будетъ безконечна: на послѣднемъ судѣ передъ нею откроется вѣчность мученія или блаженства. Передъ этимъ превышающимъ всякую мѣру интересомъ исчезаютъ всякіе другіе интересы; впередъ главнымъ ея дѣломъ будетъ забота оказаться праведною не передъ людьми, а передъ Богомъ, и каждый день въ ней вновь начинается трагическій разговоръ, въ которомъ судія спрашиваетъ, а грѣшникъ отвѣчаетъ. Вслѣдствіе этого діалога, продолжавшагося восемнадцать вѣковъ и продолжающагося и теперь, совѣсть изострилась, и человѣкъ постигъ безусловную справедливость. Исходитъ ли она отъ нѣкотораго всемогущаго владыки, или же держится сама собою, на подобіе математическихъ истинъ, это ничуть не умаляетъ ея святости, а потому и ея авторитета. Она повелѣваетъ верховнымъ тономъ, и то, что̀ она повелѣ-

ваетъ, должно быть исполнено во что бы то ни стало: есть строгія заповѣди, которымъ долженъ безусловно повиноваться каждый человѣкъ. Отъ нихъ не освобождаетъ никакое обязательство; если человѣкъ нарушаетъ ихъ потому, что принялъ противоположныя обязательства, онъ все-таки виноватъ, а сверхъ того, виноватъ, что обязался. Обязаться дѣлать преступное есть уже преступленіе. Поэтому вина его является ему какъ бы двойною, и внутреннее жало жалитъ его два раза вмѣсто одного. Вотъ почему, чѣмъ чувствительнѣе совѣсть, тѣмъ сильнѣе въ ней нежеланіе отказываться отъ себя; заранѣе она отвергаетъ всякій договоръ, который могъ бы повести ее къ совершенію зла, и не признаетъ за людьми права налагать на нее угрызеніе" *).

Развитіе чувства чести Тэнъ приписываетъ *феодализму*, что̀, конечно, совершенно справедливо, хотя объясненіе этого развитія, сдѣланное Тэномъ, намъ кажется неполнымъ.

Во всякомъ случаѣ, современное государство не только не признаетъ за собою права на честь и совѣсть людей, но должно считать своею обязанностію принимать всѣ мѣры противъ ихъ стѣсненія и нарушенія.

Изъ нашихъ замѣтокъ, можетъ быть, читатель хотя отчасти увидитъ, до какой степени любопытны и содержательны сочиненія Тэна. Они привлекаютъ вниманіе и будятъ мысль, о чемъ бы онъ ни писалъ. Если мы остановились на недостаточности его теоретическихъ

*) Les origines etc. La révolution, T. III, стр. 126.

началъ, то потому лишь, что намъ всегда въ этой области слѣдуетъ задаваться самыми высокими требованіями. На умственномъ мірѣ Франціи, какъ мы видимъ, отразилось вліяніе лучшей поры германскаго мышленія. Французскіе писатели послѣдняго времени, Ренанъ, Тэнъ, Вашро, Шереръ, Аміель и пр., прямо заявляютъ, что ихъ высшій авторитетъ и руководитель — Гегель, или вообще нѣмецкій идеализмъ. Зачѣмъ же намъ, русскимъ, „жить этою тѣнью", какъ выразился однажды Ренанъ, быть отраженіемъ этого отраженія? Намъ слѣдуетъ обратиться прямо къ источнику этой мудрости и постараться на основаніи ея началъ разсматривать блестящія попытки ея новыхъ учениковъ.

16-го марта 1893 г.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Замѣтка о переводѣ одной изъ книгъ Тэна.

1871.

Развитіе политической и гражданской свободы въ Англіи въ связи съ развитіемъ литературы. Г. О. Тэнъ. (Histoire de la litterature anglaise). Переводъ подъ редакціей А. Рябинина и М. Головина. Спб. 1871 г.

Какія странности иногда дѣлаются у насъ въ литературѣ! Книга эта есть знаменитая „Исторія Англійской литературы"; но переводчики дали ей свое заглавіе, до такой степени не похожее на настоящее, что никто бы и не узналъ ее по одному заглавію. Поэтому, для ясности настоящее заглавіе тоже напечатано на оберткѣ, но только безъ перевода, по французски. Вотъ, подумаешь, какъ нынче стало сложно и трудно самое простое дѣло!

„Исторія литературы"—это неясно, неопредѣленно, незанимательно! Кому какое дѣло до литературы! къ чорту литературу! Переводчики объясняютъ въ своемъ

предисловіи, почему они рѣшились перемѣнить заглавіе. „Мы считали гораздо умѣстнѣе“, говорятъ они, „выпустить сочиненіе Тэна въ свѣтъ *) подъ заглавіемъ *Развитіе политической и гражданской жизни въ Англіи въ связи съ развитіемъ литературы*, такъ какъ заглавіе это ближе исчерпываетъ предметъ изслѣдованія, чѣмъ то, подъ которымъ оно явилось у автора“ (стр. VI). Замѣтьте: „развитіе *жизни*“—вотъ это предметъ несравненно болѣе интересный. Жизнь—это не то, что литература; литература—болтовня, а жизнь—самое дѣло. Казалось бы такъ—хорошо; на первое мѣсто поставлена не литература, а жизнь. Но и этого показалось мало переводчикамъ. Къ чему служитъ наша жизнь? Что въ ней толку? И вотъ, на заглавномъ листкѣ они вмѣсто слова *жизнь* поставили слово *свобода*, на этотъ разъ уже безъ всякихъ объясненій; такимъ-то образомъ изъ „исторіи литературы“ вышло „развитіе свободы“.

Подумайте при этомъ, какой литературѣ оказано столь явное пренебреженіе! Вѣдь это не русская литература, а англійская! Вѣдь это литература Шекспира, Мильтона, Свифта, Байрона и пр. и пр. И эту-то литературу *стыдно* назвать на заглавномъ листкѣ, какъ главный предметъ сочиненія!

Къ сожалѣнію, дѣло не ограничилось однимъ заглавіемъ; страстные поклонники „жизни и свободы“ оказались весьма дурными переводчиками, и даже вовсе не потому, что они пренебрегаютъ литературою. Какъ видно, они прилежно трудились надъ переводомъ; но, по

*) Это значитъ въ магазины Базунова, Черкесова, Звонарева и пр.

настроенію своихъ мыслей, по складу своего языка и воображенія, они не способны точно передать сочиненіе, за которое взялись. Тэнъ—превосходный писатель, мастерски владѣющій языкомъ; наши же переводчики не умѣютъ ничего сказать просто и ясно. На первой же страницѣ можно найти образчики странной напыщенности и ходульности, къ которой они расположены.

„Нашли, открыли" (on a découvert), говоритъ Тэнъ. „Люди наконецъ пришли *къ убѣжденію*", говорятъ переводчики.

„Можно найти, какъ люди чувствовали и думали сотни лѣтъ назадъ" говоритъ Тэнъ. „Можно воскресить мысленное и чувственное міровоззрѣніе, какимъ руководились люди, жившіе нѣсколько столѣтій тому назадъ", переводятъ гг. Рябининъ и Головинъ.

Очевидно переводчикамъ все мерещатся *убѣжденія, міровоззрѣнія;* у нихъ люди не просто чувствуютъ и мыслятъ, какъ у Тэна, а непремѣнно *руководятся* мысленными и чувственными *міровоззрѣніями*. Какой противный, изысканный, реторическій языкъ!

„Попробовали и удалось" (On l'a essayé et on a reussi), пишетъ Тэнъ. „Новый методъ приложили къ дѣлу и въ результатѣ получили блестящій успѣхъ", переводятъ наши любители свободы. Куда какъ хорошо! Есть и *методъ* и *результатъ*; не достаетъ развѣ еще *индукціи*.

„Величайшія событія" (les plus grands événements), пишетъ Тэнъ; но по русски такъ просто нельзя, по русски лучше сказать „самыя *капитальныя* событія".

Всѣ эти прелести находятся только на одной первой страницѣ, на которой всего пятнадцать строкъ.

Судите послѣ этого о томъ, какія *капитальныя* прелести могутъ быть открыты въ двухъ толстыхъ томахъ! Питая всяческое уваженіе къ либеральнымъ *убѣжденіямъ*, которыми *руководятся* переводчики, мы видимъ, что ихъ *чувственное и умственное міровоззрѣніе* препятствуетъ имъ держаться правильнаго *метода*, чтобы достигнуть желательнаго *результата*, т. е. хорошаго перевода.

Раскрывши случайно страницу 209 перваго тома, мы нашли у гг. Рябинина и Головина слѣдующее любопытное мѣсто:

„Поэтическіе порывы мозга разстроиваютъ желудокъ, производятъ воспаленіе, поражаютъ спинной хребетъ, потрясаютъ человѣка какъ гроза; а человѣческая оболочка, выработанная новѣйшей цивилизаціей, не на столько прочна, чтобы выдерживать ихъ долго".

Въ точномъ переводѣ это значитъ:

„Бурныя напряженія мозга точатъ внутренности, изсушаютъ кровь, снѣдаютъ мозгъ въ костяхъ, потрясаютъ человѣка какъ гроза; и тѣлесный составъ нашъ, въ томъ состояніи, въ которое его привела цивилизація, уже не достаточно крѣпокъ, чтобы долго выдерживать все это".

Тутъ интересно то, что выраженія совершенно фигурныя, метафорическія: *точатъ внутренности*, *изсушаютъ кровь*, *снѣдаютъ мозгъ въ костяхъ*, приняты переводчиками въ прямомъ смыслѣ, какъ будто Тэнъ вдругъ заговорилъ медицинскимъ языкомъ и сталъ называть опредѣленныя болѣзни, происходящія отъ упражненій въ поэзіи. Поэтому, вмѣсто *точатъ внутренности* пере-

настроенію своихъ мыслей, по складу своего языка и воображенія, они не способны точно передать сочиненіе, за которое взялись. Тэнъ—превосходный писатель, мастерски владѣющій языкомъ; наши же переводчики не умѣютъ ничего сказать просто и ясно. На первой же страницѣ можно найти образчики странной напыщенности и ходульности, къ которой они расположены.

„Нашли, открыли“ (on a découvert), говоритъ Тэнъ. „Люди наконецъ пришли *къ убѣжденію*“, говорятъ переводчики.

„Можно найти, какъ люди чувствовали и думали сотни лѣтъ назадъ“ говоритъ Тэнъ. „Можно воскресить мысленное и чувственное міровоззрѣніе, какимъ руководились люди, жившіе нѣсколько столѣтій тому назадъ“, переводятъ гг. Рябининъ и Головинъ.

Очевидно переводчикамъ все мерещатся *убѣжденія*, *міровоззрѣнія;* у нихъ люди не просто чувствуютъ и мыслятъ, какъ у Тэна, а непремѣнно *руководятся* мысленными и чувственными *міровоззрѣніями*. Какой противный, изысканный, реторическій языкъ!

„Попробовали и удалось“ (On l'a essayé et on a reussi), пишетъ Тэнъ. „Новый методъ приложили къ дѣлу и въ результатѣ получили блестящій успѣхъ“, переводятъ наши любители свободы. Куда какъ хорошо! Есть и *методъ* и *результатъ*; не достаетъ развѣ еще *индукціи*.

„Величайшія событія“ (les plus grands événements), пишетъ Тэнъ; но по русски такъ просто нельзя, по русски лучше сказать „самыя *капитальныя* событія“.

Всѣ эти прелести находятся только на одной первой страницѣ, на которой всего пятнадцать строкъ.

лагаютъ намъ Шекспира въ томъ видѣ, какъ его поняли гг. Вейнбергъ, Грековъ, Сатинъ?

Очень жалѣемъ, что такъ испорчена превосходная книга, не только написанная по глубокимъ и вѣрнымъ идеямъ, но и отлично обработанная въ отношеніи къ своему матеріалу, къ произведеніямъ англійской литературы. Явись она по русски въ настоящемъ своемъ видѣ, она могла бы служить не только для пріобрѣтенія общихъ понятій объ исторіи этой литературы, но и для нѣкотораго знакомства съ языкомъ и подлиннымъ текстомъ знаменитыхъ англійскихъ писателей.

VI.

НОВАЯ ВЫХОДКА ПРОТИВЪ КНИГИ Н. Я. ДАНИЛЕВСКАГО.

1890.

Не по хорошу милъ,
а по милу хорошъ.

Совершенно неожданно г. Вл. Соловьевъ опять сдѣлалъ ярое нападеніе на книгу Н. Я. Данилевскаго „Россія и Европа*). По существу, это нападеніе таково, что его слѣдовало бы пройти молчаніемъ; но читатель дальше увидитъ, почему мнѣ казалось нужнымъ высказать по этому поводу нѣкоторыя замѣчанія.

I.

Вся бѣда вышла оттого, что въ новомъ изданіи втораго тома *Борьба съ Западомъ* я перепечаталъ свои

*) *Русск. Мысль*, августъ, статья *Мнимая борьба съ Западомъ. Стр.* 1—20.

статьи, писанныя противъ прежнихъ нападеній г. Соловьева. Онъ этимъ не совсѣмъ доволенъ. Онъ замѣчаетъ, во-первыхъ, что я совершенно напрасно „возобновляю", какъ онъ выразился, свою *Борьбу*; по его мнѣнію, теперь у насъ „Западъ потерпѣлъ очевидное пораженіе, а начала восточныя, именно китайскія, достигли полнаго торжества" (стр. 1), слѣдовательно и мнѣ, какъ поборнику этихъ началъ, уже нѣтъ никакой надобности выступать снова на поле битвы. Покорно благодарю и за совѣтъ, и за извѣстіе! Потомъ, онъ выражаетъ неудовольствіе на то, что, хотя я самъ извиняюсь передъ читателями въ рѣзкости своихъ статей, однако, статьи эти перепечатаны безъ перемѣнъ; онъ думаетъ, что извиненія еще мало, а что нужно бы сдѣлать въ статьяхъ „поправки, выпуски и оговорки" (стр. 15). Одну поправку онъ прямо указываетъ, какъ настоятельно надобную. Дѣло состоитъ въ слѣдующемъ. На стр. 221 моей книги онъ нашелъ фразу *), на которую когда-то жаловался, говоря, чго я передаю его слова въ нелѣпомъ видѣ. Я тогда же объяснилъ печатно, что я и въ мысли не имѣлъ приписать ему что-нибудь смѣшное, что эта фраза сказана у меня въ безобидномъ смыслѣ; все это объясненіе и перепечатано на стр. 299 моей книги. И что же? Онъ и теперь продолжаетъ обижаться, онъ даже говоритъ, что будто бы я на стр. 221 „повторилъ безъ всякой оговорки *фактическую ошибку* (онъ под-

*) Вотъ она: «Г. Соловьевъ отвѣчалъ, что онъ не разъ заявлялъ о своей любви къ Россіи».

черкнулъ), и что, хотя на стр. 299 стоитъ „признаніе въ этой ошибкѣ", но что читатель до этой страницы можетъ вѣдь и не дойти. Тогда выйдетъ ужасная бѣда, которую я, очевидно, нарочно не предупредилъ. И значитъ, я только лицемѣрно каюсь въ недостаткахъ своей полемики, а на самомъ дѣлѣ „очень доволенъ собою" (стр. 15).

Вотъ какъ онъ чувствителенъ и взыскателенъ, когда дѣло до него касается! Да и вообще, онъ не хочетъ упускать ничего, что̀ можно ему поворотить въ свою пользу. Съ большимъ торжествомъ онъ хватается за каждую мою оговорку, за каждое извиненіе; онъ всячески настаиваетъ, чтобы читатели смотрѣли только на одну сторону дѣла и никакъ не поддавались чувству снисхожденія. Но замѣчу, что онъ очень дурно понялъ, въ чемъ состоятъ мои печатные грѣхи, и совершенно неправильно истолковалъ мое покаяніе. Если я иногда считаю себя виноватымъ, то это прежде всего значитъ, что я не признаю себя безупречнымъ передъ высокимъ и строгимъ судомъ читателей, который мнѣ часто воображается, и еще не значитъ, что я провинился передъ г. Соловьевымъ, моимъ противникомъ. Въ этомъ отношеніи я былъ совершенно спокоенъ, перепечатывая свои статьи; мнѣ приходили въ голову не „поправки, выпуски и оговорки", которыхъ ему желается, а скорѣе *прибавки*, и являлось желаніе другаго тона, именно болѣе сильнаго; но для этого нужно было бы смягчить рѣзкость, потому что рѣзкость, какъ бы она ни была точна и справедлива, слабѣе, чѣмъ спокойное и холодное порицаніе. Нужно было бы написать такъ, чтобы самъ против-

никъ почувствовалъ неизвинительность своихъ нападеній *).

Но не будемъ привязываться. Конечно, для г. Соловьева дѣло не въ однихъ личныхъ счетахъ со мною; конечно, главный его предметъ есть книга Н. Я. Данилевскаго. Нужно полагать, что, перечитавши мои статьи, онъ остался недоволенъ положеніемъ спора, веденнаго имъ противъ этой книги, почему и рѣшилъ повторить нападеніе. Если такъ, то причина—самая законная, и мнѣ пріятно видѣть, что новое изданіе *Борьбы* произвело такое впечатлѣніе на противника. Въ своей статьѣ отчасти онъ отстаиваетъ старые свои аргументы, но главнымъ образомъ подбираетъ новые.

Прежде всего, онъ старается вообще подорвать авторитетъ Н. Я. Данилевскаго. Для этого онъ вспоминаетъ, что авторъ *Россіи и Европы* въ юности былъ увлеченъ фурьеризмомъ и лишь потомъ „перешелъ отъ фурьеризма къ славянофильству" (стр. 3). Замѣчаніе, конечно, не относящееся къ спорной книгѣ, но почему-то показавшееся ея противнику надобнымъ. Потомъ г. Соловьевъ весьма рѣшительно утверждаетъ, что Данилевскій „не былъ историкомъ", что даже онъ „имѣлъ въ этой области лишь отрывочныя и крайне скудныя свѣдѣнія", да притомъ не обладалъ „способностію къ умозрѣнію вообще и къ философскому обобщенію исто-

*) Между прочимъ, онъ спрашиваетъ: «Къ кому и къ чему относится указаніе на пятую заповѣдь»? (стр. 4). Ахъ, Боже мой, какая непонятливость! Конечно, прежде и больше всего я отношу заповѣдь *къ себѣ самому*, а потомъ предлагаю ее другимъ, не одному г. Соловьеву.

рическихъ фактовъ въ особенности" (стр. 3). Далѣе, о самой книгѣ *Россія и Европа* говорится, что, когда она явилась, то „всѣ компетентные люди" признали ее „за литературный курьезъ", что г. Соловьеву приходилось говорить о ней „съ нашими историками", и что „всѣ историки", съ которыми онъ говорилъ, „не считали ее требующею особаго обсужденія" (стр. 4). Наконецъ, все это завершается замѣчаніемъ, что оставшіеся въ живыхъ изъ „кружка старыхъ славянофиловъ"—„повидимому, не признали автора этой книги за своего человѣка и какъ бы игнорировали его произведенія" (стр. 3).

Вотъ на какіе аргументы напираетъ нынѣ г. Соловьевъ. Было бы смѣшно, если бы мы вздумали защищать умъ и познанія Н. Я. Данилевскаго противъ этихъ голословныхъ выходокъ, цѣль которыхъ такъ ясна. Но г. Соловьевъ дѣлаетъ здѣсь нѣкоторыя фактическія показанія, онъ говоритъ о первоначальныхъ судьбахъ книги „Россія и Европа", и тутъ его надобно обличить. Книга эта съ перваго же появленія составила автору высокое имя, но только не среди большой публики, а у людей самостоятельныхъ умомъ и горячо преданныхъ дѣлу. Припоминаю одного „историка", очень умнаго и ученаго. Бывало, когда у него собирались гости и приходилось знакомить съ ними пріѣхавшаго изъ провинціи автора *Россіи и Европы*, историкъ обыкновенно прибавлялъ къ его имени: „умнѣйшій человѣкъ въ Россіи". Теперь это, конечно, виднѣе, но люди проницательные и тогда понимали значеніе Н. Я. Данилевскаго. Что касается до „старыхъ славянофиловъ", то сперва замѣчу, что они всегда старались быть свободными и

широкими въ своихъ сочувствіяхъ. Это были люди истинно либеральные, въ самомъ превосходномъ значеніи этого слова. Они не замыкались въ партію и никогда не занимались счетомъ *своихъ* и *чужихъ*. Какой же смыслъ имѣетъ указаніе на то, что „старые славянофилы" *не объявили* Данилевскаго *своимъ* человѣкомъ? Тутъ я вижу только невольное признаніе великаго авторитета, заслуженнаго этими славянофилами. Вѣдь ужь какъ усердно ихъ бранили, какъ усердно доказывали, что они люди неосновательные и вредные; и г. Соловьевъ тоже постарался въ этомъ дѣлѣ. А когда захотѣлось унизить книгу противника, то недурно показалось намекнуть, что вотъ-де и старые славянофилы чуждались этой книги.

Но это несправедливо. Всѣ и всякіе славянофилы, разумѣется, трудящіеся умомъ, читающіе и мыслящіе, признали „Россію и Европу" *своею* книгою, одни вполнѣ и съ большимъ восторгомъ, другіе въ большей или меньшей степени. Развѣ не такъ этому и слѣдуетъ быть? Когда мнѣ случилось, вскорѣ послѣ выхода книги, видѣться съ И. С. Аксаковымъ, онъ мнѣ сказалъ: „я теперь съ величайшимъ наслажденіемъ читаю книгу Николая Яковлевича; какая радость найти свои давнишнія убѣжденія, но взятыя съ новой точки зрѣнія и блистательно развитыя и доказанныя!" И до конца жизни Данилевскаго И. С. Аксаковъ былъ съ нимъ въ дружественныхъ отношеніяхъ, велъ переписку и навѣстилъ его въ его уединенной Мшаткѣ.

Послѣ смерти Н. Я. Данилевскаго, И. С. Аксаковъ помянулъ его словами, которыя дышатъ глубокою лю-

бовью и чисто аксаковскою искренностію. Онъ превознесъ необычайный умъ и необычайное сердце покойнаго; онъ говорилъ, между прочимъ, что „это былъ сильный, смѣлый умъ, независимый и самостоятельный, и притомъ какой-то особенный, *честный* умъ, чуждый всякаго лукавства мысли, строго провѣрявшій трудолюбивымъ изысканіемъ и анализомъ всякое понятіе имъ усвояемое", что „беззавѣтная любовь къ родинѣ была въ немъ осмыслена, оправдана въ сознаніи, укрѣплена наукою и долгою работою ума", что въ книгѣ *Россія и Европа* „онъ совершенно самобытнымъ путемъ пришелъ къ тождественному ученію съ Хомяковымъ, К. С. Аксаковымъ и вообще съ такъ называемымъ славянофильствомъ". (*Русь*. 1885 г. 16-го ноября). Не ясно-ли изъ этихъ словъ, что „трудолюбивое изысканіе", „долгая работа" и „строгая провѣрка" Н. Я. Данилевскаго признаны великою заслугою именно въ области славянофильства? Аксаковъ оканчиваетъ грустнымъ замѣчаніемъ: „Падаютъ старые борцы, и никто не является имъ на смѣну!" Тутъ *борцы*, конечно, означаетъ—подвижники той самой идеи, которой была посвящена вся жизнь Аксакова.

Но самый важный успѣхъ „Россія и Европа" имѣла не въ отечествѣ, а въ славянскихъ земляхъ; тамъ усердно читали теорію „славянскаго культурнаго типа", ссылались на нее въ политическихъ статьяхъ и прозвали ея автора „апостоломъ славянства". У насъ дома, какъ я уже писалъ, книга стала больше расходиться во время войнъ противъ Турціи, сербской и русской; въ нѣкоторыхъ образованныхъ людяхъ, очевидно, пробудилось

тогда желаніе узнать что нибудь о славянскомъ мірѣ и его политическихъ отношеніяхъ. Всѣ эти успѣхи были еще при жизни Данилевскаго, и онъ имъ радовался; „кажется, для меня наступаетъ потомство", говорилъ онъ. Правда, все это происходило помимо нашей текущей литературы и нашей текущей учености, но этимъ обстоятельствомъ еще болѣе доказывается и сила и достоинство успѣха. Къ 1888 году, когда было сдѣлано первое посмертное изданіе книги, слава ея уже давно стояла твердо и высоко, и новое изданіе было быстро расхватано.

Послѣ этого, что̀ же такое пишетъ г. Соловьевъ? Я разсказалъ исторію „Россіи и Европы" въ общихъ чертахъ, но ее слѣдуетъ со временемъ изложить подробнѣе, снабдить ссылками и точными указаніями на имена и всякіе источники. Можетъ быть будутъ со временемъ изданы и письма самого Данилевскаго, И. С. Аксакова и другихъ. Все это необходимо сдѣлать, а не то явятся у насъ бойкіе „историки" въ родѣ г. Соловьева и преспокойно напишутъ, что книга Н. Я. Данилевскаго получила вѣсъ только по смерти автора, когда у насъ взяли верхъ „китайскія начала", а до тѣхъ поръ, пятнадцать или двадцать лѣтъ, считалась не болѣе какъ „литературнымъ курьезомъ".

Зачѣмъ онъ это пишетъ? Зачѣмъ онъ безъ зазрѣнія утверждаетъ то, чего вовсе не знаетъ, а скорѣе знать не хочетъ? Нѣтъ, я вижу, что онъ совершенно понапрасну разговаривалъ съ „историками"! Да не разговаривалъ-ли онъ еще съ кѣмъ-нибудь другимъ? Историки научили бы его, что факты нужно излагать не по

собственному измышленію и желанію, а нужно точно справиться, какъ было дѣло.

Вотъ и дальше, показанія его оказываются невѣрными. Хотя теорія культурныхъ типовъ, по его мнѣнію, есть не болѣе, какъ литературный курьезъ, но онъ утверждаетъ при томъ, что и курьезъ этотъ выдуманъ не самимъ Данилевскимъ, а заимствованъ отъ Рюккерта. Подобными указаніями на заимствованіе и подражаніе г. Соловьевъ вообще занимается усердно. Нужно полагать, что онъ самъ въ нихъ вѣритъ, а не употребляетъ ихъ какъ легкое средство привести въ затрудненіе противника и подѣйствовать на малосвѣдущихъ читателей. И вотъ онъ пишетъ, что Данилевскій „воспользовался идеей культурно-историческихъ типовъ, высказанной Генрихомъ Рюккертомъ", что „Рюккертъ, какъ историкъ, зналъ, что построить на принципѣ племенныхъ и національныхъ культуръ цѣлую философію исторіи — дѣло совершенно невозможное", а Данилевскій не зналъ этого и потому построилъ (стр. 3). Нѣсколько далѣе г. Соловьевъ даже называетъ теорію *Россіи и Европы* „теоріею *Рюккертъ-Данилевскаго*" (стр. 4).

Откуда такія удивительныя новости? Мнѣ очень хорошо извѣстно, что Данилевскій не читалъ книги Рюккерта, едва-ли даже зналъ о ея существованіи и, значитъ, никакъ не могъ „воспользоваться" ея мыслями. Эта отличная книга, совершенно неправильно названная учебникомъ (Lehrbuch), вовсе не въ ходу и очень мало извѣстна. Для меня почти нѣтъ сомнѣнія, что и г. Соловьевъ ея не читалъ. Если бы онъ ее читалъ, онъ не говорилъ бы, что Рюккертъ „высказалъ идею куль-

турно-историческихъ типовъ"; Рюккертъ не то высказалъ и вовсе не употребляетъ ни слова *культурно-историческій*, ни слова *типъ*, терминовъ Данилевскаго. Г. Соловьевъ, по всему видно, знаетъ объ Рюккертѣ не больше того, что̀ стоитъ у меня въ маленькомъ примѣчаніи *Предисловія* къ „Россіи и Европѣ" (стр. XXVII). Но только я написалъ коротко и неясно, что у Рюккерта есть *зачатки* мысли о типахъ; я разумѣлъ подъ этимъ, что у него сопоставлены нѣкоторые факты и сдѣланы нѣкоторыя соображенія, *изъ которыхъ* могла бы выясниться идея типовъ. А. г. Соловьевъ говоритъ уже положительно, что у Рюккерта идея эта высказана, но что Рюккертъ понималъ то и то, а Данилевскій ничего не понималъ, и пр. Такимъ-то образомъ, не Данилевскій воспользовался Рюккертомъ, а кажется г. Соловьевъ „воспользовался" нѣсколькими строчками моего примѣчанія. Куда какъ хорошо!

Прошу извиненія у читателей за эти мелочи. Мнѣ хотѣлось имѣть поводъ замѣтить, что всякому исповѣднику новой мысли должно быть пріятно, когда ему указываютъ на зачатки этой мысли, являвшіеся раньше, когда обнаруживается, что эта мысль давно напрашивалась, давно готова была сложиться у тѣхъ, кто глубоко и проницательно изучалъ предметъ. Тѣмъ больше заслуга, если уже все созрѣло, всѣ элементы были готовы, а между тѣмъ никто не умѣлъ и не могъ высказать общей теоріи, въ которую слагаются эти элементы. Главная заслуга Н. Я. Данилевскаго состоитъ въ томъ, что онъ отвергъ предразсудокъ космополитизма въ исторіи. Этотъ предразсудокъ былъ такъ силенъ, что не

давалъ самымъ свѣтлымъ умамъ ясно видѣть предметъ; между тѣмъ, вся историческая наука (какъ и сама исторія) нынѣшняго столѣтія проникнута началомъ національности, и если искать предшественниковъ, у которыхъ высказывались по частямъ тѣ или другія соображенія Данилевскаго, то ихъ можно набрать великое множество. Такимъ образомъ, г. Соловьеву, кромѣ моего примѣчанія о Рюккертѣ, открывается обширное поприще трудолюбивыхъ изысканій, особенно если онъ постарается основательно забыть, въ чемъ состоитъ истинная оригинальность и самостоятельность мысли.

II.

Но не пора ли обратиться къ самой книгѣ? Въ началѣ 1888 года г. Соловьевъ напечаталъ о книгѣ „Россія и Европа" статью, въ которой ничего еще не говорилъ ни объ историкахъ, ни о томъ, что Данилевскій былъ когда-то фурьеристомъ, ни объ идеяхъ Генриха Рюккерта, а разбиралъ прямо теорію Н. Я. Данилевскаго и выставлялъ противъ нея возраженія. Я вскорѣ отвѣчалъ ему статьею *Наша культура и всемірное единство*, и статья эта недавно вновь появилась въ *Борьбѣ*. Г. Соловьевъ хочетъ теперь опять возобновить этотъ самый споръ: съ удивительной настойчивостью онъ въ своей новѣйшей статьѣ утверждаетъ, что я будто бы не нашелъ и не высказалъ никакого отвѣта на его возраженія. Онъ пишетъ такъ: „Вмѣсто отвѣта, г. Стра„ховъ написалъ обширную статью *Наша культура* и

„пр..., гдѣ много говоритъ о разныхъ постороннихъ пред-„метахъ, какъ напримѣръ, объ евреяхъ, сидѣвшихъ на „рѣкахъ Вавилонскихъ и плакавшихъ, о несправедли-„вомъ мнѣніи профессора Модестова насчетъ его, г. „Страхова, и т. п., но изъ моихъ *опредѣленныхъ возра-„женій* *) противъ теоріи Рюккертъ-Данилевскаго упомя-„нулъ только о двухъ; изъ нихъ одно (относительно фи-„никіянъ), не оспаривая, призналъ несущественнымъ, „(такимъ оно и было бы, если бы было только одно), „а для кажущагося отвѣта на другое долженъ былъ, „между прочимъ, прибѣгнуть къ неслыханному расчле-„ненію *анатомическихъ группъ на событія*" (курсивъ г. Соловьева) (стр. 4) **).

Долго я не могъ понять, что̀ же это такое? Развѣ таково содержаніе моей статьи? Онъ и прежде дѣлалъ подобныя же заявленія, и также голословно, какъ и теперь; онъ утверждалъ, что я „*умолчалъ* о самыхъ существенныхъ возраженіяхъ" (Вѣстн. Евр., 1889, янв. стр. 358), или, что я „вовсе не упоминаю о главныхъ его возраженіяхъ" (Вѣстн. Евр., 1889, мартъ). Что̀ же это такое? — Шутка? Но она содержитъ вовсе не шуточный смыслъ.—Наглое мороченье читателей? Очень похоже, но я не хотѣлъ этого предполагать и всячески искалъ, не обманулъ-ли мой противникъ какимъ-нибудь изворотомъ самъ себя? Онъ, какъ видите, печатаетъ и

---

*) Мой курсивъ.

**) Это *расчлененіе анатомическихъ группъ на событія* г. Соловьевъ выдвигаетъ противъ меня уже въ третій разъ; доживу-ли я до того, что онъ, наконецъ, обратитъ вниманіе на мой отвѣтъ и заглянетъ въ книгу Данилевскаго?

повторяетъ, что я въ своей статьѣ говорю *о постороннихъ предметахъ*, а не объ его возраженіяхъ; между тѣмъ, этому можетъ повѣрить только тотъ, кто никогда не заглядывалъ въ мою статью. Краткое указаніе на содержаніе этой статьи я даже однажды напечаталъ, желая поставить его на видъ и противнику, и читателямъ. „Въ первой своей статьѣ" говорилъ я, „противникъ теоріи культурно-историческихъ типовъ нападалъ „на нее: 1) съ точки зрѣнія христіанскихъ началъ, 2) „на основаніи ученія о человѣчествѣ, какъ объ единомъ „организмѣ, 3) со стороны общихъ научныхъ требо„ваній, именно пріемовъ естественной системы, 4) на „основаніи хода всемірной исторіи, 5) на основаніи „исторіи наукъ и религій". „Всѣ указанныя возра„женія были мною выставлены, разсмотрѣны и опроверг„нуты" (Р. Вѣстн., 1889, февр.).

Пусть подумаетъ читатель, какъ я долженъ былъ изумляться, когда г. Соловьевъ вдругъ причислилъ эти возраженія къ несущественнымъ, или даже къ „постороннимъ предметамъ"! Развязность, съ которою онъ выражался, навела на меня совершенное недоумѣніе. Но, наконецъ, я нашелъ-таки разгадку! Какъ бы это ни показалось страннымъ, но онъ дѣйствительно, въ точномъ смыслѣ слова, считаетъ эти возраженія не важными, онъ не хочетъ уже стоять ни за то, что теорія противорѣчитъ *христіанскимъ началамъ*, ни за *единый организмъ человѣчества*, ни за то, какъ древній міръ *послѣдовательно объединялся* и т. д. Всѣ эти возраженія онъ считаетъ слишкомъ общими, неопредѣленными; онъ теперь хочетъ держаться только *опредѣленныхъ* (см.

выше его слова), т. е. тѣхъ историческихъ фактовъ, которые будто бы не подходятъ подъ теорію и которыхъ Данилевскій не зналъ по своему невѣжеству. Вотъ на чемъ построена послѣдняя статья г. Соловьева, вотъ почему онъ заговорилъ объ историкахъ и о малыхъ познаніяхъ Данилевскаго. Онъ дѣлаетъ, вообще, слѣдующее разсужденіе „Г. Страховъ допускаетъ, конечно, „что существуютъ, вообще, и такіе люди, которые не „имѣютъ моральнаго права выступать съ историческими „теоріями, именно—люди, незнакомые съ исторіей. Зна„читъ, вопросъ только въ томъ, принадлежитъ ли къ „ихъ числу авторъ *Россіи и Европы*, или нѣтъ? Если при„надлежитъ, то этого фактическаго указанія съ моей „стороны было бы, пожалуй, и достаточно. Если же не „принадлежитъ, то его защитнику слѣдовало бы на мое „«простое» опроверженіе отвѣтить столь же просто, именно „показать, что данныя исторіи и филологіи, на которыя „я ссылаюсь, не противорѣчатъ мыслямъ Данилевскаго“ „(стр. 16).

Вотъ какъ я ошибся! Я думалъ, что главное дѣло въ общихъ, основныхъ началахъ, что если Данилевскаго упрекаютъ въ непоминаніи духа христіанства и хода древней исторіи, или въ несоблюденіи научныхъ правилъ естественной системы, то это очень важно, и нужно его оборонять отъ такихъ тяжкихъ упрековъ; я старался показать, что противникъ самъ безобразно напуталъ въ такихъ и подобныхъ общихъ вопросахъ. А онъ отвѣчаетъ мнѣ: это не важно, важны вонъ тѣ *данныя*, на которыя я ссылаюсь и которыя противорѣчатъ теоріи.

Но, однакоже, что̀ это за *данныя*? Въ кокомъ же, наконецъ, невѣжествѣ уличенъ Данилевскій? Вѣдь если все взвѣсить самымъ тщательнымъ образомъ, то окажется, что ни г. Тимирязевъ, ни г. Соловьевъ, какъ они ни старались, ровно ничѣмъ не доказали „скудныхъ и отрывочныхъ" познаній Данилевскаго. Г. Андр. Фаминцынъ отдалъ даже большую честь этимъ познаніямъ (*Вѣстн. Евр.*, 1889. Февр., стр. 643)*). Единственную находку противниковъ составляетъ неправильное положеніе финикіянъ, на которое указалъ г. Соловьевъ. Зато какъ же пространно, съ какими „трубами и литаврами" возвѣщено было это открытіе! Однакоже, я вѣдь показалъ, что радующійся тутъ самъ не зналъ, чему радуется: онъ думалъ, что отъ перемѣщенія финикіянъ теорія нарушается, а этого-то нарушенія и не выходитъ.

Что̀ же касается до другихъ *данныхъ* г. Соловьева, то это не что иное, какъ рядъ фактовъ, за которыми обыкновенно признается или общечеловѣческое значеніе, или, во всякомъ случаѣ, значеніе не для одного лишь культурнаго типа. Онъ указываетъ въ этомъ смыслѣ — буддизмъ, греческое искусство, аристотелевскую философію, гностицизмъ, неоплатонизмъ, и тому подобное. Увѣренный въ томъ, что такія явленія противорѣчатъ теоріи Данилевскаго, онъ смѣло заключаетъ, что Данилевскій ихъ не зналъ, или не понималъ. Но развѣ есть хоть капля логики въ такомъ заключеніи? О чемъ Данилевскій не говоритъ, того онъ не знаетъ — хорошъ

*) См. также *Борьба съ Западомъ*, кн. 2, изд. 2, стр. 516, 517.

выводъ! Изъ этихъ указаній и разсужденій слѣдуетъ только одно, именно, что г. Соловьевъ нисколько не понимаетъ теоріи культурныхъ типовъ. Отчасти я возражалъ и на эти *данныя*, но если объ иныхъ не говорилъ, то потому, что видѣлъ въ ссылкѣ на нихъ простое недоразумѣніе и надѣялся, что читатели поймутъ его и безъ разъясненій. Какой смыслъ былъ бы въ теоріи Данилевскаго, если бы она не узаконивала *общей сокровищницы*, еслибъ не показывала, что лучшія и высшія явленія каждаго типа становятся достояніемъ другихъ типовъ и по преемству возвышаютъ ихъ жизнь? Но эти явленія всегда составляютъ выраженіе самаго жизненнаго принципа типа; принципъ же этотъ ясно раскрывается и воплощается лишь на вершинѣ развитія, въ минуты разцвѣта и плодоношенія типа. Совсѣмъ не то явленія дѣтства, или дряхлости типа, часто вовсе не имѣющія значенія для другихъ типовъ; не дѣлать этого различія, значитъ все перепутать въ исторіи. Г. Соловьевъ, очевидно, вовсе не умѣетъ видѣть *органическія* формы явленій, не понимаетъ, что своеобразіе не только не противорѣчитъ развитію общихъ началъ, а составляетъ его непремѣнное условіе. Напримѣръ, по вопросу о религіи, вотъ какъ Н. Я. Данилевскій говоритъ объ евреяхъ: „Только религіозная дѣятельность еврейскаго „народа осталась его завѣтомъ потомству. Всѣ остальныя „стороны дѣятельности остались (у евреевъ) въ пренебре„женіи“. „Зато религіозная сторона ихъ жизни и дѣя„тельности была возвышенна и столь совершенна, что „народъ этотъ по справедливости называется народомъ „богоизбраннымъ, такъ какъ среди его выработалось то

„міросозерцаніе, которое подчинило себѣ самыя высокія, „развитыя цивилизаціи, и которому суждено было сдѣ„латься религіею всѣхъ народовъ, единою, вѣчною, не„преходящею ея формою. Это заключеніе нисколько не „измѣняется, будемъ-ли мы держаться того взгляда, что „ученія Ветхаго и Новаго Завѣта суть постепенно вы„работанныя этимъ народомъ формы міровоззрѣнія, или „постепенно сообщавшіяся ему свыше откровенія". (*Рос„сія и Европа*, стр. 518).

Когда читаю подобныя мѣста, и вообще вспоминаю удивительный умъ Данилевскаго, такой многообъемлющій и сильный, и вмѣстѣ такой ясный и точный, не могу удержаться отъ злой досады на возражателей, преспокойно обходящихся съ нимъ за панибрата. Противъ него очень развязно выставляются мысли спутанныя, спотыкающіяся и сбивающіяся съ пути на каждомъ шагу, иногда находящія опору только въ граматическомъ сочетаніи словъ, при помощи котораго онѣ пріобрѣтаютъ кажущійся смыслъ. Повторяю, что Данилевскій былъ умъ истинно научный; у него нужно учиться строгой точности и послѣдовательности.

Хотя г. Соловьевъ дважды заявилъ, что онъ не считаетъ „существеннымъ", а скорѣе „постороннимъ" вопросъ объ *исторіи наукъ и религій*, однако, теперь, вѣроятно въ видѣ снисхожденія, онъ мнѣ отвѣчаетъ и по этому вопросу. Его слова, на сей разъ, довольно ясно обнаруживаютъ его *анти-органическій*, слѣдовательно и *анти-историческій* взглядъ на дѣло, почему я приведу ихъ здѣсь.

„Если есть въ исторіи дѣло", говоритъ онъ, „пре-

„вышающее жизненный захватъ отдѣльной культуры, то „не въ этомъ-ли дѣлѣ главный интересъ всемірной исто„ріи? Теорія культурно-историческихъ типовъ въ соб„ственномъ мнѣніи ея защитника сводится *къ такимъ пу„стякамъ*, о которыхъ вовсе не стоитъ спорить. Религія, „наука, искусство,—словомъ все, что̀ намъ дорого и ин„тересно, есть общее сокровище и *общее дѣло всего чело„вѣчества*. Что̀ же остается на долю „отдѣльныхъ пле„менныхъ типовъ, и *зачѣмъ понадобилось настаивать на „ихъ обособленности?* Что въ созданіи общаго сокровища „и въ *исполненіи общаго дѣла* каждая историческая нація „участвуетъ по-своему,—этого кажется никто не оспа„ривалъ. Впрочемъ, то же самое можно сказать и о „личности. Всякое человѣческое дѣло и произведеніе „*окрашивается въ исторіи не только національнымъ, но „и личнымъ характеромъ* своихъ производителей, изъ чего, „однако, не слѣдуетъ, чтобы отдѣльныя лица были *един„ственными реальными дѣятелями и предметами исто„рическаго процесса*". (Стр. 8, 9. Курсивъ не г. Соло„вьева, а мой).

Тутъ, кажется, можно все хорошо разобрать. Отдѣльныя лица тутъ, все-таки, признаются (слава Богу!) „реальными дѣятелями и предметами историческаго процесса". Мудрено это сказано, но, я думаю, это значитъ: они подвержены историческому процессу и они же производятъ этотъ процессъ. „Не они одни", говоритъ г. Соловьевъ; а я замѣчу, что, какая бы еще другая сила ни входила въ этотъ процессъ, но она не иначе дѣйствуетъ, какъ *въ нихъ* и *черезъ нихъ*, что помимо ихъ нельзя себѣ представлять ни единаго движенія

историческаго процесса. Если же такъ, то въ совершенно подобномъ смыслѣ, очевидно, нужно признать „реальными дѣятелями“ исторіи отдѣльные народы и культурные типы. Помимо ихъ не совершается исторія, почему и г. Соловьевъ справедливо замѣчаетъ, что „всякое человѣческое дѣло окрашивается въ исторіи не только національнымъ, но и личнымъ характеромъ“, значитъ, не только личнымъ, но и національнымъ. А выше этого, шире типовъ, въ исторіи нѣтъ дѣятелей, которыхъ мы могли бы назвать реальными въ томъ же смыслѣ. Напрасно г. Соловьевъ говоритъ объ „общемъ дѣлѣ, исполняемомъ всѣмъ человѣчествомъ“; если бы такое дѣло существовало, то оно уже не было бы окрашено никакимъ національнымъ характеромъ,—чего никогда не бываетъ, какъ онъ самъ же сказалъ. Всякія дѣла исполняются только отдѣльными лицами и народами; г. Соловьевъ сбился, вообразивъ, что если есть общая сокровищница, то есть и общая работа; онъ ставитъ эти выраженія рядомъ, не замѣчая громадной разницы ихъ смысла.

И вотъ этими-то „пустяками, о которыхъ не стоитъ спорить“ и занимается исторія. Она вѣдь не занимается отвлеченно религіею, философіею, искусствомъ и т. п., она не изслѣдуетъ отдѣльно взятыхъ элементовъ человѣческой жизни, а разсматриваетъ только ихъ конкретныя явленія, изучаетъ сочетаніе и судьбу этихъ элементовъ въ опредѣленныхъ людяхъ, народахъ, царствахъ и т. д. Она есть наука частныхъ явленій, временныхъ, мѣстныхъ, минувшихъ и не повторяющихся. Дѣло въ томъ, что мы—существа ограниченныя, что ничто общее

для насъ не существуетъ самостоятельно, а проявляется только въ частномъ. Поэтому-то исторія должна также весьма старательно изучать и *отдѣльные племенные типы*: „Зачѣмъ понадобилось", спрашиваетъ г. Соловьевъ „настаивать на ихъ обособленности?" Да потому, что эта обособленность есть великій историческій фактъ, что она, очевидно, есть одно изъ существенныхъ условій человѣческаго развитія, условіе, подъ которымъ это развитіе всегда совершалось, подъ которымъ оно достигало въ исторіи все большей высоты и все большаго захвата.

III.

Все предъидущее еще не заставило бы меня отвѣчать г. Вл. Соловьеву. Теперь уже многія тысячи читателей знаютъ и любятъ книгу Н. Я. Данилевскаго; поэтому, можно только подивиться, что ея противникъ такъ мало боится выступать передъ этими читателями, и можно твердо понадѣяться, что они сейчасъ же оцѣнятъ его выходку, увидятъ, что она лишена всякой основательности, всякаго безпристрастія. Что же касается до тѣхъ, кто не читалъ „Россіи и Европы" и даже считаетъ долгомъ просвѣщеннаго человѣка не заглядывать въ такія дикія книги, то они, конечно, съ наслажденіемъ прочтутъ г. Соловьева, и никакая полемика противъ него на нихъ не подѣйствуетъ. Однако же, на этотъ разъ г. Соловьевъ зашелъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ такъ далеко, до того исказилъ дѣло, что мнѣ захотѣлось сдѣлать попытку — еще разъ разоблачить его. Не успѣю-ли

даже инымъ ослѣпленнымъ показать мысль Н. Я. Данилевскаго въ ея истинномъ свѣтѣ?

Г. Соловьевъ въ этой послѣдней своей статьѣ *) много говоритъ о политическомъ ученіи „Россіи и Европы". Конечно, и тутъ онъ судитъ и рядитъ съ своей обыкновенной заносчивою развязностью. Напримѣръ, онъ съ размаху рѣшилъ, что будто бы Данилевскій обнаруживаетъ „видимое отсутствіе политической сообразительности" (стр. 13). Если вспомнить, что Н. Я. Данилевскій всегда съ жаромъ занимался политикою, что, кромѣ *Россіи и Европы*, онъ выступалъ прямо на поприще публициста и написалъ рядъ удивительныхъ статей, которыя, хотя не вполнѣ успѣли обратить на себя общее вниманіе, но за то глубоко отозвались въ сердцахъ иныхъ участниковъ событій, и которыя, безъ сомнѣнія, суть лучшія политическія статьи въ нашей литературѣ**)—если это вспомнить, то отзывъ г. Соловьева нужно признать очень смѣлымъ.

На чемъ онъ его основываетъ? „По представленію „Данилевскаго", говоритъ онъ, „во главѣ будущей европейской коалиціи противъ Россіи будетъ Франція, а „единственными нашими союзниками будутъ пруссаки". „Впослѣдствіи, конечно, намъ придется поссориться и „съ Пруссіей, такъ какъ это тоже Европа, но при рѣшеніи восточнаго вопроса, при взятіи Цареграда, пруссаки все-таки намъ помогутъ противъ Франціи. Таково

*) «Мнимая борьба съ Западомъ» *Русск. Мысль*, августъ, стр. 1—20.

**) См. *Сборникъ политическихъ и экономическихъ статей* Н. Я. Данилевскаго. Спб. 1890 г.

„предвидѣніе Данилевскаго". (Русск. Мысль, августъ, стр. 13, 14).

Но въ чемъ же тутъ несообразительность? Вѣдь это самое предвидѣніе уже частію исполнилось; вѣдь послѣ того, какъ писалъ Данилевскій (въ концѣ шестидесятыхъ годовъ) пруссаки шли противъ Франціи въ 1870 году; вѣдь они были тогда съ нами въ дружбѣ, и мы, имѣя свободныя руки, разорвали тогда Парижскій трактатъ. Это былъ шагъ на пути разрѣшенія восточнаго вопроса, и Данилевскій самъ радостно его привѣтствовалъ *). А что пруссаки намъ помогутъ при взятіи Цареграда, этого Данилевскій никогда не говорилъ; это ему приписалъ г. Соловьевъ, вслѣдствіе нѣкотораго избытка сообразительности. Напротивъ, Данилевскій, утверждая, что въ восточномъ вопросѣ интересы Пруссіи и Россіи „тожественны *въ ближайшихъ фазисахъ его развитія*", прибавлялъ: „Такъ представляется дѣло на первыхъ порахъ. Что̀ будетъ дальше, другой вопросъ. По достиженіи *первыхъ успѣховъ*, безобидныхъ для обѣихъ сторонъ, отношенія могутъ и, вѣроятно, даже должны перемѣниться". (*Россія и Европа*, стр. 498).

Слѣдовательно, относительно Пруссіи все исполнилось такъ точно, какъ говорилъ Данилевскій. Что̀ касается Франціи, которая теперь такъ дружитъ съ нами, и которая предполагается у Данилевскаго въ числѣ враговъ Россіи (на чемъ и основана вся выходка г. Соловьева), то вѣдь Франція дружитъ *теперь*, а не тогда, когда писалась *Россія и Европа*. Французы ранѣе

*) *Сборникъ*, стр. 2, 3.

того времени уже дважды приходили въ Россію, и легко было предполагать, что придутъ и въ третій разъ. Жестокое паденіе Франціи, котораго и самъ Бисмаркъ не предвидѣлъ, которое превзошло всѣ его ожиданія, измѣнило положеніе дѣлъ.

Но главное не въ этомъ. Что̀ тутъ удивительнаго, что Данилевскій, размышляя о благѣ людей, не предвидѣлъ того остервенѣнія, съ которымъ два культурнѣйшіе народа бросились другъ на друга, и той невѣроятной гнилости, которую обнаружила Франція, всегда пользовавшаяся нашими невольными симпатіями! Данилевскій не думалъ, что европейское междоусобіе разыграется такъ скоро и до такихъ размѣровъ; онъ считалъ главнымъ вопросомъ, имѣющимъ міровую важность и далекую будущность, великій Восточный вопросъ и потому предполагалъ вообще, что, если образуется коалиція противъ Россіи, то въ коалицію войдетъ и Франція. Однако же, онъ сказалъ это не безъ оговорокъ; въ высшей степени важно его замѣчаніе, что, если это будетъ, то лишь потому, что „между Россіею и Франціею стоитъ цѣлый рядъ предразсудковъ, уже издавна мѣшающихъ имъ сблизиться“ (стр. 493), и заставлявшихъ до сихъ поръ Францію враждовать съ Россіею „вопреки всѣмъ разсчетамъ политической мудрости, всѣмъ внушеніямъ здраваго политическаго разсчета“ (495). Такимъ образомъ, уже тогда, до франко-прусской войны, онъ ясно видѣлъ, что дружба между Россіею и Франціею не только возможна, но что для этой дружбы есть прямыя и важныя побужденія. Объ этомъ забылъ сказать г. Соловьевъ, хотя это стоитъ на тѣхъ же страницахъ,

которыя онъ цитируетъ. Когда же произошелъ разгромъ Франціи, то Данилевскій, взвѣшивая значеніе этого событія для Россіи, предсказалъ и нынѣшнее дружелюбіе Франціи. Онъ говорилъ: „Франція надолго должна сосредоточиться внутри самой себя, думать единственно объ излѣченіи нанесенныхъ ей ранъ, о возстановленіи своего утраченнаго могущества, о возвращеніи имѣющихъ вѣроятно отойти къ Германіи областей своихъ, и для этого искать дружбы и помощи Россіи". „Съ ослабленіемъ Франціи разсѣются, по крайней мѣрѣ на время, тѣ предразсудки, которые, и съ французской, и съ нашей стороны, такъ долго препятствовали понимать тожество обоюдныхъ интересовъ въ большинствѣ случаевъ" (*Сборникъ*, стр. 29, 30). Эти слова были сказаны въ самомъ концѣ 1870 года, и, какъ всѣ мы знаемъ, они сбылись въ точности.

Нужно читать самого Данилевскаго, чтобы видѣть это безподобное опредѣленіе истинныхъ интересовъ каждой страны, а также разъясненіе тѣхъ предразсудковъ, которые такъ часто мѣшаютъ понимать эти интересы. Нужно старательно вникать въ эти превосходныя разсужденія, потому что цѣль ихъ—то правильное разграниченіе, то уравновѣшеніе этихъ интересовъ, при которомъ возможенъ прочный миръ, спокойное сожительство. Данилевскій отчетливо показываетъ, напримѣръ, что рѣшеніе Восточнаго вопроса въ той формѣ, какая имъ предложена, не нарушаетъ никакихъ важныхъ интересовъ не только Франціи, но и Англіи—нашего главнаго противника въ этомъ дѣлѣ. Есть возможность всѣмъ ужиться безобидно, и это будетъ для всѣхъ самое вы-

годное *). Данилевскій выставляетъ на видъ ту силу вещей, противъ которой идти — не только несправедливо, но и очень опасно, такъ какъ эта сила можетъ сломить всякія усилія; онъ настаиваетъ на томъ, что борьба, имъ предвидимая, имѣетъ главнымъ источникомъ не существенные интересы Европы, а лишь гордыя ея притязанія, ея непобѣдимыя предубѣжденія противъ Славянства и ея слѣпое честолюбіе и насильственность.

И вотъ, мы приходимъ къ тому главному упреку, который г. Соловьевъ рѣшился выставить противъ книги Данилевскаго въ послѣдней статьѣ. Повидимому, онъ только теперь, задумавъ писать статью для *Русской Мысли*, вдругъ открылъ ужасающій порокъ въ книгѣ, о которой уже столько разсуждалъ. Поводъ къ этому открытію поданъ все мною же, имѣющимъ несчастіе, такимъ образомъ, навлекать на покойнаго друга поношеніе за поношеніемъ. „Г. Страховъ требовалъ отъ меня", пишетъ г. Соловьевъ, „доказательствъ того, что начало народности безнравственно. Это была, конечно, лишь эристическая фигура, такъ какъ никто никогда не признавалъ безнравственнымъ принципъ народности. Но на *безнравственномъ свойствѣ* того націонализма, который проповѣдуется въ книгѣ *Россія и Европа*, я долженъ

*) Г. Соловьевъ, между прочимъ, вступается за Грековъ, Венгровъ, Румынъ, Чеховъ, Поляковъ, Хорватовъ; онъ голословно, по своему обычаю, утверждаетъ, что Данилевскій собирается „приносить живыя и сознающія себя народности въ жертву"... "интересамъ *какой-то фантастической* (!) группы народовъ" (стр. 14). Повѣрятъ этому развѣ тѣ, кто не читалъ *Россіи и Европы*; но кто читалъ, тотъ знаетъ, что все въ этой книгѣ направлено только къ наилучшему соблюденію интересовъ каждой народности. Въ этомъ весь смыслъ книги.

настаивать самымъ рѣшительнымъ образомъ" (стр. 11).

И затѣмъ сыплются выраженія все крупнѣе и крупнѣе: будто бы Данилевскій „отрицаетъ всякое нравственное отношеніе къ прочимъ народамъ и къ цѣлому человѣчеству" (12) и „учитъ, что по отношенію къ чужимъ народамъ все позволено" (6), будто бы „проповѣдуетъ вещи, прямо противныя духу кротости, справедливости и вѣротерпимости" (11), будто бы „предлагаетъ способъ дѣйствія, который въ просторѣчіи называется мошенничествомъ, а по книжному маккіавелизмомъ" (12), будто бы у него повсюду высказывается „наивная безнравственность" (13), „варварскій маккіавелизмъ" (14), „проповѣдь насилія и обмана" (14).

Вотъ какой злодѣй Н. Я. Данилевскій! Не удивительно-ли, что этого такъ долго никто не замѣчалъ? Представляю себѣ восторгъ читателей *Русской Мысли!* Но чѣмъ же это доказывается? Вообразите себѣ, что ровно ничѣмъ. Такъ ужъ это ведется у г. Соловьева. Онъ, кажется, думаетъ, что его слова доказываются самыми этими словами, ихъ громкимъ звукомъ. Онъ выступаетъ съ рѣзкимъ положеніемъ, а потомъ ровно ничѣмъ его не подкрѣпляетъ; онъ приводитъ и выдержки, даже длинныя, но только оказывается, что въ нихъ вовсе нѣтъ того, что онъ хотѣлъ доказать.

Напримѣръ, для подтвержденія теперешнихъ выходокъ онъ приводитъ замѣчательное мѣсто *Россіи и Европы*, тѣ слова, на которыя любилъ ссылаться самъ Н. Я. Данилевскій, какъ на удачную форму своей мысли. Мы приведемъ ихъ съ наслажденіемъ. Разсуждая о томъ,

какъ слѣдуетъ намъ смотрѣть на европейскія дѣла, Данилевскій совѣтуетъ постоянно имѣть въ виду „наши особенныя русско-славянскія цѣли“ и продолжаетъ:

„Къ безразличнымъ *въ этомъ отношеніи* лицамъ и „событіямъ мы должны оставаться совершенно равно„душными, какъ будто бы они жили и происходили на „лунѣ; тѣмъ, которыя могутъ приблизить насъ къ нашей „цѣли, должны всемѣрно содѣйствовать, и всемѣрно про„тивиться тѣмъ, которыя могутъ служить ей препят„ствіемъ, *не обращая при этомъ ни малѣйшаго вниманія „на ихъ безотносительное значеніе, на то, каковы будутъ „ихъ послѣдствія для самой Европы, для человѣчества, „для свободы, для цивилизаціи.*

„*Безъ ненависти и безъ любви (ибо въ этомъ чуждомъ мірѣ ничто не можетъ и не должно возбуждать ни нашихъ симпатій, ни нашихъ антипатій* *), равнодушные и къ красному, и къ бѣлому, къ демагогіи и къ деспотизму, къ легитимизму и къ революціи, къ нѣмцамъ, къ французамъ, къ англичанамъ, къ италіанцамъ, къ Наполеону, Бисмарку, Гладстону, Гарибальди,—мы должны быть вѣрнымъ другомъ и союзникомъ тому, кто хочетъ и можетъ содѣйствовать нашей единой и неизмѣнной цѣли. Если цѣною нашего союза и дружбы мы дѣлаемъ шагъ впередъ къ освобожденію и объединенію славянства, приближаемся къ Цареграду, не совершенно-ли намъ все равно: купятся-ли этой цѣной Египетъ Франціей или Англіей, рейнская граница—французами

*) Курсивъ принадлежитъ г. Соловьеву и обозначаетъ самыя преступныя слова; курсивъ прекращается, гдѣ преступность слабѣе, изъ чего и видно, въ чемъ полагается эта преступность.

или вогезская—нѣмцами, Бельгія—Наполеономъ, или Голландія Бисмаркомъ?" (Россія и Европа, стр. 481).

Выписавши эти строки, г. Соловьевъ не прибавляетъ отъ себя ни единаго слова. Онъ только подчеркнулъ нѣкоторыя мѣста, да выпустилъ изъ середины (конечно, *для ясности*) нѣсколько строкъ, гдѣ говорится что-то такое о *святомъ и высокомъ дѣлѣ*, и думаетъ, что читатели сами увидятъ, какая тутъ ужасная безнравственность. Но что же такое ему представилось? Не попробуемъ-ли отгадать, какія истинно-нравственныя начала желаетъ намъ проповѣдать г. Соловьевъ? Н. Я. Данилевскій излагаетъ свою мысль точно, опредѣленно; онъ поясняетъ ее примѣрами, и ошибиться въ ней невозможно. Онъ говоритъ, напримѣръ, что намъ должно быть все равно, кому принадлежитъ Египетъ, Франціи или Англіи, и гдѣ будетъ проведена граница между Франціею и Германіею. Что же? Этотъ совѣтъ—„варварскій маккіавелизмъ", „проповѣдь насилія и обмана"? И чему же учитъ въ этомъ отношеніи чистая нравственность? За кого намъ слѣдуетъ стоять? Г. Соловьевъ, очевидно, подчеркнулъ только *общія* положенія Данилевскаго и не видитъ, какъ они поясняются тутъ же стоящими частными примѣрами; ему показалось, что Данилевскій проповѣдуетъ вообще равнодушіе *къ человѣчеству, къ свободѣ, къ цивилизаціи*. Но вѣдь только для малыхъ ребятъ не ясно, что Данилевскій разсуждаетъ о политическихъ дѣлахъ, а не о чувствахъ частнаго человѣка, что „быть равнодушнымъ" тутъ значитъ — не посылать нашихъ войскъ на смерть и не приносить въ жертву благосостоянія нашего государства, что всякое

вниманіе, всякая „симпатія и антипатія“ тутъ выражается не иначе, какъ кровью десятковъ и сотенъ тысячъ людей и золотомъ, тяжко собираемымъ съ цѣлаго государства. Общій смыслъ наставленій Данилевскаго — миролюбивый; онъ указываетъ, за что̀ намъ никогда не слѣдуетъ воевать.

Между политическими и частными дѣлами разница великая, и ее превосходно объяснилъ Н. Я. Данилевскій (Россія и Европа, стр. 31, 32). Частный человѣкъ, исполняя долгъ человѣколюбія или желая послужить свободѣ и цивилизаціи, можетъ, вообще говоря, жертвовать при этомъ и своимъ достояніемъ, и своею жизнью. Другое дѣло, когда рѣчь идетъ о государствѣ, когда мы разбираемъ чувства и поведеніе людей, заправляющихъ политикою, рѣшающихъ вопросы войны и мира. Къ такимъ людямъ и къ общественному мнѣнію, имѣющему на нихъ вліяніе, обращается Данилевскій. Имѣемъ-ли мы право когда-нибудь жертвовать силами своего государства, подвергать его ущербамъ и опасности—по нашимъ соображеніямъ о пользахъ свободы, цивилизаціи, человѣчества? Такого права никто и никогда не имѣетъ, отвѣчаетъ Данилевскій; да и всѣ мы это хоть немножко знаемъ, а должны бы твердо знать. Объединяясь, сплачиваясь въ государство, народъ имѣетъ цѣлью лишь свое благо и сохраненіе; поэтому, когда мы употребляемъ эту крѣпкую силу его единенія въ ущербъ его же благу, мы заставляемъ его совершать нѣчто противоестественное. Такъ дѣлаетъ врачъ, когда вмѣсто лекарства даетъ своему больному ядъ; такъ дѣлаетъ полицейскій, когда, имѣя всюду доступъ, самъ крадетъ

и поджигаетъ. Тутъ не простое, а двойное преступленіе. Пока крѣпка таинственная сила, связующая народъ воедино, она есть здоровая, слѣдовательно, благая сила, содержащая въ себѣ самой свои высшія стремленія. Народъ принадлежитъ только самому себѣ, и можно только служить ему, но не посягать на него, какъ на орудіе для придуманныхъ нами цѣлей. Данилевскій хорошо понималъ положеніе дѣла. Онъ перечисляетъ въ своей книгѣ множество историческихъ случаевъ, когда существенные интересы Россіи приносились въ жертву разнымъ, будто бы высшимъ, соображеніямъ. Дѣло это извѣстное, и мысль о немъ горька для всякаго патріота, и мы несемъ на себѣ его послѣдствія. И онъ слышалъ и такіе голоса, которые провозглашали, что Россія есть вообще помѣха для цивилизаціи и прогресса человѣчества, и что всего лучше было бы, если бы можно было совсѣмъ стереть великій русскій народъ съ лица земли. Поэтому онъ и объясняетъ, что подобныя мысли и поползновенія не имѣютъ никакого оправданія; онъ совѣтуетъ намъ выкинуть ихъ изъ головы, а напротивъ, твердо вѣрить, „что цѣль наша (русско-славянское дѣло) „свята и высока, что одно только ведущее къ ней и „лежитъ въ нашихъ обязанностяхъ, что только служа „ей, а не иначе какъ-нибудь, можемъ мы содѣйствовать „всему высокому, какое бы имя оно ни носило: человѣ„чества, свободы, цивилизаціи и т. д.“ (Россія и Европа, стр. 481). Это тѣ слова, которыя г. Соловьевъ выпустилъ изъ середины приведенной имъ выдержки.

Итакъ, гдѣ же „варварскій маккіавелизмъ“? По истинѣ удивительно то, что̀ пишетъ г. Соловьевъ. Онъ

попробовалъ дальше еще разъ какъ-нибудь уличить Данилевскаго въ коварствѣ, но промахнулся самымъ жалкимъ образомъ. Данилевскій объясняетъ, что Россія не имѣетъ никакой обязанности и нужды заботиться о такъ называемомъ политическомъ равновѣсіи европейскихъ государствъ. Тутъ попалась строчка, въ которой почуялось г. Соловьеву коварство, и онъ ее подчеркнулъ; онъ выписываетъ такъ: „Равновѣсіе политическихъ силъ „Европы вредно и даже гибельно для Россіи, а на„рушеніе его, *съ чьей бы то ни было стороны*, вы„годно и благодѣтельно“ *) (стр. 13). Г. Соловьевъ выводитъ отсюда, что, слѣдовательно, по Данилевскому, „мы должны стараться о нарушеніи этого равновѣсія во вредъ Европѣ“ (13). Да развѣ же это то? Слова *съ чьей бы то ни было стороны* значатъ вѣдь: все равно нарушитъ-ли равновѣсіе Франція, или Германія и т. п. Данилевскій доказываетъ только, что это нарушеніе *во всякомъ случаѣ* даетъ Россіи выгодное положеніе, а вовсе и не думаетъ о томъ, чтобы мы старались о такомъ нарушеніи.

Этого мало. Если бы его противникъ былъ способенъ что-нибудь ясно видѣть, то онъ долженъ былъ бы неотразимо убѣдиться, что и во всей книгѣ Данилевскаго, во всѣхъ его соображеніяхъ, никогда ни разу не встрѣчается совѣта кому-нибудь вредить, кого-нибудь ненавидѣть, изготовлять для кого-нибудь зло и гибель. Въ этомъ отношеніи Данилевскій показалъ себя, можно сказать, истинно-христіанскимъ писателемъ и не пови-

---

*) Рос. и Евр., стр. 486.

ненъ ни въ единомъ изъ злобныхъ внушеній. Онъ очень много и подробно доказываетъ, что *Европа намъ враждебна*, но ему и въ мысль не приходитъ сказать, что нужно ей въ этомъ подражать, что и мы должны быть *враждебны Европѣ*. Всѣ его совѣты въ разсужденіи Европы только отрицательные; онъ хочетъ только, чтобы мы не вмѣшивались въ чужія дѣла, не гнались за дружбой и значеніемъ тамъ, гдѣ насъ не спрашиваютъ, гдѣ нами только пользуются, но никогда не признаютъ своими. Онъ хочетъ, чтобы мы бросили это унизительное тщеславіе, прекратили всякую преступную трату народной крови и народнаго благосостоянія на цѣли, которыя мы сами навязываемъ народу *). Если же онъ говоритъ о борьбѣ съ Европою, то не по враждѣ къ ней и не ради какихъ нибудь захватовъ, а потому, что необходимо исправить вопіющую историческую неправду, что честолюбіе и насильственность Европы не только создали въ прошлые вѣка невыносимое положеніе для славянъ, но грозятъ и впередъ продолжать это дѣло и не отступать передъ самыми справедливыми требованіями. Давно сложившійся и все больше приходящій къ сознанію славянскій культурно-историческій типъ упорно тѣснится Европою, которая со страхомъ и злобою отрицаетъ его права на существованіе рядомъ съ собою. Данилевскій убѣждаетъ насъ, чтобы мы распространили свою любовь на весь этотъ типъ, чтобы тѣ обязанности

*) Кто не читалъ, пусть прочтетъ статью *Горе побѣдителямъ* (*Сборникъ*, стр. 139—219), писанную послѣ Берлинскаго конгреса,—истинно геніальное разоблаченіе нашихъ отношеній къ Европѣ, подсказанное глубокою любовью и глубокимъ оскорбленіемъ.

патріотизма, которыя мы исповѣдуемъ въ отношеніи къ Россіи, мы признали за собою и въ отношеніи къ другимъ славянскимъ народностямъ. Тѣ русскіе люди, которые недавно умирали и лили свою кровь на поляхъ Болгаріи, вѣроятно въ той или другой мѣрѣ чувствовали, что они поступаютъ согласно съ такимъ завѣтомъ любви къ славянству. И вотъ почему, Данилевскій, вообще, считаетъ то, что̀ онъ называетъ „русско-славянскими цѣлями", дѣломъ *святымъ и высокимъ*. Это есть возстановленіе самыхъ законныхъ правъ, осуществленіе самыхъ законныхъ желаній. Поэтому, предсказывая, что дѣло не обойдется безъ великой борьбы, безъ напряженныхъ усилій, какъ съ нашей стороны, такъ и со стороны Европы, онъ говоритъ: „*Счастіе и сила Россіи въ томъ „и заключается*, что, сверхъ ненарушимо сохранившихся „еще цѣльности и живаго единства ея организма, само „дѣло ея таково, что оно можетъ и непосредственно воз„будить ее до самоотверженія, если только будетъ до„ведено до ея сознанія всѣми путями гласности,—тогда „какъ ея противники не могутъ выставить на своемъ „знамени ничего, кромѣ пустыхъ, безсодержательныхъ „словъ: будто бы попираемаго политическаго равновѣсія, „якобы угрожаемой цивилизаціи, словъ, которыми не „разшевелить народнаго сердца, а развѣ только возбу„дить вопли уличныхъ крикуновъ и ротозѣевъ. Съ одной „стороны борьба будетъ *за все, что̀ есть священнаго „для человѣка*: за вѣру, за свободу угнетенныхъ братьевъ, „за свое историческое призваніе, которое хотя логи„чески не сознается массами, но лежитъ въ нравственной „основѣ всякаго великаго народа. Съ другой—за угне-

„теніе племенъ, въ противность высказываемому самими „же противниками принципу равноправности національ„ностей; за дѣйствительное турецкое варварство, какъ „плотину противъ разлива какого-то мнимаго московит„скаго варварства; за фантастическій польскій народъ, „занимающій въ европейскихъ головахъ мѣсто дѣйстви„тельнаго русскаго народа, угнетавшагося польскимъ „шляхетствомъ; однимъ словомъ, за ложь, фальшь и на„пускное марево". (*Росс. и Евр.*, стр. 504, 505) *).

Вотъ каковы политическіе планы и совѣты Данилевскаго; онъ предлагаетъ намъ то, что̀ считаетъ „правымъ и святымъ дѣломъ", онъ весь горитъ пламенемъ чистаго чувства, когда говоритъ о немъ, и его книга есть лишь пространное доказательство справедливости и святости этого дѣла. Послѣ этого, что̀ же мы должны сказать о выходкахъ г. Соловьева, который провозгласилъ, что Данилевскій проповѣдуетъ „насиліе и обманъ"? Эти обвиненія такъ ни съ чѣмъ несообразны, что не знаешь, какъ ихъ оцѣнить, не скоро разберешь, съ какой стороны они всего хуже. Можно принять ихъ за черную клевету, за злостную ложь; но въ то же время, средства этой клеветы такъ странны и жалки, что въ ней можно видѣть и просто безсознательную путаницу. Какъ будто какой-то фанатизмъ застилаетъ ему глаза, и онъ не видитъ даже того, что̀ изложено точно, ясно и пространно; напротивъ, въ самыхъ простыхъ словахъ ему мерещится что-то чудовищное. Если читатели не захотятъ

*) Г. Соловьевъ, выхватывая слова изъ этого мѣста, обвиняетъ Данилевскаго въ томъ, что онъ отрицаетъ Польскій народъ, считаетъ его только фантазіею!

этого допустить, если они будутъ думать, что такого жестокаго извращенія и въ такомъ важномъ вопросѣ нельзя сдѣлать иначе, какъ сознательно, ради умышленной клеветы, то я могу привести доказательство, что полной сознательности тутъ, однако же, нѣтъ. Въ одномъ мѣстѣ этой самой статьи, г. Соловьевъ выписываетъ слѣдующія слова Данилевскаго: „Мы полагаемъ, что въ теперешнемъ „положеніи дѣлъ" (*„теперешній" тутъ значитъ: въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, чего не указываетъ, а вѣрнѣе, самъ не соображаетъ г. Соловьевъ*) „Россія не можетъ имѣть другаго союзника, какъ Пруссія, „такъ же точно, какъ и Пруссія другаго союзника, какъ „Россія; и союзъ ихъ *можетъ быть благословеннымъ*, „потому что у обѣихъ *цѣль правая*" (Росс. и Евр., стр. 498). Приведя эти слова, г. Соловьевъ восклицаетъ: „Вотъ неожиданное обращеніе къ этическому принципу въ политикѣ, столь рѣшительно отвергнутому!" (Стр. 14).

Неожиданное! Тутъ видно, что это его подлинно удивило. А насъ, конечно, должно очень удивить его удивленіе. Подумайте, книга, на которую онъ трижды нападалъ, подступая къ ней со всевозможныхъ сторонъ, вся эта книга проникнута и переполнена этимъ „обращеніемъ къ этическому принципу",—и онъ этого ни разу не замѣтилъ! Какова слѣпота! Но вотъ, затѣявши выписать нѣсколько строкъ изъ *Россіи и Европы* для мнимаго уличенія Данилевскаго въ несообразительности, онъ нечаянно наткнулся на слова о „благословенномъ союзѣ" и „правой цѣли"; нужно думать, что, уже написавши эти слова на бумагѣ, онъ вдругъ замѣтилъ, что вѣдь они содержатъ „обращеніе къ этическому принципу",

ссылку на Бога и справедливость,—и былъ совершенно пораженъ такою неожиданностью. Не правда-ли, однако, что, еслибы онъ дѣйствовалъ не только злоумышленно, но и сознательно, то онъ, навѣрное, ничего не сказалъ бы о своемъ изумленіи и даже вычеркнулъ бы удивившія его слова? А можетъ быть онъ не догадался? Можетъ быть, просто, что называется, зарапортовался? Богъ его знаетъ! Видно только, что онъ ни на минуту не задумался.

Этимъ мы и кончимъ нашъ разборъ. Нѣтъ ни нужды, ни охоты разбирать множество другихъ подобныхъ выходокъ, да какъ-то нѣтъ охоты и подсмѣяться надъ противникомъ, до такой степени ослѣпленнымъ и шаткимъ въ ходѣ своихъ мыслей. Но нельзя не сердиться, видя, что онъ забываетъ уже всякую осторожность, всякое уваженіе къ чувствамъ и мнѣніямъ другихъ людей, и вотъ уже столько времени громко и настойчиво приписываетъ инымъ изъ нихъ глупость за глупостью и подлость за подлостью. Тутъ не одна слѣпота, тутъ есть какое-то потемнѣніе нравственнаго чувства, на которое нельзя смотрѣть равнодушно.

Что̀ сказать вообще объ этомъ спорѣ? Въ немъ отзывается все та же наша главная болѣзнь, невѣріе въ Россію, ослѣпленіе западными идеалами, то, что̀ мы называли *оторванностію отъ почвы*. Умы нашихъ образованныхъ людей, вслѣдствіе этой болѣзни, теряютъ чувство окружающей ихъ дѣйствительности, а вмѣстѣ и всякую устойчивость; они рѣютъ и кувыркаются въ безвоздушныхъ пространствахъ, создаютъ себѣ „крылатыя теоріи“, и понятно, отчего имъ такъ несносна книга Н. Я. Данилевскаго, дышащая трезвымъ и яснымъ на-

блюденіемъ и глубокою, кровною любовью не къ мечтательной, а къ исторической Россіи. Но легко видѣть, что всегдашняя неисцѣлимая шаткость этихъ умовъ сквозитъ у нихъ всюду и обличаетъ ихъ внутреннюю пустоту.

Не будемъ, однако, унывать. Состояніе нашей образованности печальное, но эти заносныя и прививныя болѣзни, дастъ Богъ, пройдутъ безъ вреда для могучаго здоровья Россіи. Даже въ настоящую минуту, какъ бы насъ ни огорчали разныя „наши язвы", положеніе Россіи представляетъ и такія черты, въ которыхъ мы имѣемъ право видѣть для нея предвѣстіе наилучшаго, истинно желаннаго величія. Россія принесла Европѣ миръ, она теперь сдерживаетъ жестокія распри европейцевъ и обуздала ихъ просто тѣмъ, что замкнулась въ себѣ, объявила себя свободною, не имѣющею нужды дружить больше съ одною стороною, чѣмъ съ другою (что̀ совершенно согласно съ завѣтомъ Данилевскаго). Борьба ненасытныхъ честолюбій поневолѣ должна была затихнуть. И есть другая черта въ нашей современной исторіи, въ сущности даже болѣе важная. Отъ нашей литературы, отъ нѣкоторыхъ вершинъ ея, и именно отъ тѣхъ, отъ которыхъ наши домашніе европейцы всего меньше ждали добра, пронеслось по міру какое-то вѣяніе, послышался призывъ высокихъ нравственныхъ началъ, и сердца многихъ людей старой цивилизаціи забились давно забытыми чувствами, и они съ отрадой и удивленіемъ обратили свои глаза на Россію.

Дай Богъ, чтобы это такъ и продолжалось. Пусть стократно возрастетъ могущество Россіи; тогда она водворитъ спокойствіе на Западѣ и благоустройство на Во-

стокѣ. Пусть чистыя нравственныя начала, составляющія самую душу нашего народа, проникнуть, наконецъ, въ наше сознаніе и найдутъ себѣ полное и ясное для всего міра выраженіе и воплощеніе; тогда новая лучшая жизнь можетъ проснуться въ старыхъ народахъ и сбудется предсказаніе Хомякова о *могучемъ и свѣтломъ источникѣ*, сокрытомъ въ груди Россіи:

Смотрите, какъ широко воды
Зеленымъ доломъ разлились,
Какъ къ брегу чуждые народы
Съ духовной жаждой собрались!

27-го сент. 1890.

VII.

ИСТОРИЧЕСКІЕ ВЗГЛЯДЫ Г. РЮККЕРТА И Н. Я. ДАНИЛЕВСКАГО.

1894.

I.

Вопросы.

Въ предисловіи къ изданію „Россіи и Европы“, сдѣланному мною по смерти автора (3-е изданіе, 1888 г.), я говорилъ объ исторической теоріи Н. Я. Данилевскаго и помѣстилъ въ подстрочномъ примѣчаніи нѣсколько словъ о Генрихѣ Рюккертѣ, во взглядѣ котораго на исторію находилъ нѣкоторое сходство съ взглядомъ Н. Я. Данилевскаго.

Противники „Россіи и Европы“, ища аргументовъ противъ этой книги, остановились, наконецъ, и на моемъ примѣчаніи объ Рюккертѣ и стали уже прямо утверждать, что взглядъ Данилевскаго не имѣетъ никакой

самостоятельности, а составляетъ лишь *списокъ* съ мыслей Рюккерта. Отсюда загорѣлся споръ, и въ настоящей статьѣ мнѣ хотѣлось бы привести этотъ споръ къ окончанію.

Прямой вопросъ, о которомъ идетъ споръ, долженъ быть, очевидно, поставленъ такъ: въ какой *мѣрѣ* сходны между собою взгляды названныхъ писателей? И можно-ли думать, что Данилевскій заимствовалъ свой взглядъ отъ Рюккерта?

Читатели, если они не принадлежатъ къ людямъ, которыхъ занимаетъ самое зрѣлище спора, если они не слѣдятъ только за тѣмъ, кто на кого напалъ, кто сдѣлалъ вѣрный ударъ и кто далъ промахъ, кто сказалъ самое обидное слово, и т. д.,—словомъ, читатели, которыхъ интересуютъ не спорящіе, а самый предметъ спора, могутъ найти поставленные вопросы довольно маловажными.

Если намъ важна самая теорія культурно-историческихъ типовъ, то не все-ли намъ равно, кто ее первый высказалъ? Этотъ вопросъ о первенствѣ—есть вопросъ историко-литературный и къ сущности дѣла не относится. Мы хотимъ судить о предметѣ по его существу, а не по авторитетамъ тѣхъ или другихъ писателей, которые о немъ говорили. Если же дѣло пошло на авторитеты, то не ясно-ли, что теорія получаетъ только новое подтвержденіе, когда мы узнали, что и Рюккертъ ее признавалъ? Чѣмъ больше этихъ совпаденій, тѣмъ лучше, и ничуть не было бы худо для теоріи, еслибы мы слѣды ея разыскали даже у Тита Ливія, или у Геродота.

Въ самомъ дѣлѣ, почему вопросъ сосредоточился на одномъ Рюккертѣ? Если пускаться въ историко-литературныя разысканія, то нужно бы взять вообще литературу исторіи и тѣ теоріи, которыя въ ней были высказаны прежде, чѣмъ писалъ Данилевскій (онъ писалъ тридцать лѣтъ назадъ), и показать отношеніе между его взглядомъ и этими теоріями. Развѣ Рюккертъ составляетъ какое-нибудь исключеніе и самъ не имѣетъ никакихъ корней и связей? Это вовсе невозможно; во всякомъ случаѣ, нужно было бы оцѣнить какъ-нибудь относительное значеніе самого Рюккерта.

Наконецъ, если Рюккертъ и Данилевскій представляютъ какихъ-то неожиданныхъ выродковъ въ исторической литературѣ, то все наше вниманіе должно быть устремлено на то, въ чемъ же состоитъ уродливость ихъ взглядовъ, то-есть, въ чемъ эти взгляды отступаютъ отъ правильнаго пониманія исторіи, которое, такимъ образомъ, должно выступить предъ нами тѣмъ яснѣе, чѣмъ опредѣленнѣе мы укажемъ на отступленіе отъ него. *Истина есть настоящее мѣрило и самой себя, и заблужденія.* Всѣ нападки на Рюккерта и Данилевскаго, если они не имѣютъ этой цѣли, всѣ старанія подыскать у нихъ промахи, всѣ разсужденія о томъ, что одинъ нѣмецъ, а другой русскій и т. п., если и могутъ быть интересны съ какой-нибудь стороны, то ничуть не съ главной стороны всего вопроса. Намъ нужно больше всего вникать въ истину дѣла, и тогда можетъ оказаться наоборотъ, что не теорія Данилевскаго уродлива, а, напротивъ, другіе взгляды представляютъ *остановки развитія* и находятъ себѣ уясненіе и завершеніе въ этой теоріи.

II.

Ссылка на Рюккерта.

Теперь читателямъ будутъ понятны тѣ общія точки зрѣнія, которыхъ мы будемъ держаться, а также и частныя обстоятельства спора.

Виновникомъ того, что зашла рѣчь объ Рюккертѣ, былъ я, ни мало не думавшій, однако, что на Рюккертѣ дѣло и остановится. Когда я окончилъ свое первое изданіе книги Н. Я. Данилевскаго, мнѣ стало жаль, что я не могу точнѣе указать отношеніе его взгляда къ предшествовавшей исторической литературѣ. Такое указаніе имѣло бы великую важность для читателей, привыкшихъ цѣнить новую книгу по ея связи съ прежнимъ своимъ чтеніемъ. Въ общихъ чертахъ мнѣ было ясно, что взглядъ, высказанный въ „Россіи и Европѣ", находитъ себѣ оправданіе въ литературѣ исторіи, что чѣмъ правильнѣе вели свое дѣло историки, тѣмъ ближе они подходили къ этому взгляду. Но у меня недоставало времени и было не довольно начитанности по исторіи, чтобы прямо пуститься въ развитіе этой темы, и я рѣшился, по крайней мѣрѣ, указать на нее и въ примѣръ привести Рюккерта.

Рюккерта же не самъ я открылъ. Его замѣчательная книга о всемірной исторіи, вообще, мало читается,

и у насъ, можно сказать, вовсе неизвѣстна. Объ ея достоинствахъ я узналъ лѣтъ двадцать тому назадъ, отъ давно уже покойнаго Мстислава Викторовича Прахова, отличнаго филолога, большаго любителя и цѣнителя книгъ *). Онъ мнѣ указалъ на нее, какъ на книгу единственную въ своемъ родѣ, именно содержащую въ большой полнотѣ не факты, а одни общіе взгляды на всѣ области и періоды исторіи. Потомъ я слышалъ, что А. И. Георгіевскій, когда былъ профессоромъ въ Одессѣ, въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, въ основаніе своего курса средней и новой исторіи полагалъ Рюккерта. Эта книга, которую нѣмцы причисляютъ къ цѣннымъ достояніямъ своей литературы, признается ими особенно пригодною именно для руководства при преподаваніи, для того, чтобы, изучая факты, не терять изъ виду общихъ точекъ зрѣнія, съ которыхъ открывается смыслъ фактовъ. И самъ Рюккертъ далъ ей названіе *учебной книги*, Lehrbuch, хотя она вовсе не похожа на обыкновенные учебники.

Какъ бы то ни было, я былъ знакомъ съ разсужденіями Рюккерта о разнородныхъ культурахъ, и мнѣ пришла мысль на него сослаться, но, разумѣется, только въ видѣ примѣра, какъ на *одного изъ многихъ* писателей, у которыхъ можно найти подтвержденія для взгляда Данилевскаго. Мое примѣчаніе, изъ-за котораго под-

*) М. В. Праховъ ничѣмъ не извѣстенъ въ литературѣ, если не считать нѣсколькихъ переводныхъ стихотвореній; но онъ оставилъ по себѣ прекраснѣйшую память у всѣхъ, кто зналъ его,—своею чистою и любящею душою, глубиною научнаго пониманія и тонкостью эстетическаго вкуса. Онъ же мнѣ указалъ тогда на первую книгу Нитче, который теперь такъ знаменитъ.

нялся весь споръ, дословно состоитъ въ слѣдующемъ:

„Такъ какъ мысль о культурно-историческихъ типахъ внушается самыми фактами исторіи, то зачатки этой мысли можно встрѣтить у другихъ писателей; укажемъ на Генриха Рюккерта, составившаго самый глубокомысленный изъ всѣхъ существующихъ обзоровъ всеобщей исторіи (Lehrbuch der Weltgeschichte, Leipz. 1857. 2 Bde). Но одинъ Н. Я. Данилевскій оцѣнилъ все значеніе этой мысли и развилъ ее съ полной ясностью и строгостью. Рюккертъ не только не положилъ ее въ основаніе своего обзора, а говоритъ объ ней лишь въ прибавленіи (Anhang) ко всему сочиненію, въ концѣ втораго тома“ *).

Эти злополучныя строки были причиной недоразумѣнія, и мнѣ теперь ясно, что въ нихъ есть дѣйствительный поводъ къ такому недоразумѣнію. Стараясь быть краткимъ и въ то же время яснымъ, я выразился неточно, сказалъ больше, чѣмъ нужно. Напримѣръ, тутъ употреблены выраженія: „мысль“, „зачатки мысли“, „оцѣнилъ все значеніе этой мысли и развилъ ее“. По этимъ выраженіямъ можно подумать, что рѣчь идетъ о какомъ-нибудь отчетливо-опредѣленномъ понятіи, одинаковомъ и у Данилевскаго, и у Рюккерта, и у другихъ писателей; тогда какъ такого общаго имъ всѣмъ понятія не существуетъ, и понятіе, выставленное Данилевскимъ, есть самостоятельное обобщеніе тѣхъ понятій, которыя встрѣчаются у другихъ. Не точно у меня также выраженіе: „мысль о культурно-историческихъ

*) *Россія и Европа*, изд. 3-е. Предисл., стр. XXV.

типахъ", нужно было бы выразиться опредѣленнѣе; нужно было бы сказать: „о томъ, что̀ Данилевскій называетъ *культурно-историческими типами*", — ибо это терминъ, котораго другіе не употребляютъ. Въ силу такихъ неточностей, тотъ, кто самъ не читалъ Рюккерта и не вникалъ въ вопросъ, а только прочелъ мое примѣчаніе, легко могъ прійти къ мысли, что Данилевскій заимствовалъ свою теорію отъ Рюккерта. И дѣйствительно, одинъ изъ спорившихъ, хотя не ссылаясь на мои слова, но и вообще ни на что не ссылаясь, прямо объявилъ, что „идея культурно-историческихъ типовъ была высказана Генрихомъ Рюккертомъ" и что Данилевскій ею „воспользовался" *).

Между тѣмъ, ни того, ни другаго сказать нельзя, да я и не хотѣлъ сказать. Я говорилъ только о *зачаткахъ мысли*, и мнѣ хотѣлось однимъ этимъ словомъ обозначить всѣ тѣ различныя соображенія и характеристики, находящіяся у *другихъ писателей* (на этихъ *другихъ* мой противникъ вовсе не обратилъ вниманія), все то, изъ чего *могла бы* развиться мысль о типахъ, но не самую эту мысль, хотя бы въ первичнѣйшей ея формѣ. Ибо она составляетъ нѣкоторый неожиданный поворотъ въ рѣшеніи вопроса, нѣчто подобное колумбову яйцу, или распутыванію эпициклов посредствомъ перенесенія центра системы изъ земли въ солнце; все было готово для новой точки зрѣнія, но это не значитъ, что была найдена самая эта точка.

По моему убѣжденію, Данилевскій даже вовсе не

*) *Вл. Соловьевъ*, „Національный вопросъ въ Россіи", вып. 2-й, стр. 185.

читалъ и не зналъ книги Рюккерта. Мнѣ можно бы сослаться въ этомъ случаѣ на то, что я довольно хорошо зналъ кругъ чтенія покойнаго. Мы часто говорили съ нимъ о книгахъ, показывали другъ другу свои книги, и мнѣ памятны до сихъ поръ многія его сужденія. Ни разу не слышалъ я отъ него ничего объ Рюккертѣ, и, когда дѣлалъ свое примѣчаніе, то опирался на свое собственное чтеніе. Но главное доказательство въ томъ, что въ „Россіи и Европѣ" нельзя найти никакихъ слѣдовъ чтенія Рюккерта. Данилевскій обладалъ необыкновенною памятью и былъ ревностный и удивительный любитель чтенія. Любопытную книгу онъ прочитывалъ отъ первой страницы до послѣдней и испещрялъ ея поля замѣчаніями. Еслибы онъ прочелъ Рюккерта, то это какъ-нибудь отразилось бы въ „Россіи и Европѣ"; между тѣмъ, ни въ терминологіи, ни въ сопоставленіи мнѣній, ни въ формулировкѣ своихъ положеній, или дѣлаемыхъ самому себѣ возраженій,—нигдѣ не видно, чтобы писавшему „Россію и Европу" были знакомы мнѣнія Рюккерта.

III.

Типы культуры.

Книга Рюккерта представляетъ чрезвычайную сложность. Въ ней почти вовсе нѣтъ именъ лицъ и годовъ событій, но ставятся одинъ за другимъ общіе вопросы о ходѣ исторіи, о каждой ея эпохѣ, о каждомъ народѣ, о каждомъ періодѣ въ жизни народовъ. Притомъ, каж-

дый вопросъ разсматривается съ различныхъ открывающихся въ немъ сторонъ, указываются всякія связи и узлы историческихъ явленій. Если я сказалъ слишкомъ много, назвавъ эту книгу *самымъ глубокомысленнымъ* обзоромъ всемірной исторіи, то во всякомъ случаѣ, ее нужно признать *самымъ поучительнымъ* изъ такихъ обзоровъ.

Легко понять, что двѣ обширныя книги, столь богатыя содержаніемъ, какъ книга Рюккерта и „Россія и Европа", если ихъ сравнивать, должны очень ясно и многосторонне обнаруживать, есть-ли въ нихъ совпаденія, указывающія на прямое заимствованіе, или же онѣ представляютъ различіе, какое бываетъ между книгами совершенно независимыми одна отъ другой. И, дѣйствительно, для знакомаго съ ними, эта независимость—дѣло очевидное, не допускающее сомнѣнія.

Мы здѣсь ограничимся только главными пунктами, да еще нѣкоторыми частностями, на которыя указывалъ нашъ противникъ. Когда на заявленіе, что „теорія культурно-историческихъ типовъ высказана Рюккертомъ", я отвѣчалъ рѣшительнымъ отрицаніемъ, *) г-нъ Вл. Соловьевъ написалъ одну за другою статьи: „Счастливыя мысли Н. Н. Страхова", и „Нѣмецкій подлинникъ и русскій списокъ", въ которыхъ всячески отстаивалъ свое заявленіе, приводя при этомъ большія выдержки изъ Рюккерта, иныя даже въ подлинныхъ нѣмецкихъ выраженіяхъ **). И такъ, приложены были всѣ старанія,

*) См. выше, стр. 169.

**) „*Вѣстникъ Европы*", 1890, ноябрь и декабрь. Читатель найдетъ эти статьи въ книгѣ г. Соловьева „Національный вопросъ въ Россіи" (см. выпускъ 2-й, стр. 216—273).

чтобы опредѣлить отношеніе между двумя книгами, и мы не имѣемъ надобности идти дальше этихъ стараній.

Все дѣло, очевидно, сейчасъ прояснится, если мы съумѣемъ найти главную, руководящую мысль Рюккерта; тогда и будетъ видно, въ чемъ и какъ она различна отъ теоріи Данилевскаго, или сходна съ нею. Объ этой главной мысли нашъ противникъ могъ бы догадаться уже по первой выписанной имъ фразѣ Рюккерта, приводимой имъ не только по-русски, но даже отчасти по-нѣмецки, для полной точности.

Эта фраза приводится такъ:

„Исключительное понятіе о существованіи и правѣ одного единственнаго *культурнаго типа* (Culturtypus) опровергается уже самимъ опытомъ, который находитъ въ прошедшемъ и настоящемъ — и, слѣдовательно, до нѣкоторой степени, уполномочиваетъ ожидать и въ будущемъ — существованіе и независимую совмѣстность многихъ такихъ типовъ. Съ нѣкоторой высшей точки зрѣнія уже оказалось (для насъ) правомочіе *различныхъ культурныхъ типовъ* на относительно вѣчное существованіе (von einem höheren Standpunkte aus hat sich auch schon die Berechtigung verschiedener Culturtypen auf ein relativ ewiges Dasein ergeben)“. („Нац. вопр.“ стр. 216).

Переводъ этотъ требуетъ маленькихъ поправокъ. Рюккертъ задается вопросомъ, имѣетъ ли вообще человѣческая культура одинъ, или нѣсколько различныхъ типовъ? И потому слово Culturtyp лучше переводить *типъ культуры*, а не *культурный типъ*. Рюккертъ утверждаетъ возможность *различныхъ типовъ культуры*. Далѣе почему-то въ переводѣ выпущено слово *великій*;

Рюккертъ говоритъ не просто объ „одномъ единственномъ типѣ культуры", а о „нѣкоторомъ единственномъ *великомъ* типѣ культуры". Но главное мѣсто передано въ переводѣ вполнѣ вѣрно. Рюккертъ съ понятіемъ независимой культуры связываетъ право на *относительную вѣчность* ея существованія, и потому, предполагая нѣсколько различныхъ культуръ, говоритъ, что можно предполагать для нихъ „относительно-вѣчное существованіе". Это значитъ: настолько же вѣчное, насколько вѣчно человѣчество. Въ самомъ дѣлѣ, онъ продолжаетъ такъ:

„Они (т. е. типы) до тѣхъ поръ имѣютъ право существовать въ своемъ различіи, рядомъ другъ съ другомъ, пока понятіе индивидуальнаго типа владѣетъ чувственною и духовною природою человѣчества, что̀, по самому этому понятію, совпадаетъ вообще съ продолженіемъ бытія человѣчества во времени". („Нац. вопр." стр. 248).

Изъ этихъ словъ видно, что „типы культуры", о которыхъ говоритъ Рюккертъ, вовсе не то, что „культурно-историческіе типы" Данилевскаго. Каждый предполагаемый типъ Рюккерта можетъ продолжать свое существованіе въ теченіе всей жизни человѣчества, если только не будетъ насильственно разрушенъ; такъ что, вообще, типы могутъ существовать „въ своемъ различіи, рядомъ другъ съ другомъ" (nebeneinander, одинъ возлѣ другаго). Между тѣмъ, типы Данилевскаго суть, по самому ихъ понятію, нѣчто *временное*. Они имѣютъ начало и конецъ, и существуютъ не только одновременно, но смѣняютъ другъ друга, наслѣдуютъ другъ другу и

т. д. Разница существенная и, какъ мы увидимъ, связанная съ разницею въ основномъ взглядѣ на исторію.

IV.

Главная мысль и терминологія Рюккерта.

Главная мысль Рюккерта совершенно опредѣленно формулирована имъ въ слѣдующемъ мѣстѣ:

„Логически возможно (begriffmässig möglich), что многіе культурные ряды (Culturreihen) независимо другъ отъ друга, въ одно и то же время, но въ различныхъ мѣстахъ, индивидуализируютъ совокупную жизнь историческаго человѣчества, хотя логически (begriffmässig) не исключена и другая возможность, именно, что эти различные независимые культурные ряды предназначены войти когда-нибудь въ взаимодѣйствіе ради всеобщей задачи человѣчества". („Нац. вопр." стр. 242).

Вотъ мысль Рюккерта. Онъ опирается на томъ вѣрномъ основаніи, что историческое развитіе не совершается по какому-нибудь общему отвлеченному порядку, а всегда имѣетъ нѣкоторыя конкретныя, индивидуальныя формы, „индивидуализируется". Отсюда онъ выводитъ, что возможно существованіе нѣсколькихъ различныхъ культуръ, что̀ совершенно справедливо. Но далѣе Рюккертъ дѣлаетъ предположеніе, которое, мы думаемъ, уже не вытекаетъ съ полной необходимостью изъ общихъ началъ. Именно, онъ предполагаетъ возможнымъ, что, въ самомъ началѣ исторіи, въ человѣчествѣ, въ одно время, или въ нѣкорый періодъ времени,

но въ разныхъ мѣстахъ, возникли различныя культуры и что развитіе этихъ культуръ, если только не прерывается насильственно, идетъ и будетъ идти до конца исторіи, образуя такимъ образомъ нѣсколько *культурныхъ рядовъ*, совокупность которыхъ и обнимаетъ всю жизнь человѣчества. По мнѣнію Рюккерта, факты исторіи могутъ быть согласованы съ такимъ предположеніемъ, но остается еще вопросъ о *будущемъ*. Можетъ быть, ряды останутся независимыми до конца, а можетъ быть и то, что они „войдутъ въ взаимодѣйствіе ради всеобщей задачи человѣчества". Что̀ будетъ, первое, или второе?

„Для подтвержденія перваго предположенія", — говоритъ Рюккертъ, — „историческій опытъ даетъ намъ тотъ очевидный фактъ, имѣющій силу даже до настоящаго времени, что рядомъ съ общимъ европейски-христіанскимъ культурнымъ міромъ существуетъ другой, въ своемъ родѣ столь же имѣющій право на бытіе, на востокѣ Азіи, въ Китаѣ и Японіи, міръ, который до сихъ поръ съ первымъ находится лишь во внѣшней, при томъ очень слабой связи, такъ что до сихъ поръ не происходило никакого органическаго взаимодѣйствія этихъ двухъ культурныхъ міровъ, хотя и могутъ быть уже указаны пункты, предназначенные въ будущемъ, какъ желательно было бы вѣрить, для зачатковъ такого взаимодѣйствія".

Это мѣсто Рюккерта мы взяли уже не изъ „Національнаго вопроса", а перевели сами со всевозможной тщательностью. Дѣло въ томъ, что переводъ того же мѣста, помѣщенный въ „Національномъ вопросѣ", пред-

ставляетъ странныя отступленія отъ подлинника. Вотъ этотъ переводъ (для ясности мы подчеркнемъ слова, на которыя хотимъ обратить вниманіе):

„Въ пользу перваго предположенія, то-есть въ подтвержденіе *окончательной раздѣльности и независимости культурно-историческихъ типовъ и рядовъ развитія*, историческій опытъ *не только въ прошедшемъ, но и нынѣ*, поучаетъ насъ посредствомъ того очевиднаго факта, что, рядомъ съ общеевропейскимъ культурнымъ міромъ въ восточной Азіи, въ Китаѣ и Японіи, существуетъ другая культура, въ своемъ родѣ столь же правомочная (in ihrer Art eben so berechtigte) и доселѣ находящаяся съ нашей лишь во внѣшней, и къ тому же крайне недостаточной связи, безъ какого бы то ни было органическаго взаимодѣйствія этихъ двухъ культурныхъ міровъ (хотя бы мы и были готовы охотно вѣрить, что зачаточные пункты такого грядущаго взаимодѣйствія и могутъ быть указаны“ [1]).

Изъ такого перевода читатель долженъ непремѣнно заключить, что, по Рюккерту, историческій опытъ, *не только въ прошедшемъ, но и нынѣ*, доказываетъ *окончательную раздѣльность и независимость культурно-историческихъ типовъ и рядовъ развитія*. Это очень похоже на Данилевскаго. Между тѣмъ—удивительное дѣло! Подчеркнутыхъ словъ, какъ видятъ теперь читатели, нѣтъ въ текстѣ Рюккерта; слова эти *вставлены* переводчикомъ, какъ будто для поясненія текста, но въ сущности для того, чтобы придать ему другой смыслъ.

---

[1]) «Нац. Вопр.». Вып. 2, стр. 243.

Рюккертъ не хотѣлъ говорить о томъ, что и въ прошедшемъ *были и прошли* какіе-то независимые типы культуры, а хотѣлъ, какъ на полный примѣръ своей мысли, указать на независимую культуру Китая, которая *и нынѣ* остается независимою, какъ была отъ начала.

Рюккертъ не говорилъ о *культурно-историческихъ типахъ*; этого выраженія онъ не употребляетъ; это терминъ Данилевскаго. Не позволительно, вообще, терминъ одного писателя приписать другому; но взять терминъ Данилевскаго и вставить его въ самый текстъ Рюккерта,—это переходитъ всякія границы. Дѣло тутъ не въ словахъ, а въ смыслѣ, который съ ними соединяется. У Рюккерта, въ его общихъ разсужденіяхъ о культурахъ (Bd. I, стр. 92—97) употребляется и слово *культурно-историческій* (3 раза) и слово *типъ* (20 разъ); это сосчиталъ и подробно выставилъ авторъ „Національнаго вопроса“ (стр. 217); онъ могъ бы, впрочемъ, почти съ такимъ же успѣхомъ найти эти слова въ любой исторической книгѣ. Но термина *культурно-историческій типъ* онъ не нашелъ у Рюккерта, и еслибы нашелъ въ какой-нибудь другой книгѣ, то едва-ли бы въ томъ смыслѣ, который придается Данилевскимъ этому сочетанію обыкновенныхъ словъ. Данилевскій разумѣлъ подъ такимъ типомъ нѣчто вполнѣ *временное*, какъ бы культурный организмъ, постепенно развивающійся, потомъ расцвѣтающій въ полной силѣ и наконецъ склоняющійся съ смерти.

Какъ мы видѣли, мысль Рюккерта другая. Онъ говорилъ о *культурныхъ рядахъ*, которые идутъ отъ начала

исторіи человѣчества до самаго ея конца. Переводчикъ до такой степени этого не понялъ, что, вставляя въ текстъ Рюккерта слова, которыхъ тотъ не писалъ, поставилъ: *культурно-историческіе типы и ряды развитія*. И типы, и ряды! Какъ-будто Рюккертъ признаетъ и типы, и ряды, и при томъ ставитъ ихъ на одну линію!

V.

Упреки и предубѣжденія.

Пусть не подумаетъ читатель, что я хочу обвинить моего противника въ завѣдомой и злостной фальши. До сихъ поръ помню мое изумленіе и досаду, когда на изящныхъ страницахъ „Вѣстника Европы" я прочиталъ крупнымъ шрифтомъ напечатанную фразу изъ Рюккерта, въ которой говорилось о *культурно-историческихъ типахъ*. Какъ же я не досмотрѣлъ?—думалъ я. Мнѣ сперва и въ голову не приходило, чтобы тутъ могла быть неточность. А между тѣмъ, вотъ что оказалось! Не неточность, а прямая вставка. Но обвинять въ завѣдомой фальши я все-таки не хочу. Какъ знать, что̀ дѣлается иной разъ въ душѣ человѣка? Попробуемъ лучше объяснить дѣло наиболѣе невиннымъ образомъ. Мой противникъ, очевидно, не вникъ въ мысль Рюккерта. Вѣдь онъ самъ приводитъ положенія Рюккерта, въ которыхъ выражена эта мысль, и однако ея не видитъ. Ему такъ сильно хотѣлось найти у Рюккерта теорію Данилевскаго, что это мѣшало ему понимать текстъ Рюккерта, и когда ему показалось нужнымъ, для

поясненія тяжело написаннаго текста, вставить нѣсколько добавочныхъ словъ, онъ, вмѣстѣ съ терминомъ Рюккерта, поставилъ рядомъ и терминъ Данилевскаго. А потомъ уже смѣло пишетъ: „основная идея культурно-историческихъ типовъ принадлежитъ Рюккерту“ (стр. 260) и т. д.

И такъ, пожалуй, дѣло и не было умышленное. Но, мнѣ кажется, я имѣю право сдѣлать моему противнику другой упрекъ. Къ чему онъ свелъ нашъ споръ? Зачѣмъ было пускаться въ разсужденія объ Рюккертѣ? Положимъ, я слишкомъ рѣзко отрицалъ заявленіе о подражательности Данилевскаго. Но зачѣмъ же было останавливаться на этихъ двухъ-трехъ рѣзкихъ и голословныхъ строчкахъ? Вѣдь если бы меня можно было уличить даже въ самыхъ нелѣпыхъ ошибкахъ и неправдахъ, то отсюда еще ровно ничего не слѣдовало бы относительно книги „Россія и Европа“; вѣдь если бы можно было доказать, что мысли этой книги всѣ заимствованы изъ Рюккерта, то это, однако, ничуть не мѣшало бы теоріи культурно-историческихъ типовъ быть вѣрной и глубокой теоріею. Вопросъ шелъ о пониманіи всемірной исторіи, о значеніи славянскаго племени, объ отношеніяхъ между культурою и религіею, между нравственностью и политикою и т. д. Зачѣмъ же мой противникъ не отвѣчалъ мнѣ на мои разсужденія объ этихъ вопросахъ, а приналегъ на „счастливыя мысли Н. Н. Страхова“, то-есть на мои будто-бы забавные промахи, а потомъ на доказательство, что будто бы Рюккертъ былъ *подлинникомъ*, а книга Данилевскаго только *спискомъ*?

Вѣдь это значитъ—дѣлать нападенія на что попало, съ какой попало стороны, а не съ главной стороны дѣла; это значитъ—отыскивать какія бы то ни было слабыя мѣста противниковъ и напирать на эти мѣста какъ можно громче; это значитъ—не опровергать самаго ученія, о которомъ идетъ споръ, а только стараться подорвать авторитетъ защитниковъ этого ученія; это значитъ—не заботиться о разъясненіи вопроса, а добиваться только кажущейся побѣды, только того, чтобы оказаться побѣдителемъ въ глазахъ такихъ читателей, которые не вникаютъ, да и не желаютъ вникать въ самое дѣло. Словомъ, это значитъ вести себя не какъ изслѣдователь, а какъ зарвавшійся публицистъ, бьющійся изъ-за немедленнаго успѣха. Едва-ли мой противникъ не знаетъ, что̀ онъ дѣлаетъ; но если не знаетъ, то я считаю себя въ нѣкоторомъ правѣ высказать ему это. Вѣдь мнѣ приходится расхлебывать кашу, которую онъ завариваетъ.

Авторитетъ Данилевскаго старались подорвать съ разныхъ сторонъ. Натуралисты упрекали его въ томъ, что онъ написалъ „Россію и Европу". Это совершенно похоже на извѣстное мнѣніе, что Л. Н. Толстой не можетъ быть мыслителемъ, потому что писалъ романы. Филологи выставляли противъ Данилевскаго то, что онъ былъ натуралистъ, а не историкъ [1]). Нашъ противникъ сперва говорилъ, что теорія культурно-историческихъ типовъ есть доморощенное русское произведеніе, не

[1]) Вл. Соловьевъ съ намѣшкою говоритъ: „очевидно Данилевскій въ качествѣ натуралиста былъ компетентентъ въ исторической наукѣ" (Вып. 2-й, стр. 252).

имѣющее ничего общаго съ европейскою наукою, а теперь утверждаетъ, что эта теорія цѣликомъ взята изъ Рюккерта. И въ томъ и въ другомъ случаѣ позоръ для автора „Россіи и Европы“ будто бы несомнѣнный. Наконецъ тотъ же Вл. Соловьевъ настаиваетъ на невѣжествѣ Данилевскаго въ исторіи и указываетъ на строчку, гдѣ упомянуты финикіяне, и на страницу, гдѣ, будто бы по незнанію, умалчивается о Филонѣ іудеѣ. Словомъ, съ какой стороны ни возьмите, Данилевскій никуда не годится. Откуда уже ясно слѣдуетъ, что и теорія, которую онъ предложилъ, не стоитъ вниманія.

Всѣ эти резоны, хотя ничуть не касаются существа дѣла, то-есть вопроса о всемірной исторіи, имѣютъ однакоже свое значеніе, иначе они бы и не были высказаны. Источникъ ихъ есть предубѣжденіе, питаемое критиками и разсѣваемое ими въ публикѣ. Отвѣчать на эти резоны, исписывая для того множество страницъ, намъ кажется безполезнымъ трудомъ: и противъ насъ будетъ говорить такое же предубѣжденіе. Тутъ одинъ выходъ, одно средство: пусть читатели возьмутъ самыя книги Данилевскаго и вникнутъ въ нихъ. Тогда они убѣдятся, что „Дарвинизмъ“ писанъ отличнымъ натуралистомъ и „Россія и Европа“ остроумнымъ и точнымъ мыслителемъ. Что же касается до свѣдѣній Данилевскаго въ исторіи, то во всякомъ случаѣ полагаю, что они были обширнѣе и основательнѣе, чѣмъ свѣдѣнія г. Вл. Соловьева. Таково мое предубѣжденіе, если ужь пошло дѣло на предубѣжденія.

VI.

Рюккертова «единая нить» въ исторіи.

Не ради спора, а ради интереса самаго вопроса, остановимся еще нѣсколько на взглядахъ Рюккерта.

Полное заглавіе его книги слѣдующее: „Учебная книга всеобщей исторіи въ *органическомъ изложеніи*". Что̀ такое органическое изложеніе, онъ объясняетъ въ предисловіи. „Въ предлагаемой книгѣ", — говоритъ онъ,—„сдѣлана попытка изложить весь совокупный матеріалъ историческаго развитія человѣчества, какъ нѣчто органически единое" (Vorr. III). И дальше: „предлагаемая книга разсматриваетъ все, о чемъ говоритъ, какъ нѣчто органически единое въ отношеніи къ общей идеѣ человѣчества и исторіи" (Vorr. IV).

И такъ, мысль о единствѣ, о связи всѣхъ историческихъ явленій въ нѣкоторое цѣлое господствуетъ въ книгѣ. Объединеніе получается посредствомъ понятія *культуры*, подъ которымъ Рюккертъ разумѣетъ „всецѣлый объемъ явленій, въ которыхъ выражается самостоятельность и своеобразіе высшаго человѣческаго задатка". „Дѣло идетъ здѣсь именно о томъ, чтобы показать, какъ понятіе высшаго человѣческаго бытія всесторонне развивалось вслѣдствіе работы исторіи и въ какомъ отношеніи каждая отдѣльная сторона исторической дѣятельности человѣчества находится къ его принципіальной задачѣ" (стр. III).

Эту „принципіальную задачу" Рюккертъ и старается опредѣлить въ одной изъ начальныхъ главъ, носящей названіе: *Цѣль исторіи* (стр. 49—54), разумѣя тутъ

не науку исторіи, а самый процессъ, совершающійся въ человѣчествѣ.

„Мысль о нѣкоторой общей для всего человѣчества цѣли, или общей задачѣ“,—говоритъ онъ,—„не есть лишь отвлеченное предположеніе, выводимое изъ понятія единства человѣческаго организма, но вмѣстѣ—моментъ фактической исторіи, лежащій въ основѣ всѣхъ ея отдѣльныхъ явленій“ (стр. 50).

Эту общую цѣль Рюккертъ опредѣляетъ какъ „свободу духа“, то-есть не только побѣду надъ природой, но вообще примиреніе понятій свободы и необходимости, „когда все, что̀ познается какъ необходимость, въ то же время, такъ какъ оно есть произведеніе объективнаго разума, понимается и какъ свобода“ (стр. 52).

Какъ бы то ни было, но, принявши единую цѣль, мы должны всякое культурное развитіе разсматривать какъ движеніе къ этой цѣли. Это движеніе совершается по нѣкоторымъ законамъ, проходитъ опредѣленныя ступени; а изученіе этихъ законовъ и ступеней по самымъ фактамъ и составляетъ предметъ исторіи.

И такъ, человѣческая культура представляетъ на протяженіи времени нѣкоторый *рядъ* фазисовъ, идущій по извѣстному направленію отъ начала исторіи до нашихъ дней. Поэтому, когда Рюккертъ сталъ разбирать возможность различныхъ типовъ культуры, то онъ также предположилъ, что каждая изъ этихъ особыхъ культуръ должна образовать такой рядъ, и главу объ этомъ вопросѣ (первую главу второго отдѣла) такъ и назвалъ: *Отношеніе различныхъ культурныхъ рядовъ между собою*

(стр. 92—97). Вотъ его главный терминъ: *культурные ряды*, и вотъ значеніе этого термина.

Переводъ этой главы сплошь и почти цѣликомъ г. Вл. Соловьевъ помѣстилъ въ своемъ „Національномъ вопросѣ" (стр. 242—250 и стр. 254—255), увлекаясь мыслью, что тутъ видно сходство съ Данилевскимъ, и не замѣчая того различія во взглядахъ, которое тутъ обнаруживается, какъ это мы показали выше.

Сплошь переведена эта глава у нашего противника, но онъ вдругъ остановился на самомъ интересномъ мѣстѣ, на заключеніе главы, на послѣднихъ строкахъ, гдѣ всего яснѣе высказанъ смыслъ главы и указано рѣшеніе, къ которому пришелъ Рюккертъ. Этого заключенія не перевелъ нашъ противникъ, и мы переведемъ его сами. Оно состоитъ въ слѣдующемъ:

„Если сравнивать содержаніе различныхъ моментовъ развитія въ томъ или другомъ ряду, то различіе между рядами повсюду бросается въ глаза. Не говоря о различныхъ формахъ отдѣльныхъ историческихъ образованій (Bildungen) въ томъ или другомъ ряду, мы находимъ въ особенности два существенныхъ пункта, въ которыхъ обнаруживается превосходство одного историческаго ряда надъ всѣми другими. Первый пунктъ тотъ, что въ этомъ ряду идеальные моменты или степени, хотя они и тутъ свой относительный перевѣсъ надъ другими историческими моментами получили только по завершеніи нѣкоторой фазы развитія, имѣвшей существенно матеріальное содержаніе, сумѣли, однако, не только разъ достигнуть этого перевѣса, но и удержать его на всѣ времена; второй пунктъ тотъ, что сами эти

отдѣльные великіе моменты развитія, какъ матеріальные, такъ и идеальные, въ этомъ ряду существуютъ и дѣйствуютъ (wirksam sind), какъ вѣчно-живые организмы, то-есть, при безконечной смѣнѣ формъ способны къ вѣчному сохраненію своей сущности и своей индивидуальной одушевленности. Духъ какъ духъ здѣсь не только гораздо энергичнѣе возобладалъ надъ веществомъ, но и сумѣлъ здѣсь гораздо лучше, чѣмъ въ другихъ рядахъ, сохранить внутреннѣйшее зерно своего существа,—вѣчную подвижность.

„И такъ, никакъ не по эгоистической ограниченности или по наивной близорукости, мы смотримъ на развивающійся рядъ той культуры, въ которой живемъ, какъ на главную нить исторіи культуры, а на всѣ другіе ряды, какъ на подчиненные ему по самому понятію дѣла, и сообразно съ этимъ поступаемъ и въ нашемъ изложеніи“ [1]).

И такъ, Рюккертъ, хотя и обратилъ вниманіе на разнородныя культуры и образуемые ими „культурные ряды“, однакоже стремился къ полному объединенію всей исторіи и достигъ его посредствомъ того, что одному ряду отдалъ огромное предпочтеніе предъ другими. Та культура, въ которой жилъ самъ Рюккертъ, *западно-европейская* культура, какъ онъ ее называетъ въ ея послѣднихъ фазисахъ, составляетъ, по его мнѣнію, *главную нить* въ исторіи, которой должно быть подчинено все остальное, ибо въ ней, говоря его словами, наиполнѣе осуществляется стремленіе къ „высшему человѣческому

---

[1]) Стр. 97.

бытію". Поэтому, вся книга Рюккерта изложена сообразно съ этой нитью, и мысль о другихъ культурныхъ рядахъ играетъ въ его изложеніи совершенно второстепенную роль. Только кончивши весь свой многосложный обзоръ всемірной исторіи, онъ вспомнилъ о другихъ независиыхъ культурахъ и написалъ къ своей книгѣ *Прибавленіе*, гдѣ кратко говоритъ „о развитіи и содержаніи различныхъ культурныхъ сферъ (Culturkreise), которыя до сихъ поръ сохранили самостоятельность рядомъ съ европейски-христіанскою сферою". Такихъ сферъ онъ насчитываетъ три: 1) арабская, или сфера ислама, 2) индійская и 3) китайская [1]). Онъ дѣлаетъ краткій очеркъ ихъ исторіи и разсуждаетъ о возможной ихъ будущности, причемъ въ недоумѣніи останавливается надъ вопросомъ, могутъ ли онѣ войти и какъ войдутъ въ общее русло исторіи (Bd. II, стр. 840—910).

Вообще, впрочемъ, замѣтимъ, что Рюккерту едва-ли можно приписать особую теорію, строго опредѣленный и своеобразный взглядъ на исторію. Мысль его расплывается въ своей многосторонности, составляющей и ея силу и ея слабость.

---

[1]) Теперь читатель видитъ, что мои слова: «Рюккертъ не только не положилъ этой мысли въ основаніе своего обзора, а говоритъ о ней лишь въ прибавленіи ко всему сочиненію» — очень не точны. Нужно бы сказать: «а говоритъ объ ней лишь въ началѣ своего сочиненія и прилагаетъ ее къ фактамъ исторіи только въ «Прибавленіи», въ концѣ второго тома».

VII.

Искусственная и естественная системы.

Теперь можно ясно видѣть различіе между системами исторіи Рюккерта и Данилевскаго. Употребляя терминологію Данилевскаго, мы должны сказать, что теорія Рюккерта представляетъ нѣкоторую *искусственную систему* предметовъ, тогда какъ теорія Данилевскаго есть *система естественная*, въ установленіи которой состояло все стремленіе автора „Россіи и Европы", и на что было указано мною при первомъ появленіи этой книги.

Искусственность Рюккерта заключается въ томъ, что онъ заранѣе предполагаетъ *органическое единство* въ исторіи, заранѣе опредѣляетъ и ея *цѣль*, то понятіе „высшаго человѣческаго существованія", которое онъ себѣ составилъ, и ея средство—*культуру*, и то направленіе, по которому должно идти движеніе этой культуры. Поэтому онъ, несмотря на свои старанія держаться фактовъ, несмотря на разсужденія о различныхъ типахъ культуры, пришелъ-таки къ тому, что призналъ нѣкоторую *главную нить* въ исторіи и расположилъ по этой нити все свое изложеніе фактовъ. Какъ видно, отвлеченныя понятія такъ сильны въ нѣмецкихъ умахъ, что мѣшаютъ имъ видѣть предметы вполнѣ ясно. Н. Я. Данилевскій въ той самой книгѣ, о которой идетъ рѣчь, указываетъ на замѣчательный фактъ, что нѣмцы *ни одной науки не ввели въ періодъ*

естественной системы [1]). Такъ и Рюккертъ не успѣлъ ввести эту систему въ науку исторіи.

Естественная система, какъ она выработана въ ботаникѣ Линнеемъ и Жюссье, а въ зоологіи Кювье, не задается какими-нибудь общими понятіями о предметахъ своего изслѣдованія, а беретъ эти предметы во всемъ разнообразіи ихъ существованія и постепенно образуетъ изъ нихъ группы, пользуясь всѣмъ, что только указываетъ на ихъ раздѣльность, и ища въ этихъ наблюденіяхъ и самыхъ тѣхъ принциповъ, на которыхъ основано раздѣленіе этихъ группъ въ дѣйствительности. Это—самый широкій и свободный пріемъ, не дѣлающій никакого насилія порядку природы, почему его и называютъ естественной системою. Въ самомъ дѣлѣ, если бы мы вздумали подраздѣлять органическія существа сверху, распредѣлять ихъ въ заранѣе опредѣленномъ порядкѣ, то намъ, очевидно, нужно бы было знать сущность органической жизни, ея необходимыя ступени и развѣтвленія. Строгіе натуралисты отступили предъ такою безмѣрно-трудною задачей и начали дѣло съ другаго конца, стали наблюденіемъ и сравненіемъ установлять группы и развѣтвленія, существующія въ природѣ. Такъ и Данилевскій: онъ отказывается отъ опредѣленія цѣли исторіи, общей нити и существенныхъ формъ развитія человѣчества; онъ желаетъ, чтобы въ исторіи, какъ въ наблюдательной наукѣ, мы прежде всего установили естественныя дѣленія предмета. Онъ предлагаетъ свои десять культурно-историческихъ типовъ; но мы были бы

---

[1]) «Россія и Европа» стр. 164.

очень непослѣдовательны духу естественной системы, мы не понимали бы, въ чемъ тутъ дѣло, если бы не понимали, что можно предлагать поправки и перемѣны въ этомъ дѣленіи, что можно увеличить число этихъ типовъ, можно сдѣлать въ нихъ подраздѣленія, что они не имѣютъ непремѣнно равноцѣнности или равновѣсности, что и составъ и продолжительность ихъ существованія и всякое другое ихъ свойство и отношеніе могутъ быть не одинаковы. Все тутъ зависитъ отъ тщательнаго и всесторонняго изслѣдованія. Естественная система тѣмъ и хороша, что никогда не насилуетъ фактовъ, что можетъ принять въ правильную и свободную сѣть своихъ понятій всякій фактъ, какъ скоро онъ для насъ ясно обнаружился.

Самъ Данилевскій въ своей книгѣ сдѣлалъ лишь попытку характеризовать два типа, славянскій и романо-германскій. Попытка эта составляетъ главный предметъ „Россіи и Европы", но до сихъ поръ ускользаетъ отъ вниманія нашихъ ученыхъ критиковъ и историковъ.

VIII.

Развитіе взглядовъ на исторію.

Мы можемъ теперь составить себѣ общее понятіе о томъ, въ какомъ отношеніи Данилевскій стоитъ къ предшествовавшей исторической литературѣ. Историки, отъ Геродота до нашихъ дней, приступали къ своему дѣлу, конечно, не съ одинаковыми чувствами и мыслями о цѣли и смыслѣ исторіи. Ученые люди задавались часто не

простою любовью къ прошлому и желаніемъ сохранить его память, а какими-нибудь опредѣленными идеями, которыя и проводили въ своемъ разсказѣ, подгоняя подъ нихъ факты и описанія. Такимъ образомъ, у историковъ можно найти много искусственныхъ объединеній, подраздѣленій и вытягиваній въ одну линію. Но, по мѣрѣ изученія прошлыхъ событій и углубленія въ ихъ значеніе, искусственность этихъ построеній обнаруживалась, и тогда открывался естественный порядокъ фактовъ. Этотъ порядокъ не давалъ намъ прямо ключа къ общему смыслу исторіи, но онъ представлялъ твердый научный пріемъ, котораго необходимо было держаться и отъ котораго слѣдуетъ исходить, если желаемъ правильно разсуждать объ этомъ смыслѣ, гораздо болѣе таинственномъ, чѣмъ часто думаютъ.

Собственно говоря, болѣе сознательное пониманіе исторіи принадлежитъ настоящему столѣтію, тому новому періоду, который начался послѣ революціи. Человѣчество задумалось о своихъ судьбахъ только послѣ того, какъ во Франціи „галлы побѣдили франковъ", и когда сила общихъ идей встрѣтила неожиданное препятствіе въ историческихъ особенностяхъ народовъ. Если взять прошлое столѣтіе и сравнить его понятія объ исторіи съ нынѣшними, то контрастъ выходитъ поразительный. У Вольтера исторія есть сцѣпленіе случайностей, гдѣ „малыя причины производятъ великія слѣдствія" и гдѣ стóятъ вниманія лишь отдѣльныя лица. Даже у глубокомысленнаго Гердера особенности народовъ и ихъ судебъ разсматриваются, какъ нѣчто случайное, объясняемое внѣшними обстоятельствами. То

понятіе, что эти особенности составляютъ нѣчто *органическое*, что разнообразіе народовъ есть глубокій фактъ, коренящійся въ самой природѣ человѣчества, принадлежитъ нашему столѣтію и провозвѣстникомъ этого понятія нужно считать Шеллинга, который первый взглянулъ на природу вообще какъ на нѣчто развивающееся и указалъ въ человѣческомъ духѣ самый законъ развитія.

Какъ бы то ни было, для насъ теперь главное въ исторіи не случаи и лица, а народности и развитіе культуры. Всеобщую исторію мы понимаемъ, какъ *исторію народовъ*; у историковъ, писавшихъ въ нашемъ столѣтіи, мысли о человѣчествѣ въ его совокупности и объ отдѣльныхъ лицахъ независимо отъ культуры, породившей эти лица, играютъ роль все менѣе и менѣе важную, составляютъ незначительныя приставки къ главной картинѣ, изображающей индивидуальное развитіе извѣстныхъ племенъ и своеобразныхъ культурныхъ формъ, возникшихъ въ этихъ племенахъ. Поэтому можно сказать, что теорія Данилевскаго подтверждается множествомъ историческихъ нисателей, у которыхъ мы постоянно видимъ па сценѣ народы, а человѣчества никогда не видимъ. Рюккертъ въ этомъ отношеніи вполнѣ раздѣляетъ общіе пріемы историковъ и не составляетъ какого-нибудь исключенія.

Предметъ этотъ очень обширенъ и труденъ. Данилевскій въ основу каждаго типа полагаетъ особое племя, которое отдѣляется отъ другихъ племенъ особымъ языкомъ. Но что̀ значитъ особый языкъ? Чтобы представить читателямъ хоть единую ссылку на понятія, утвердившіяся уже давно въ наукѣ, мы сдѣлаемъ здѣсь вы-

держку изъ Вильгельма Гумбольдта, излагающую общее значеніе языка. Знаменитая книга *О различіи въ строеніи человѣческихъ языковъ* начинается такъ:

„Раздѣленіе человѣчества на *народы* и различіе ихъ *языковъ* непосредственно связаны между собою; но сверхъ того, они находятся еще въ связи и въ зависимости отъ нѣкотораго третьяго высшаго явленія, отъ того, что *духъ человѣческій обнаруживается* все въ новыхъ и часто болѣе высокихъ формахъ. Вотъ гдѣ раздѣленіе народовъ и различіе языковъ находитъ свою оцѣнку, а также и свое объясненіе, насколько изслѣдованіе можетъ вникать въ нихъ и постигать ихъ связь. Это многообразное по степени и виду проявленіе человѣческаго *духа*, совершавшееся въ теченіе тысячелѣтій и на всемъ протяженіи земнаго шара, есть высшая цѣль всякаго умственнаго движенія, окончательная идея, которую всемірная исторія должна стремиться ясно вывести изъ своихъ изслѣдованій. Ибо, это возвышеніе или расширеніе внутренняго бытія есть единственное, что̀ единичный человѣкъ, какъ участвующій въ немъ, можетъ признавать своей неотъемлемой собственностью, и есть то самое въ каждой націи, изъ чего, въ свою очередь, непремѣнно развиваются великія индивидуальности. Сравнительное языкознаніе, точное изслѣдованіе многообразія, съ которымъ безчисленные народы разрѣшаютъ вложенную въ нихъ, какъ въ людей, задачу образованія языка, теряетъ всякій высшій интересъ, если не примыкаетъ къ той точкѣ, въ которой языкъ связанъ съ формою *національной духовной силы*“ [1]).

---

[1]) *W. v. Humboldt*, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues etc. Berl. 1836. стр. 1.

И такъ, особый языкъ есть проявленіе особаго національнаго духа, обнаруженіе той силы, которая создала и сохраняетъ народъ, говорящій этимъ языкомъ. Всемірная исторія есть исторія этихъ проявленій, важныхъ именно потому, что въ нихъ „духъ человѣческій обнаруживается все въ новыхъ и часто болѣе высокихъ формахъ", что тутъ происходитъ нѣкоторое „возвышеніе или расширеніе внутренняго бытія".

IX.

Единство человѣчества.

Но, какъ бы различны ни были народы, какъ бы своеобразны ни были ихъ духовныя проявленія, неужели мы должны оставить всякую мысль объ „единствѣ человѣческаго рода" и о „всемірной культурѣ"? Вѣдь кажется ясно, что человѣчество, вообще говоря, движется впередъ; вѣдь мы постоянно видимъ, что культурныя вліянія распространяются по всему свѣту, возвышая и облегчая жизнь людей. Почему же намъ не думать, что исторія имѣетъ опредѣленную цѣль, — нѣкоторое благо всего человѣчества, и что въ фактахъ исторіи можно отыскать красную нить, ведущую къ этой цѣли?

„Прелестная мечта всемірнаго согласія и братства, столь милая душамъ нѣжнымъ,—для чего ты была всегда мечтою?" говорилъ Карамзинъ.

Было бы великимъ бездушіемъ, если бы мы не задумывались надъ этими вопросами, еслибы не пытались

дѣйствуетъ непосредственно ни въ какомъ историческомъ явленіи, тѣмъ не менѣе обнаруживаетъ свою совершенную реальность въ общемъ ходѣ всемірной исторіи. А что органами человѣчества являются живыя и относительно-самостоятельныя существа, то вѣдь и пальцы г. Страхова не вовсе лишены жизни и раздѣльности, и абсолютной разницы тутъ нѣтъ" [1]).

Думаю, что трудно найти разсужденіе болѣе ошибочное и болѣе фантастическое, чѣмъ приведенныя строки. Выходитъ, что человѣчество есть какой-то единый организмъ, что всѣ части его такъ же подчинены его волѣ, какъ пальцы подчинены волѣ отдѣльнаго человѣка, что всѣ дѣйствія частей человѣчества, и также, конечно, ихъ мысли и чувства, только кажутся принадлежащими этимъ частямъ, а на самомъ дѣлѣ суть дѣйствія, мысли и чувства единаго человѣчества, составляющаго ихъ субъектъ въ томъ же смыслѣ, въ какомъ каждый изъ насъ—субъектомъ своихъ мыслей, чувствъ и дѣйствій считаетъ свое *я*. Г-нъ Соловьевъ думаетъ достигнуть величайшей наглядности и убѣдительности, обращаясь, наконецъ, прямо ко мнѣ, пишущему эти строки, и указывая мнѣ, что, какъ я пишу моими пальцами, такъ, въ сущности, мною пишетъ человѣчество! Такъ вѣдь это выходитъ по точному смыслу его словъ.

Странныя и совершенно ненужныя мысли. Мы вовсе не живемъ въ подчиненіи единому невидимому человѣчеству и не знаемъ этого новаго кумира. Правда,

---

[1]) «Нац. вопр.». Выпускъ 2-й, стр. 271.

благочестивые люди часто прямо говорили, что есть слова и дѣйствія, которыя внушаются имъ свыше. Да и каждый человѣкъ долженъ бы сознавать, что источникъ его жизни не въ немъ самомъ, что таинственно возникаютъ въ немъ и развиваются стремленія къ добру и истинѣ. Но при этихъ мысляхъ мы обращаемъ свой умственный взоръ не къ единому человѣчеству, а къ Тому, въ комъ дѣйствительно содержится средоточіе всего существующаго, къ Тому, въ комъ дѣйствительно „мы живемъ, движемся и существуемъ“.

X.

Единая культура.

Намъ возразятъ, что на этомъ остановиться, однакоже, невозможно. Пусть, скажутъ намъ, человѣчество до сихъ поръ не имѣло и теперь не имѣетъ единства; но намъ слѣдуетъ желать этого единства и стремиться къ нему всѣми силами. Пусть намъ трудно уразумѣть общую цѣль исторіи; но намъ слѣдуетъ всячески пытаться установить ее, чтобы мы знали, къ чему направлять свои усилія. Положимъ, теперь нѣтъ единства и цѣль неизвѣстна; но наша обязанность—поставить цѣль и создать единство.

Такъ и понимаютъ дѣло многіе историки, въ особенности нѣмцы. Утверждая, подобно Рюккерту, что исторія есть поцессъ, ведущій насъ къ „высшему человѣческому существованію“, они говорятъ, что средство для этого есть культура, что исторія въ сущности есть

исторія культуры, и что объединеніе людей несомнѣнно совершится тогда, когда человѣчество достигнетъ „одной всемірной культуры". Такимъ образомъ, *культура*—вотъ великое божество, поклоненіе которому незамѣтно вошло въ наши мысли и составляетъ скрытую пружину самоотверженныхъ трудовъ, пламенныхъ восторговъ, гордости и униженія, любви и ненависти. Для многихъ только культура есть истинное право на званіе человѣка.

Понятно, что для такихъ поклонниковъ очень противна мысль о разнородныхъ культурахъ, и они невольно и упорно избѣгаютъ проведенія этой мысли до конца. Прежде всего потому, что изъ нея очевидно слѣдуетъ *пониженіе значенія культуры*. Такъ защитники какой-нибудь религіи часто смущаются фактомъ существованія другихъ исповѣданій и не хотятъ признать ихъ за религіи.

Какъ только мы признаемъ, что существуетъ и всегда существовали разнородныя культуры, то мы поймемъ, что никакая особая культура не можетъ быть высшею цѣлью человѣческой дѣятельности. Это мы, впрочемъ, должны бы хорошо знать и безъ того, потому что у насъ всегда бываютъ цѣли и стремленія, которыя мы ставимъ выше всякой культуры и всякой исторіи. Мы любимъ и уважаемъ людей не по ихъ національности, не по исторіи, къ которой они принадлежатъ, не по культурѣ, которой достигли, а по другимъ, болѣе глубокимъ основаніямъ. Мы дѣйствуемъ и ставимъ себѣ правила дѣйствій, справляясь не съ исторіею, а со своею совѣстью.

Что Данилевскій имѣлъ въ виду этотъ общій результатъ, желалъ отнять у культуры ея верховное значеніе, это ясно уже изъ его характеристики европейской культуры и изъ борьбы съ „европейничаніемъ". Если культура есть цѣль исторіи, то не правы ли будутъ тѣ русскіе юноши, которые стремятся въ Берлинъ, Парижъ, Лондонъ, какъ въ тѣ мѣста, гдѣ могутъ достигнуть высшихъ понятій и вкусовъ? Когда-то Герценъ, очутившись въ Парижѣ, искренно и вѣрно называлъ себя „благочестивымъ пилигримомъ сѣвера", пришедшимъ поклониться величайшей святынѣ міра. Точно также, онъ очень хорошо выразился, говоря, что потомъ пересталъ вѣрить въ „единую спасающую цивилизацію". Культура, дѣйствительно, имѣла и имѣетъ свою религію.

Что Данилевскій ясно видѣлъ ту сферу, въ которой мы становимся выше культуры и исторіи, — онъ выразилъ очень опредѣленно. Книга его есть проповѣдь Славянства, какъ особаго культурнаго типа, и содержитъ всякаго рода соображенія, ведущія къ возможности культурнаго развитія и объединенія славянъ. Но этой цѣли онъ не даетъ верховнаго значенія. „Для всякаго славянина", говоритъ онъ, „послѣ Бога и его святой церкви, — идея славянства должна быть высшею идеею" [1]).

Богъ и его святая церковь — вотъ что̀ выше всего для человѣка, твердо держащагося православія. Если мы обобщимъ, то должны будемъ сказать, что религіозная и нравственная область стоитъ для всякаго человѣка выше исторіи, культуры и всякой политики. Исторія

---

[1]) *Россія и Европа*, стр. 133.

есть дѣло земное, временное; а мы всегда носимъ въ себѣ позывы къ небесному, вѣчному. Мы живемъ въ этомъ всегдашнемъ противорѣчіи нашихъ стремленій. Для человѣка, ищущаго спасенія своей души, для того, кто глубоко погруженъ въ вопросы нравственности, исторія исчезаетъ или является не въ томъ видѣ, какъ обыкновенно. Вспомните Руссо, писавшаго о томъ, что успѣхи наукъ и искусствъ не содѣйствовали улучшенію нравовъ. Вспомните, что для Шопенгауэра исторія почти такъ же не имѣла значенія, какъ для древнихъ индусовъ, которые, по отвлеченно-религіозному характеру своего ума, не придавали никакой важности частнымъ событіямъ, такъ что въ ихъ богатой литературѣ не существуетъ никакой исторіи. Наконецъ вспомните недавнія сужденія Л. Н. Толстого, съ такою силою говорившаго противъ современной культуры. Когда мы ищемъ Бога, то всегда въ той или другой степени отрекаемся отъ міра.

Противникъ теоріи Данилевскаго, г. Вл. Соловьевъ усердно писалъ о соединеніи церквей. Вотъ мысль совершенно опредѣленная и не заключающая въ себѣ внутренняго противорѣчія. Можно представить себѣ, что весь міръ исповѣдуетъ одну религію; тогда человѣчество было бы объединено этою религіею, точно такъ, какъ нынѣ католики всего міра объединены своимъ католицизмомъ. Но для такихъ надеждъ развѣ есть какая-нибудь надобность воображать, что человѣчество составляетъ какой-то цѣльный организмъ, или же упорно настаивать, что не существуетъ разнородныхъ культуръ? Съ религіею, очевидно, даже вовсе несовмѣстно подоб-

ное поклоненіе единому человѣчеству и единой культурѣ.

XI.

«Національный вопросъ въ Россіи».

Теперь мы могли бы кончить нашу рѣчь. Но было бы странно, если бы мы не сказали хоть нѣсколько словъ о названной выше книгѣ нашего противника; вѣдь въ этой книгѣ высказана та основная мысль, или лучше то основное настроеніе, которое побудило автора къ спору и къ тому, что онъ наконецъ схватился и за Рюккерта.

Источникомъ всего дѣла, очевидно, была мысль о соединеніи церквей. Сильнѣйшее препятствіе къ такому соединенію авторъ усмотрѣлъ въ „національной исключительности", которою будто бы заражены наши образованные и управляющіе классы. Нужно было бороться съ этимъ направленіемъ, разрушать всякую вѣру въ самобытныя начала русской жизни. Но сильнѣйшею поддержкой этой вѣры оказалась литературная школа славянофиловъ, къ которой причислялъ себя и самъ авторъ. Нужно было отказаться отъ этой школы и употребить всякія усилія, чтобы уронить ея значеніе. Но наибольшимъ успѣхомъ изъ славянофильскихъ писателей пользовалась книга Данилевскаго. Нужно было сколько возможно подорвать авторитетъ этой книги. Такъ мы и дошли до Рюккерта.

Вотъ цѣли „Національнаго вопроса", его внутренняя логика, сводящая все дѣло къ отрицательной, или пожалуй порицательной задачѣ. Очевидно, это путь не прямой, и притомъ очень опасный. Мы часто забываемъ, что, какъ говоритъ пословица, *чужими грѣхами святъ не будешь.* Пусть наши противники чернѣе сажи; изъ этого не слѣдуетъ еще, что мы сами очень бѣлы, и что наше дѣло правое. Положительный и твердый путь, который предлежалъ нашему автору, казалось бы, былъ ясенъ. Именно, можно было пытаться идти дальше славянофильства, ничуть не отвергая началъ этой школы, а только доказывая, что послѣдовательное ихъ развитіе ведетъ въ той же мысли—къ соединенію церквей. Развѣ славянофилы были противъ соединенія? Они только утверждали, что западное христіанство должно преклониться передъ восточнымъ, тогда какъ нашъ авторъ склоненъ думать наоборотъ, что востокъ долженъ смириться передъ западомъ.

Въ началѣ нашъ авторъ и шелъ по вѣрному пути, то-есть полагалъ славянофильство въ основаніе своихъ соображеній. Но потомъ дѣло приняло тотъ оборотъ, который мы указали. Къ удивленію, онъ помѣстилъ въ своей книгѣ, въ началѣ, и тѣ статьи, которыя писаны еще въ славянофильскомъ духѣ, тогда какъ вся остальная книга состоитъ сплошь изъ полемики противъ старыхъ и новыхъ славянофиловъ. Отсюда произошло множество противорѣчій.

Такъ, напримѣръ, сперва авторъ говорилъ: „Восточный вопросъ есть споръ перваго, западнаго Рима со вторымъ, восточнымъ Римомъ, политическое представи-

тельство котораго еще XV вѣкѣ перешло къ третьему Риму—Россіи“.

„Не случайно, однако, второй Римъ палъ, и власть Востока перешла къ третьему. Долженъ ли этотъ третій Римъ быть только повтореніемъ Византіи?“ и пр. (Выпускъ I, стр. 20).

А потомъ, въ той же книгѣ сказано:

„Странствующіе греческіе монахи, въ отплату за московское жалованіе, подарили Москвѣ титулъ третьяго Рима съ притязаніями на исключительное значеніе въ христіанскомъ мірѣ“. (Вып. 2-й, стр. 5).

Сперва у автора было что-то похожее на Божье соизволеніе, а потомъ это самое стало простою лестью забредшихъ въ Москву лукавыхъ грековъ!

Еще примѣръ. Сперва авторъ говорилъ:

„Россія XVI вѣка, крѣпкая религіознымъ чувствомъ, богатая государственнымъ смысломъ, нуждалась до крайности и во внѣшней цивилизаціи, и въ умственномъ просвѣщеніи“ (Вып. 1, стр. 36).

А потомъ эта Россія изображается такъ:

„Сложился въ Московскомъ государствѣ духовный и жизненный строй, который никакъ нельзя назвать истинно-христіанскимъ. Этотъ строй имѣлъ религіозную основу, но вся религія сводилась здѣсь исключительно къ правовѣрію и обрядовому благочестію, которыя ни на кого никакихъ нравственныхъ обязанностей не налагали. Эта формальная религіозность могла случайно соединиться въ томъ или другомъ лицѣ съ добродѣтелью, но столь же удобно мирилась и съ крайнимъ злодѣйствомъ“. Въ доказательство чего приводится Иванъ IV, будто-бы

вполнѣ мирившій свои злодѣйства съ своей рілигіозностію (Вып. 2-й, стр. 6).

Вотъ какова была эта Россія, „крѣпкая религіознымъ чувствомъ!“ Хорошо чувство!

Выпишемъ еще изъ первыхъ статей мѣсто объ человѣчествѣ:

„Что̀ такое это человѣчество? Что̀ вы подъ нимъ разумѣете, я не знаю. Я же имѣлъ въ виду вовсе не какое-то отвлеченное человѣчество, вовсе не имѣю въ виду какое-то невѣдомое общеловѣческое дѣло, а указываю на истинное и святое дѣло соединенія христіанскаго Востока съ христіанскимъ Западомъ, не на основахъ натуральнаго человѣчества, которое само есть лишь разсыпанная храмина безъ всякой нравственной солидарности и единства, а на основахъ человѣчества духовнаго, возрожденнаго подъ знаменемъ единаго истиннаго вселенскаго христіанства“ (Вып. 1, стр. 68).

Это писано тѣмъ же авторомъ и поставлено имъ въ той же книгѣ, какъ и ревностная защита единства человѣчества, образчикъ который мы привели выше.

Какъ видно, нашъ авторъ не боится противорѣчить самому себѣ; бываютъ у него даже случаи, когда, начиная свою фразу съ одной мысли, онъ уже въ концѣ этой фразы переходитъ въ мысль противоположную. При такой свободѣ въ движеніи мыслей, онъ очень затрудняетъ того, кто вздумалъ бы его оспаривать.

Полемика противъ славянофиловъ ведется преимущественно тремя способами. Во-первыхъ, часто указывается, что свои мысли они будто-бы заимствовали у европейскихъ писателей, у Борда-Демулена, Сарторіуса,

де-Местра и пр. Это пристрастіе нашего автора къ обвиненіямъ въ заимствованіи поразительно. Онъ, повидимому, не знаетъ, что такія обвиненія составлять очень легко, а доказывать какъ слѣдуетъ очень трудно. Читатели могли убѣдиться въ этомъ и изъ настоящей нашей статьи.

Во-вторыхъ, авторъ опровергаетъ славянофиловъ тѣмъ, что не вѣритъ ихъ словамъ, отвергаетъ ихъ искренность. Напримѣръ:

„Хотя славянофилы и утверждали на словахъ, что русскія начала суть вмѣстѣ съ тѣмъ и вселенскія, — на самомъ дѣлѣ они дорожили этими началами только какъ русскими“ (Вып. 2-й, стр. 85).

Это проникновеніе въ чужую душу есть пріемъ полемики, опять таки, до чрезвычайности легкій и до неприличія бездоказательный. Будто бы одно говорятъ, а другое думаютъ! Предъ такимъ судомъ какой же писатель окажется правымъ?

Въ „Національномъ вопросѣ“ есть десять превосходныхъ страницъ (Вып. 2-й, стр. 122—132), на которыхъ подлинными словами славянофиловъ, Хомякова, Кирѣевскаго, Аксакова, Самарина, излагаются высшія начала ихъ ученія. Эти страницы г. Вл. Соловьевъ не самъ составилъ, а взялъ ихъ цѣликомъ у Д. Ѳ. Самарина, и кто прочтетъ ихъ, тотъ увидитъ съ полнѣйшей ясностью, что вся *критика* г. Соловьева, всѣ его обвиненія славянофиловъ въ „исключительномъ націонализмѣ“ не имѣютъ никакихъ основаній. На первый взглядъ невозможно понять того безстрашія предъ противорѣчіями, съ которымъ авторъ помѣстилъ эти страницы въ своей книгѣ. Но онъ отдѣлывается отъ нихъ очень кратко и

очень просто. Онъ называетъ ихъ только „прекрасными заявленіями“ (стр. 122), „прекрасными словами“ (стр. 132), какъ будто говоря, что писатели должны были дать еще что-нибудь кромѣ словъ. А что̀ же именно? „Всѣ эти прекрасныя славянофильскія заявленія“,— пишетъ онъ, „*не помѣшали* славянофильству перейти *на дѣлѣ* безъ остатка въ нынѣшній антихристіанскій и безъидейный націонализмъ“. И онъ съ паѳосомъ восклицаетъ: „твоими словами сужу тебя!“

Вотъ оборотъ критики, который кажется автору побѣдоноснымъ. *Не помѣшали*! Хомяковъ, Кирѣевскій, Аксаковъ, Самаринъ, хотя и высказывали прекрасныя мысли, виноваты въ томъ, что не помѣшали всѣмъ тѣмъ глупостямъ, которыя иногда говорятся теперь. А слѣдовательно, и ученіе ихъ—только слова.

Таковъ третій пріемъ полемики, самый сильный, по мнѣнію автора, и потому господствующій въ цѣлой книгѣ. Съ славянофильствомъ приводятся въ связь и ставятся ему въ вину самыя дикія и противныя явленія народнаго эгоизма, гдѣ бы и какъ бы они ни обнаружились. При этомъ авторъ уже свободно рисуетъ порицаемое направленіе самыми черными красками. По его словамъ, у насъ теперь существуютъ люди, которые „прямо проповѣдуютъ покореніе и *уничтоженіе* чужихъ народовъ“ (Вып. 1, стр. 116). Другіе пришли къ „отрицанію всякихъ объективныхъ началъ правды и добра“ (Вып. 2, стр. 83).

„Принципіальное отрицаніе истины какъ таковой во имя національныхъ *вкусовъ*, отверженіе справедливости какъ таковой во имя національнаго своекорыстія,—это

отреченіе отъ истиннаго Бога, отъ разума и совѣсти человѣческой сдѣлалось теперь господствующимъ догматомъ нашего общественнаго мнѣнія“ (Тамъ же, стр. 87).

„Представители темныхъ силъ договорились, наконецъ, до принципіальнаго отрицанія добра, правды и всякихъ общечеловѣческихъ идеаловъ и вмѣсто имени Христа, которымъ столько злоупотребляли, откровенно клянутся именемъ Ивана Грознаго“ (Тамъ же, стр. 120).

Кажется, довольно? Понятно негодованіе противъ такого ужаснаго направленія, если только оно существуетъ, если только нашъ авторъ не слишкомъ злоупотребляетъ словомъ *принципіально;* понятно, что намъ слѣдуетъ всячески клеймить такое напрявленіе во имя правды и добра. Но я уже замѣчалъ моему противнику, что тутъ нужно быть осторожнымъ, что если дѣло идетъ о совершенно опредѣленныхъ явленіяхъ, напр. о какихъ-нибудь книгахъ, то уже нельзя довольствоваться общими фразами и восклицаніями, а нужна строгая осмотрительность. Не хорошо взводить тяжкія обвиненія на людей чистыхъ, заподозривать невинныхъ, казнить однихъ за другихъ, распускать всякую напраслину на непричастныхъ чему-либо дурному. Особенно не хорошо дѣлать такія несправедливости во имя правды, Христа и человѣчества. Не хорошо, да и не безопасно, потому что каждая книга говоритъ сама за себя и можетъ уличить насъ въ томъ, что наши нападенія злостны и не вѣрны.

Славянофиловъ не только нельзя обвинять въ низменныхъ и дикихъ явленіяхъ нашего народнаго себялюбія, а нужно восхвалять именно за то, что они стремились поднять это естественное себялюбіе до высшихъ началъ,

до какихъ только могли додуматься эти чистые и глубокообразованные люди; они стремились одухотворить нашъ патріотизмъ и очистить его отъ всего низменнаго и дикаго. Таковъ смыслъ ихъ дѣятельности, и его нельзя затемнить никакими уловками.

Большія несправедливости совершилъ авторъ „Національнаго вопроса“ и относительно книги „Россія и Европа“. Онъ нашелъ въ ней — „проповѣдь насилія и обмана“ (Вып. 2-й, стр. 205); онъ взвелъ эту вопіющую напраслину на книгу, которая проникнута чистѣйшею гуманностью, чистѣйшимъ либерализмомъ, негодованіемъ на всякое насиліе, исканіемъ истины и любовью къ правдѣ. Затемнить такое направленіе книги Н. Я. Данилевскаго тоже никакъ и никому невозможно.

13 іюля 1894.

Ясная Поляна.

VIII.

ЗЛОДѢЙСТВА ОСОБАГО РОДА.

1894.

Исторія представляетъ намъ непрерывный рядъ бѣдствій и злодѣйствъ, и, кажется, мы должны бы привыкнуть къ мысли, что такова печальная судьба человѣчества. И, однако же, какъ только наступитъ спокойное время, мы забываемъ объ этомъ, и новая бѣда насъ удивляетъ и какъ будто пробуждаетъ отъ спокойнаго сна. Благополучіе намъ кажется естественнымъ состояніемъ, какъ здоровье, какъ воздухъ. Вотъ отчего исторія не приноситъ намъ уроковъ. Перетерпѣвъ боль, отбывъ бѣду, мы перестаемъ объ нихъ думать и погружаемся въ нашу обыкновенную жизнь.

Убійство Карно есть событіе поразительное; оно отозвалось въ цѣломъ мірѣ гораздо сильнѣе, чѣмъ другія однородныя съ нимъ событія, потому что тутъ съ большою отчетливостію обнаружились всѣ силы, дѣйствующія въ этихъ новѣйшихъ бѣдахъ Европы. Какъ намъ смотрѣть на это дѣло? Казалось бы, что самый ясный урокъ должна въ немъ прочитать себѣ Франція, та передовая

страна человѣчества, среди которой случилась эта бѣда. Что̀ же думаютъ и чувствуютъ Французы? Среди множества отзывовъ и размышленій, намъ встрѣтилась статья извѣстнаго ученаго Джемса Дарместетера, до такой степени полная ума и чувства, что ее можно, мы думаемъ, принять за образчикъ французскихъ мыслей объ этомъ предметѣ. Статья называется *Президентъ Карно* и состоитъ въ слѣдующемъ (мы ничего не выпускаемъ).

„Въ 1887 году, 3 декабря, чтобы поднять поколе-„бавшееся значеніе высшей магистратуры, Палаты, въ „минуту нравственнаго ясновидѣнія, почувствовали, что „нужно поставить во главѣ страны гражданина, имя „котораго означало-бы: „неподкупная честность“, и, же-„лая выбрать самаго безупречнаго, провозгласили Сади „Карно.

„Карно былъ важнѣе, чѣмъ великій человѣкъ; онъ „былъ нѣчто болѣе рѣдкое, болѣе славное и, въ извѣстныя „минуты, болѣе вліятельное; онъ былъ честный человѣкъ, „и въ силу этого онъ могъ оказать своей націи двѣ „услуги, которыя не будутъ забыты. Вслѣдствіе того, „что онъ находился во главѣ Франціи въ ту минуту, „когда гибель грозила ея свободѣ и достоинству, оте-„чество могло оправиться отъ своего жестокаго голово-„круженія, и стоило лишь показать провинціямъ респуб-„лику воплощенною въ гражданинѣ безъ всякаго упрека, „чтобы разсѣялся кошмаръ диктатуры. Точно также, „потому лишь, что *онъ* былъ президентомъ, двѣ перве-„ствующія силы Европы, папа и царь искали дружбы „Франціи.

„Въ нашихъ внутреннихъ раздорахъ, онъ, какъ онъ

„самъ говорилъ за часъ до убійства среди восклицаній „признательнаго народа, былъ неуклоннымъ охранителемъ конституціи и законности.

„Первый гражданинъ Франціи, онъ былъ самымъ „простымъ, самымъ доступнымъ, самымъ привѣтливымъ „изъ нашихъ согражданъ. Его домашній очагъ былъ „примѣромъ для всѣхъ семействъ Франціи. Онъ не проповѣдовалъ республиканскихъ добродѣтелей, онъ былъ „ихъ образцомъ. Такимъ образомъ, въ то время, когда „всякое правительство склоняется къ отреченію, и клевета „остается единственною уважаемою властью, какъ единственная безсмѣнная и не подлежащая низверженію „сила, онъ показалъ, что ее нельзя назвать непобѣдимою; и въ Панамской бурѣ грязи, когда анархистскія „партіи совокупными усиліями старались обдать и его „брызгами, онъ вышелъ изъ испытанія чистымъ, какъ „снѣгъ. Исторія напишетъ на его гробѣ тотъ гордый „девизъ ліонцевъ, который онъ имъ напоминалъ въ свою „послѣднюю ночь: *честь и совѣсть!* Нужно считать „славой для французской республики, что она выбрала „своимъ главою этого человѣка. Нужно считать честью „для цивилизованнаго человѣчества и основаніемъ не „отчаяваться въ умѣ и сердцѣ народовъ тотъ фактъ, „что въ концѣ нашего вѣка была нація, которая по „свободному выбору могла поставить и держать во главѣ „своей человѣка праведнаго.

„Этого-то праведнаго убилъ анархизмъ.

„Никогда не обнаруживалась такъ ясно та жестокая „ложь, на которой основывается анархизмъ. Эти идеалисты, жаждущіе справедливости, выбрали для утоле-

„нія своей жажды самую чистую кровь, какая была во „Франціи. Можетъ быть, для того, чтобы исполнился „высшій законъ жертвоприношенія, поддерживающаго въ „мірѣ священное пламя, нужна была кровь жертвы безъ „всякаго порока: онъ былъ этою безпорочною жертвою. „Съ именемъ Карно, которое уже сто лѣтъ звучитъ въ „нашей памяти, какъ эхо генія и побѣды, онъ свя„залъ еще трогательную славу мученичества. Пусть онъ „присоединится въ исторіи къ мученикамъ-президентамъ „великой республики, не даромъ пролившимъ свою кровь. „Линкольнъ сокрушилъ рабовладѣльческій мятежъ, и „пуля скомороха, которая его убила, нанесла послѣдній „ударъ мятежу и невольничеству. Гарфильдъ попытался „разрушить грязное масонство политикановъ; они его „убили и теперь гибнуть отъ этого. Карно, ты палъ въ „защитѣ вѣчныхъ законовъ человѣческаго общества, за „общее достояніе всей цивилизаціи, палъ, какъ передо„вая жертва. Вотъ отчего всѣ народы и всѣ главы на„родовъ склонили надъ твоею могилою свои траурныя „знамена: Италія такъ же ощущаетъ ударъ, какъ Франція, „Лондонъ какъ Парижъ, Потсдамъ какъ Елисейскія „поля: человѣчество чувствуетъ, что на его сердце былъ „направленъ кинжалъ, который тебя поразилъ, и за „каждую изъ націй міра пролилась капля твоей „крови.

„Да, кровь праведнаго пролита не напрасно: чело„чество надъ этою могилою вспомнило, что оно, не„смотря ни на что, составляетъ лишь одну семью. Но „мы, Французы, — ужели при видѣ этой крови мы издадимъ „только крикъ мщенія и горести? Не вдумаемся ли мы

„также въ тѣ обязанности, о которыхъ она вопіетъ ко „всѣмъ намъ?

„Оставимъ убійцу; жалкій безумецъ пойдетъ на эша„фотъ, какъ его предшественники, провожаемый него„дованіемъ обоихъ полушарій: но мы, когда эта формаль„ность будетъ исполнена, что̀ мы станемъ дѣлать?

„Анархизмъ динамита и кинжала есть лишь форма, „принимаемая въ дикихъ душахъ тою анархіею, кото„рая господствуетъ въ умахъ всей Европы и которая „во Франціи, вспомоществуемая преступленіями и безу„міями всѣхъ партій, разрушила всякій авторитетъ въ „правительствѣ, въ законѣ, въ нравахъ, и, чтобы на„полнить души опустошенныя отъ всякихъ твердыхъ „вѣрованій, бросила имъ нѣсколько пустыхъ словъ, „придающихъ замаскированной жадности иллюзію идеала. „О, еслибы истинный владыка Франціи, тѣ немногія „тысячи политикановъ, которые своими слабыми или „жадными руками вертятъ судьбою страны, могли на„конецъ открыть глаза, вспомнить свои грѣхи, понять, „что нельзя безнаказанно распространять въ цѣломъ „народѣ евангеліе подкупа и ненависти; еслибы они „осмѣлились посмотрѣть на свои руки и разглядѣть на „нихъ пятна крови! Еслибы оффиціальные представители „народа, которые, хотя они и волочатъ за собою неви„димую цѣпь комитетовъ, однако же, если захотятъ, „имѣютъ возможность сдѣлать кое-что доброе и пока„зать кое-какіе хорошіе примѣры, еслибы они смогли „очистить свою грудь отъ испорченной атмосферы са„лоновъ или клубовъ, освободиться — одни отъ своихъ „корридорныхъ мелочностей, другіе отъ своей страшной

„самоувѣренности! Еслибы они могли прямо взглянуть „на свою отвѣтственность передъ прошлою и будущею „Франціею и, при каждой подачѣ голоса, спросить „наконецъ и самихъ себя съ содроганіемъ: чистъ ли я „передъ своимъ отечествомъ?

„Черезъ день или два, передъ этой могилой, выры„той десяткомъ тысячъ преступныхъ людей, одна лишь „Франція будетъ говоритъ къ сердцу Французовъ. На„дѣяться большаго—было бы, можетъ быть, иллюзіею. „Въ одну минуту души не измѣняются и не вносится „доля разума въ обезумѣвшія головы. И вотъ гдѣ обна„руживается громадный размѣръ роли того человѣка съ „сердцемъ, который избранъ 27 іюня 1894 года на „опасный и почетный постъ свободнымъ голосованіемъ „представителей народа. Франція ожидаетъ отъ Казиміра „Перье не того, чтобы онъ излѣчилъ разъѣдающую ее „болѣзнь,—для этого никакое правительство не имѣетъ „ни обязанности, ни власти,—она ожидаетъ, она тре„буетъ отъ него, чтобы онъ поставилъ ее въ возмож„ность излѣчиться самой, вполнѣ обуздавъ бѣснующихся, „которые ее тревожатъ; а для этого нужно сдѣлать „только одно: возстановить господство закона,—*одного „лишь закона, но закона во всей полнотѣ*, закона для „всѣхъ, закона требующаго отчета отъ каждаго преступ„ника: отъ преступника кинжала и отъ преступника „пера, отъ убійцы и отъ первосвященниковъ убійства.

„Когда твердая и послѣдовательная воля явится въ „совѣтахъ правительства, представители страны пойдутъ „за нею; ибо Франція желаетъ возвращенія обществен„наго порядка и свободы всѣхъ, попираемой шайкою

„авантюристовъ и фанатиковъ: она желаетъ мирно при-„няться за дѣло практической и прогрессивной реформы, „нужной для демократіи и необходимой для будущности „Франціи. Если обструкціонистскій заговоръ будетъ „продолжаться и парализуетъ парламентъ, пусть пре-„зидентъ Республики, въ полнотѣ своей независимости „и своего долга, отважится на все свое право! Нація, „когда будетъ спрошена, отвѣтитъ ясно, составляетъ ли „непрерывная анархія ея идеалъ.

„Но торжественное спокойствіе, съ которымъ рес-„публика передала достойнѣйшему власть достойнѣйшаго „и законнымъ порядкомъ замѣстила пробѣлъ образовав-„шійся вслѣдствіе преступленія, показываетъ міру и „самой Франціи, готовой забыть объ этомъ, какъ много „эта страна, подъ волнами поверхностной пѣны, таитъ „глубокихъ сокровищъ хладнокровія, нравственной силы „и надежды" *).

Вотъ поученіе, которое чистосердечный и горячій патріотъ извлекъ изъ гибели Карно. Карно есть жертва печальнаго состоянія республики, которой онъ былъ президентомъ. Авторъ съ горечью указываетъ, что убійца имѣлъ полное право негодовать на порядки Франціи, такъ что могила Карно вырыта, въ сущности, тѣмъ десяткомъ тысячъ людей, которые вертятъ теперь судьбою страны и въ своемъ безуміи и ослѣпленіи не видятъ, что ихъ руки запятнаны кровью.

Если такъ, то Франціи предстоятъ великія бѣдствія, и мы видимъ теперь только ихъ начало. Не странно

---

*) *Revue de Paris*, № 11 (juillet 1894).

ли? Тамъ давно уже господствуетъ полная свобода. И учрежденіе правительства, и выборъ его членовъ совершается свободно; каждое дѣйствіе правительства и каждаго его члена свободно обсуждается и повѣряется. И, несмотря на то, они не могутъ устроить у себя хорошихъ властей и не могутъ заставить эти власти хорошо дѣйствовать!

Авторъ указываетъ намъ, въ чемъ дѣло. Дѣло въ томъ, что тамъ, гдѣ власть есть предметъ исканій, всѣмъ доступный, она никогда не остается въ рукахъ народа, а попадаетъ въ руки тѣхъ, кто поставилъ ее себѣ цѣлью главныхъ своихъ желаній и занятій. Франція управляется не сама собою; ею управляютъ тѣ „немногія тысячи политикановъ", о которыхъ говоритъ авторъ. Такъ идетъ дѣло и во французской республикѣ и въ Соединенныхъ Штатахъ, и, повидимому, иначе оно идти не можетъ. Люди добросовѣстные и благонамѣренные не имѣютъ ни времени, ни умѣнья, чтобы бороться съ тою „шайкой авантюристовъ", къ которой принадлежитъ большинство политикановъ. Политиканы же дѣйствуютъ вездѣ одинаково: или „подкупомъ", или возбужденіемъ ненависти,—„клеветою". А когда достигнутъ власти, то пускаютъ въ ходъ такъ называемый „обструкціонизмъ", то-есть, пользуются республиканскими правами, чтобы задерживать „развитіе демократіи", останавливать всѣ мѣры, идущія въ пользу большинства народа и противъ того класса, къ которому сами принадлежатъ и отъ котораго могутъ получать наибольшія выгоды.

Такимъ образомъ вышло, что авторитетъ власти все больше и больше теряется. Казалось бы, Франція, поль-

зуясь всѣми свободами, должна была для обоихъ полушарій стать блестящимъ примѣромъ государственныхъ улучшеній; вмѣсто того эта республика, существующая уже десятки лѣтъ, представляетъ намъ, кажется, одни печальные примѣры, въ родѣ той „панамской бури грязи", которая недавно разыгралась.

Но, если такъ, если судить по словамъ самаго нашего автора, то Казеріо, значитъ, имѣлъ для себя нѣкоторыя извиненія. Не слѣдуетъ ли намъ причислить это убійство къ тѣмъ политическимъ преступленіямъ, которыми полна исторія? Казеріо, безъ сомнѣнія, считалъ себя героемъ; на какихъ же основаніяхъ мы не даемъ ему никакого права на героизмъ?

Политическія злодѣйства издавна находятся на особомъ счету. Греки славили и воспѣвали Гармодія и Аристогитона, и „кинжалъ скрытый подъ миртами" вошелъ въ поговорку. Цицеронъ, котораго такъ усердно изучаютъ у насъ въ школахъ, радовался убійству Цезаря и хвалилъ Брута и Кассія. Шарлотта Корде есть лицо, вдохновляющее поэтовъ и художниковъ. Орсини, бросавшій бомбы подъ Наполеона III, былъ предметомъ вниманія и участія всей либеральной Европы. Да мало ли примѣровъ? Отчего же на Казеріо мы смотримъ иначе и видимъ въ его поступкѣ только предметъ „ужаса и отвращенія?"

На этотъ вопросъ, повидимому самый интересный, мы у автора не находимъ яснаго отвѣта. Въ чемъ ужасъ? Въ чемъ отвращеніе? Казеріо жестоко оскорбилъ огромную массу французскаго народа; но, вѣдь онъ думалъ, что дѣйствуетъ для блага этого народа, и жертво-

валъ собою для этого блага. Казеріо убилъ человѣка честнѣйшаго и достойнѣйшаго; но вѣдь онъ хотѣлъ убить не частнаго человѣка, а главу правительства, которое желалъ разрушить. Нашъ авторъ сознается, что Казеріо былъ увлеченъ „иллюзіей идеала"; значитъ, несчастный мальчикъ подпалъ какому-то соблазну, и на этотъ соблазнъ намъ слѣдуетъ обратить нашъ ужасъ и наше отвращеніе.

Но истинно ужасно и отвратительно то, что, кажется, европейская совѣсть не находитъ въ себѣ основаній, чтобы осудить подобныя преступленія. И этому помраченію совѣсти никто столько не способствовалъ, какъ Франція. Франція не только породила цѣлый рядъ насильственныхъ и кровавыхъ переворотовъ, но она торжествовала и восхваляла эти перевороты. Она возвела въ догматъ, что прогрессъ совершается не иначе, какъ насиліемъ, огнемъ и мечемъ, и этотъ догматъ проповѣдывался малымъ дѣтямъ на школьныхъ скамьяхъ. Казеріо, вѣроятно, нимало не останавливался передъ мыслью объ убійствѣ; совѣсть его ничуть не смущалась, когда онъ задумывалъ погрузить свой кинжалъ въ живаго человѣка, тамъ, гдѣ сердце этого человѣка; онъ только спрашивалъ себя: кого убить?

И онъ былъ увѣренъ, что поступаетъ хорошо. Потому что безусловно хорошаго и безусловно дурнаго для него не было. Хорошо не то, что̀ хорошо, а то, что̀ ведетъ къ прогрессу; и дурно не то, что̀ дурно, а то, что̀ прогрессу мѣшаетъ. Онъ и рѣшился содѣйствовать успѣхамъ рода человѣческаго.

Можетъ быть, онъ ошибся? Онъ былъ такъ молодъ

и неопытенъ! Можетъ быть, его дѣло не подвигаетъ, а останавливаетъ прогрессъ? Можетъ быть, Франція, и безъ того несчастная, станетъ еще несчастнѣе отъ такихъ подвиговъ? Ну, это не важно. Онъ былъ крѣпко убѣжденъ въ противномъ. А хорошо не то, что̀ хорошо, а то, когда я слѣдую своему убѣжденію; и дурно не то, что̀ дурно, а то, когда я дѣйствую противъ своего убѣжденія.

Такимъ образомъ, общее мѣрило добра и зла у насъ, повидимому, уже не существуетъ. Законъ, написанный въ сердцахъ человѣческихъ, о которомъ такъ положительно говоритъ Апостолъ, какъ будто вовсе изгладился. По старому катихизису, убійство запрещается, какъ большой грѣхъ. И то, что Казеріо жертвовалъ собою и шелъ на очевидную гибель, не уменьшаетъ, а пожалуй увеличиваетъ его вину; самовольное исканіе смерти катихизисъ называетъ вообще самоубійствомъ,—тоже большимъ грѣхомъ. Какъ мы далеко ушли отъ этихъ понятій!

У Данта, въ самой глубинѣ ада сидитъ громадный сатана, имѣющій три лица, черное, красное и желтое. Во рту каждаго изъ своихъ лицъ сатана держитъ по грѣшнику. Эти три лютыхъ грѣшника, которыхъ непрерывно жуетъ сатана, слѣдующіе: Іуда Искаріотскій, Брутъ и Кассій.

Таковъ былъ строгій судъ великаго поэта!

27 авг. 1894.

IX.

РАЗБОРЫ КНИГЪ.

1.

Исторія соціальныхъ системъ.

Д. Щегловъ.—*Исторія соціальныхъ системъ* отъ древности до нашихъ дней. Т. I. Критическое обозрѣніе соціальныхъ ученій Платона, Т. Мора, Кампанеллы, Гаррингтона, Морелли, Мабли, Бриссо, Сенъ-Симона, Сенъ-Симонистовъ и Р. Оуэна. Спб. 1870.—Т. II. Критическое обозрѣніе соціальныхъ ученій Фурье, Кабе, Л. Блана, Лямене, П. Леру, Бюше, Отта, Ог. Конта и Литтре. Спб. 1889.

Побужденія и намѣренія, въ силу которыхъ написана эта книга, безъ сомнѣнія заслуживаютъ величайшаго сочувствія. Авторъ былъ возмущенъ и испуганъ тою „умственною смутою“ (его выраженіе), которая зародилась у насъ и породила столько бѣдъ и зла въ прошлое царствованіе, которая, конечно, продолжаетъ и теперь существовать и дѣйствовать, и можетъ, послѣ временнаго ослабленія, снова усилиться. Авторъ поста-

рался вникнуть въ причины этого печальнаго явленія и рѣшился, по мѣрѣ своихъ силъ, противодѣйствовать ему.

Нельзя не отдать справедливости глубокому патріотическому чувству, которымъ руководился авторъ, и не признать правильности его указаній на наши бѣдствія и на обязанности, которыхъ мы не исполняемъ. Въ предисловіи ко второму тому онъ говоритъ:

„Произошла умственная смута, какъ начало, какъ корень зла; а затѣмъ смута политическая, какъ послѣдствіе ея;... произошли событія, которыя составили нѣсколько такихъ мрачныхъ страницъ нашей исторіи, какихъ было немного и въ наиболѣе печальные періоды ея. И, независимо отъ того траура, который вся Россія носила на виду у всей Европы, на виду у исторіи, сколько семействъ носили свой особенный, частный трауръ, если не на одеждѣ, то въ сердцѣ! Сколько отцовъ и матерей выплакали глаза, оплакивая погибель дѣтей! А затѣмъ, сколько злораднаго торжества имѣли наши враги, какъ внѣшніе, такъ и внутренніе, какъ явные, такъ и тайные, и насколько всѣ эти событія прибавили имъ самоувѣренности и энергіи въ стремленіи къ задачамъ, враждебнымъ русскому народу и русскому государству!—И такое положеніе дѣлъ продолжается уже многіе годы“.

„Очевидно, что нашъ политическій организмъ находится въ состояніи болѣзни, и притомъ болѣзни острой и серіозной. Болѣзнь нужно лѣчить. Но, чтобы лѣченіе было успѣшно, ему должно предшествовать изслѣдованіе болѣзни, изысканіе причинъ ея, потому что только sublata causa tollitur effectus. У насъ какъ будто этого

не понимаютъ. Иностранцевъ наша болѣзнь занимаетъ; они не могутъ съ перваго раза понять: какимъ это образомъ въ организмѣ молодомъ, крѣпкомъ и здоровомъ, вдругъ начались столь серіозные симптомы болѣзни? И заграницей рядъ изслѣдованій о нашей болѣзни давно начался и до сихъ поръ продолжается. А намъ самимъ какъ-будто до этого никакого дѣла нѣтъ; какъ-будто это не насъ касается. Произойдетъ какой-нибудь особенный случай, въ родѣ подкопа, взрыва и т. п., и мы не прочь потолковать о немъ въ продолженіе двухъ дней, двухъ недѣль, или двухъ мѣсяцевъ, смотря по важности случая; а потомъ опять совсѣмъ забываемъ о немъ, какъ будто-бы онъ представлялъ что-то въ родѣ аэролита, неожиданно прилетѣвшаго изъ другой области небеснаго пространства".

„У многихъ есть даже наклонность замять дѣло, или смотрѣть на него сквозь розовыя очки: говорятъ, что это ничего, пустяки, дѣло случайное, временное, которое само собой пройдетъ, что оно уже и проходитъ; не надобно только придавать ему большаго значенія, не надобно преувеличивать. Эти пріятныя рѣчи пріятно было бы и слушать. Но они какъ-будто не ладятъ съ фактами. Первыми представителями политической смуты были изгои, люди, выброшенные жизнью изъ ихъ колеи, а послѣдними *(т. е. въ 1887 г.)* совсѣмъ не изгои, а юношество, идущее своею нормальною дорогою, юношество, или находящееся въ школѣ, или только-что покинувшее ее съ полнымъ запасомъ свѣдѣній, сообщаемыхъ школою и съ надлежащими удостовѣреніями въ видѣ дипломовъ и аттестатовъ, и притомъ юношество, при-

надлежащее къ самымъ разнообразнымъ спеціальностямъ“. (Т. II, стр. XIII, XIV).

Вѣрность этой картины несомнѣнна; если же таково положеніе дѣла, то совершенно понятно то горячее воодушевленіе, съ которымъ авторъ указываетъ на обязанности, вытекающія отсюда для всякаго сознающаго свои силы.

„Какъ же быть?“ говоритъ онъ. „Не покориться же злу, не признать же власть Аримана, не смотрѣть же, сложа руки, на человѣческія жертвы, которыми чтятъ Молоха какіе-то его поклонники“. „Противодѣйствіе злу“, замѣчаетъ авторъ, „есть одна изъ самыхъ священныхъ обязанностей человѣка и гражданина“. „Считая современное положеніе весьма серіознымъ не только для настоящаго, но и для будущаго, мы готовы повторить слова, сказанныя при другихъ обстоятельствахъ, также очень серіозныхъ: „вооружайтесь всѣ, вооружайся всякъ“! Сторонники царства тьмы берутъ только многолюдствомъ,—но не въ многолюдствѣ Богъ, а въ правдѣ Богъ; въ преданности дѣлу и въ единеніи сила. Одинъ преданный дѣлу человѣкъ принесетъ ему больше пользы, чѣмъ десять, которые готовы служить и нашимъ и вашимъ“. (Т. II, стр. XXIII).

Таковы чувства и мысли, которыми былъ одушевленъ авторъ. Уже давно, двадцать пять лѣтъ тому назадъ, онъ рѣшился вооружиться противъ зла и для этого задумалъ написать ту книгу, которая передъ нами.

Источникомъ всего зла, какъ мы видѣли, онъ считаетъ „умственную смуту“, превратныя понятія, заблужденія, распространившіяся въ это время; между

заблужденіями главную роль онъ приписываетъ соціалистическимъ ученіямъ, проникшимъ къ намъ съ Запада и отвергавшимъ собственность, семейство и религію. Поэтому, для исцѣленія нашей болѣзни, нужно было написать критику „соціальныхъ системъ", показать ихъ внутреннюю несостоятельность и такимъ образомъ отрезвить умы, разрушить увлеченіе. Вотъ задача, которую взялъ на себя авторъ, и на которую потратилъ не мало труда и времени.

Конечно, на такую постановку вопроса можно сдѣлать нѣкоторыя возраженія. Хотя подобныя отрицательныя задачи очень важны и полезны, но наибольшей пользы, наилучшаго оздоровленія слѣдуетъ ожидать не отъ нихъ, а отъ задачъ положительныхъ, отъ укрѣпленія и развитія здравыхъ политико-экономическихъ и другихъ ученій. Увлеченіе соціализмомъ зависѣло у насъ не просто отъ его соблазнительныхъ софизмовъ и обѣщаній, а было усилено другими умственными вліяніями и разными обстоятельствами внутреннихъ перемѣнъ, черезъ которыя проходила Россія. И вообще, главное наше зло есть удивительная умственная зыбкость и пустота, отсутствіе въ нашей интеллигенціи твердыхъ основъ религіозныхъ и общественныхъ, при которыхъ невозможны были бы такія быстрыя и горячешныя увлеченія.

Но, при всѣхъ этихъ ограниченіяхъ, на которыя, впрочемъ, есть указанія у самого автора, книгу его слѣдуетъ, однако, признать совершенно нужною и своевременною, и составленіе ея поставить ему въ гражданскую заслугу. Онъ со своей стороны усердно потрудился

для разсѣянія очень вредныхъ заблужденій. Занимаясь спеціально политическою экономіею, онъ взялъ себѣ эту въ высшей степени поучительную тему и, въ точномъ смыслѣ этого слова, пополнилъ важный пробѣлъ въ нашей литературѣ. Впрочемъ, это обширное изслѣдованіе едва-ли имѣетъ себѣ подобное и въ другихъ литературахъ. Ученые экономисты обыкновенно пренебрежительно смотрятъ на соціализмъ и не изучаютъ его подробно. Встрѣчаются подробныя сочиненія, но посвященныя только отдѣльнымъ системамъ и обыкновенно писанныя съ одностороннимъ пристрастіемъ къ предмету; у нашего же автора мы имѣемъ, можно сказать, рядъ монографій, въ которыхъ цѣлый рядъ системъ обсуждается обстоятельно и съ одной и той же точки зрѣнія, чисто научной.

Заглавіе книги очень точно выражаетъ ея содержаніе. Это не есть исторія *соціализма*, какъ особаго явленія, развивающагося и видоизмѣняющагося съ теченіемъ времени. Когда авторъ кончитъ свой трудъ, можетъ быть, онъ дастъ намъ очеркъ подобной исторіи, въ которомъ подведетъ разсмотрѣнныя явленія подъ строгія научныя понятія. Теперь же, послѣ краткаго вступленія, онъ прямо излагаетъ исторію отдѣльныхъ системъ въ хронологическомъ порядкѣ. Системы эти указаны въ самомъ заглавіи двухъ вышедшихъ томовъ.

Наиболѣе важныя системы, именно системы Платона, Томаса Мора, Сенъ-Симона, Оуэна, Фурье, Кабе, Луи Блана, изучаются здѣсь со всею обстоятельностію, какой только можно пожелать. Не только ученіе каждаго изъ названныхъ дѣятелей излагается во всѣхъ су-

щественныхъ чертахъ, но разсматривается его біографія, перечисляются послѣдователи, разсказывается исторія попытокъ осуществить теорію на практикѣ, приводятся сужденія о теоріи, высказанныя учеными и публицистами, и, наконецъ, по возможности полная библіографія. Но и это еще не все: въ *приложеніяхъ* авторъ помѣстилъ изслѣдованія объ отдѣльныхъ пунктахъ, выдержки характерныхъ мѣстъ изъ сочиненій соціалистовъ, или изъ ихъ критиковъ и т. д. Притомъ, повсюду изложеніе сопровождается критикою, или принципіальною, или историческою, историко-литературною, филологическою, всякою, какой требуетъ дѣло. Такимъ образомъ вышла книга и необыкновенно занимательная по предметамъ, и содержащая очень много новаго, свѣжаго, такого, чего нельзя найти въ другихъ книгахъ.

Очень понятно, что, задавшись такимъ широкимъ планомъ и пустившись въ пути, мало проторенные или вовсе не проторенные, авторъ не избѣгъ несовершенствъ, нѣкоторыхъ пропусковъ, недосмотровъ и т. п. Кромѣ того, есть неудачныя мѣста въ отступленіяхъ, которыхъ много въ этой книгѣ. По умѣренности ихъ объема нельзя ихъ поставить ей въ упрекъ, и притомъ они вытекаютъ изъ самой цѣли книги, именно относятся къ положенію дѣлъ въ нашей литературѣ, публицистикѣ, учебныхъ заведеніяхъ, вообще къ умственному и нравственному состоянію Россіи. Но тутъ автору пришлось касаться очень разнообразныхъ сферъ и именъ, и онъ часто дѣлаетъ это уже вовсе безъ ученыхъ пріемовъ, съ легкостію и рѣзкостію, которую, во многихъ случаяхъ, можетъ быть, и можно оправдать, но которая

въ самой книгѣ не оправдывается. Возьмемъ такое мѣсто:

„Костомаровъ подвергъ истинному поруганію все, что въ русской исторіи имѣетъ неоспоримое право на уваженіе истинно русскихъ людей,—начиная съ первыхъ князей, которые для него только разбойники и грабители. Владиміръ Мономахъ, Василько, Андрей Боголюбскій—это люди своекорыстные, жестокіе, способные на гнусное злодѣяніе. Дмитрій Донской—трусъ, человѣкъ неблагородный; Пожарскій, Мининъ, Скопинъ-Шуйскій—лица двусмысленныя, своекорыстныя, лживыя и т. п. Самопожертвованіе Сусанина—миѳъ, т. е. фактъ, никогда не существовавшій. И эти дѣтски-легкомысленныя характеристики, эти противо-научныя положенія не встрѣтили отпора не только въ массѣ читателей, въ толпѣ, но и въ тѣхъ, которые по праву могутъ считать себя представителями такъ-называемой интеллигенціи, въ руководителяхъ періодическихъ органовъ литературы. Кромѣ Погодина, которой много раньше и неоднократно былъ осмѣянъ и ославленъ, какъ человѣкъ отсталый, обскурантъ и квасной патріотъ, никто изъ представителей печати не возвысилъ голоса въ защиту славной памяти печальниковъ, защитниковъ и освободителей Русской земли“ и пр. (Т. II, стр. 569).

Отзывъ этотъ, будучи довольно справедливымъ, имѣетъ однако очень неправильный видъ. Очевидно, сила его въ томъ, что Костомаровъ, по убѣжденію автора, дѣлалъ „дѣтски-легкомысленныя характеристики“ и выставлялъ „противо-научныя положенія“; но авторъ, къ сожалѣнію, ничѣмъ этого не доказываетъ. Можно по-

думать, что, по его мнѣнію, все, несогласное съ чувствомъ патріотовъ, уже поэтому непремѣнно есть противо-научное. Очевидно, нельзя брать дѣла съ этой стороны, начинать прямо съ обвиненій, на которыя подсудимый можетъ апеллировать къ высшей инстанціи,—къ исторической правдѣ и къ безпристрастію. Вообще, Костомаровъ у насъ такой извѣстный писатель, что характеристика его одними грѣхами противъ патріотизма — черезъ чуръ легка и мало убѣдительна для большинства читателей, хотя бы съ нею и были согласны люди, основательно знакомые съ русскою исторіею.

Точно такъ, слишкомъ рѣзко сказано, что никто не возражалъ Костомарову; кой-какія возраженія были, и можно упрекнуть автора, что онъ забылъ книгу И. Забѣлина „*Мининъ и Пожарскій*“ (Москва, 1883), книгу превосходную и по знанію дѣла, и по глубокому пониманію лицъ и событій, и даже по мастерству изложенія. Такія книги показываютъ намъ, что наука Русской Исторіи, славу Богу, у насъ стоитъ крѣпко и подымается высоко, что намъ не слѣдуетъ до конца огорчаться многочисленными и несостоятельными произведеніями Костомарова, какъ бы они ни раздражали наше патріотическое чувство.

И все-таки, говоря вообще, нужно сказать, что нашъ авторъ правъ; публика, безъ сомнѣнія, со сластью поглащала книги Костомарова; она вбирала въ себя его неосновательныя мнѣнія и не обращала вниманія на возраженія, да и возраженій было черезъ чуръ мало. Авторъ справедливо указалъ на очень грустное явленіе въ нашемъ умственномъ мірѣ.

Мы могли бы сдѣлать много другихъ замѣчаній въ этомъ родѣ. Авторъ, руководясь наилучшими чувствами и не ошибаясь въ главныхъ чертахъ, говоритъ о нашей литературѣ и публицистикѣ часто слишкомъ горячо и поверхностно. Въ его рѣчахъ тутъ слышится презрѣніе; понятно, что, въ силу этого презрѣнія, онъ не изучалъ внимательно предмета.

Такъ какъ соціализмъ касается самыхъ различныхъ сторонъ человѣческой жизни, религіи, политики, нравственности, гигіены, и т. д., то нашъ авторъ, слѣдуя за своимъ предметомъ, вдавался въ очень различныя области, и тутъ можно у него отыскать кой-какіе недочеты. Напримѣръ, полемизируя противъ Фурье и объясняя, почему трудъ вообще бываетъ тяжелъ, онъ говоритъ:

„Это основано на непреложномъ физіологическомъ законѣ; трудъ сопровождается разрушеніемъ тканей, изъ которыхъ состоитъ организмъ человѣческій; ткань распадается на элементы, и элементы эти затрудняютъ дѣятельность мышцъ, отчасти ослабляютъ ее, отчасти имѣютъ даже тотъ результатъ, что она сопровождается непріятнымъ, болѣзненнымъ ощущеніемъ. И тутъ никакія страсти, ни папильонна, ни кабалиста *) не помогутъ“ (т. II, стр. 122, 123).

Тутъ много неточнаго и неправильно выраженнаго. Всякое жизненное явленіе, безъ исключенія, сопровождается разрушеніемъ тканей, такъ что Клодъ Бернаръ даже выразилъ это въ очень парадоксальномъ изреченіи:

*) Это названія, которыя придумалъ Фурье для особыхъ страстей, открытыхъ имъ въ душѣ человѣческой.

la vie c'est la mort. И всякое жизненное отправленіе бываетъ пріятно, но всякое дѣлается тяжелымъ и даже мучительнымъ, какъ скоро перейдена извѣстная мѣра. Тяжесть же „рабочаго труда", если онъ иногда и не бываетъ тяжелъ физически, состоитъ въ принужденіи, однообразіи, лишеніи свободы, дурной обстановкѣ, и т. п.

Однако же, всѣ подобныя недосмотры и недочеты разбираемой книги, во-первыхъ, незначительны, во-вторыхъ, не относятся прямо къ существенному предмету книги, то-есть къ изложенію соціальныхъ системъ и ихъ исторіи. Въ отношеніи къ этому изложенію за авторомъ нужно признать большія заслуги. Всѣ толкуютъ о соціалистахъ, многіе ихъ бранять, но никто не изучаетъ внимательно и безпристрастно. Взявшись за такое изученіе и въ продолженіе многихъ лѣтъ обдумывая соціальныя системы и собирая объ нихъ свѣдѣнія, авторъ успѣлъ правильно понять ихъ истинный духъ и представилъ каждую въ наиболѣе характерныхъ ея чертахъ. Въ силу этого онъ исправляетъ многія поспѣшныя заявленія другихъ ученыхъ и опровергаетъ ходячія мнѣнія и предразсудки. Вообще, во всѣхъ своихъ частяхъ эта книга представляетъ самостоятельность и отчетливость; это не компиляція, а дѣйствительное изслѣдованіе, отвѣчающее на главные вопросы о предметѣ. Можно смѣло сказать, что, напримѣръ, дѣятельность Оуэна изложена здѣсь такъ вѣрно и полно, что другаго подобнаго изложенія нѣтъ ни въ одной литературѣ. Есть конечно главы и не столь удачныя; можно сдѣлать нѣкоторые упреки главѣ о Платонѣ, а также изложеніямъ ученій Фурье и Конта. „Республика" Пла-

тона разсматривается преимущественно съ политической и экономической стороны, почему недовольно оцѣнена связь этой системы съ философскимъ ученіемъ Платона. Нельзя согласиться съ такимъ изложеніемъ: „Платонъ смотрить на женщину, какъ на вещь, посредствомъ которой государство награждаетъ своихъ слугъ и вмѣстѣ съ тѣмъ производить здоровыхъ дѣтей сообразно со своими видами; на ея волю, чувства не обращается никакого вниманія“ (т. I, стр. 30). Нельзя этого сказать, такъ какъ Платонъ, согласно съ Сократомъ, признавалъ у мужчинъ и женщинъ равныя способности къ добродѣтелямъ, и въ „Республикѣ“ женщины класса правителей и воиновъ получали то же воспитаніе и участіе въ дѣлахъ, какое имѣли мужчины; если же союзы опредѣлялись начальствующими, то тутъ было одинаковое принужденіе какъ одного, такъ и другаго пола.

Главы о Фурье и объ Ог. Контѣ показались намъ слишкомъ рѣзкими, хотя невѣрными мы ихъ назвать не можемъ. Онѣ лишь односторонни, именно, мало разъясняютъ, въ чемъ состояла привлекательность разбираемыхъ ученій; а привлекательность, очевидно, была сильная, если эти ученія производили такое обширное вліяніе и набирали приверженцевъ также между людьми умными и учеными. Впрочемъ, Фурье и Контъ вообще принадлежатъ къ загадочнымъ явленіямъ, которыя столько же привлекаютъ однихъ, сколько отталкиваютъ другихъ. Напримѣръ, Ренанъ отзывается о Контѣ съ неменьшимъ презрѣніемъ, чѣмъ г. Щегловъ.

Но, вообще говоря, нашего автора нельзя никакъ

назвать пристрастнымъ. Онъ не принадлежитъ къ людямъ, которые задаются цѣлью только порочить соціалистовъ, и о которыхъ онъ разсказываетъ въ одномъ мѣстѣ своей „Исторіи".

„Сюдръ", пишетъ онъ, „былъ не единственный человѣкъ, старавшійся приписывать всѣмъ соціалистамъ безъ разбора всякаго рода гнусности. Въ то время *), въ улицѣ Пуатье составилось негласное общество борьбы съ соціализмомъ, которое образовало значительный фондъ для этой цѣли, издавало въ громадномъ количествѣ брошюры и распространяло ихъ въ народныхъ массахъ. Въ брошюрахъ этихъ на истину не очень много обращалось вниманія; находили, что съ соціализмомъ можно бороться и ложью". (Т. II, стр. 431).

Нашъ авторъ, напротивъ, обращаетъ строгое вниманіе на истину. За личныя свойства онъ однихъ осуждаетъ, но другихъ ставитъ высоко, напримѣръ, Оуэна, Кабе, Лямене; въ каждомъ ученіи онъ старательно отдѣляетъ вѣрныя и полезныя мысли отъ фантазій и софизмовъ; анализируя заблужденія, онъ доходитъ до ихъ корня, и старательно опровергаетъ исходные пункты. Нѣкоторыя изъ этихъ опроверженій замѣчательны по строгости въ различеніи понятій, по ясности и твердости выводовъ. Таково опроверженіе Кабе по вопросу о частной собственности и о свободѣ занятій (т. II. 313—353), опроверженіе Бюше по вопросу о наслѣдованіи имущества (т. II, стр. 758—764), и многія подобныя мѣста.

---

*) То-есть во время второй республики.

Такимъ образомъ, предметъ проясняется для читателя во всѣхъ своихъ главныхъ чертахъ. Мы видимъ, какъ увлеченія соціалистовъ зарождались въ силу ихъ личныхъ свойствъ и занятій и развивались, не будучи сдерживаемы основательными познаніями, которыхъ обыкновенно недоставало авторамъ системъ. Мы видимъ, какъ на практикѣ имѣли успѣхъ только личныя усилія, самоотверженность и благожелательность реформаторовъ, или же порядки, въ которыхъ они опирались на здравыя начала, и какъ быстро рушились всякія предпріятія, гдѣ въ основу полагался какой-нибудь фантастическій принципъ. Теоретическая критика, такимъ образомъ, подтверждается опытомъ, экспериментальною провѣркою.

Полнота и отчетливость этой картины всего лучше обнаруживается, если ее сравнить съ обыкновенными толками о соціализмѣ. Авторъ указываетъ не мало ошибокъ въ отзывахъ даже извѣстнѣйшихъ французскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ ученыхъ. Въ нашей литературѣ о соціалистахъ бо́льшею частію отзывались очень благосклонно, но, къ несчастію, безъ всякой основательности. Г. Щегловъ приводитъ выдержки или дѣлаетъ полные анализы статей разныхъ нашихъ авторовъ, писавшихъ о соціализмѣ, напр. Добролюбова, Чернышевскаго. Бо́льшею частію нельзя не изумляться странности этихъ писаній: въ нихъ господствуетъ произволъ безъ всякой оглядки, и совершаются самыя вопіющія отступленія отъ истины.

Вообще, вездѣ, гдѣ авторъ обращается къ явленіямъ нашей литературы, касающимся соціальныхъ ученій, нельзя не стать на его сторону, несмотря на нѣкоторыя

его чрезмѣрныя рѣзкости и недосмотры. Впрочемъ, онъ умѣетъ полемизировать и сдержанно, и въ этихъ случаяхъ достигаетъ замѣчательной строгости мысли и неопровержимости выводовъ. Какъ на примѣры такой полемики укажемъ на истинно-блестящую его статью въ защиту своей книги (*Отвѣтъ г. Ю. Я.*, въ началѣ II тома стр. I—XXVII), а также на статью противъ г. Вырубова по вопросу: *Обратился ли Литтре къ вѣрѣ въ послѣдній годъ жизни?* (тамъ-же, стр. 892—905).

Прибавимъ, наконецъ, что общіе принципы, которыхъ держится авторъ, то направленіе и духъ, которыми проникнута его книга, отличаются не только совершенною чистотою, но даже большою, суровою строгостью. Онъ крѣпко стоитъ за религію, справедливость, преклоненіе передъ долгомъ, чистые нравы, неуклонную правдивость и отвѣтственность передъ собою и передъ отечествомъ. Мы знаемъ, что не только для соціалистовъ, но и вообще для юристовъ, политико-экономовъ и публицистовъ нравственныя начала часто стоятъ на второмъ планѣ; у нашего автора они стоятъ на первомъ. Требованія его очень высоки, и онъ не расположенъ ими поступаться. Эта строгость вовлекаетъ его иногда въ поспѣшныя сужденія и осужденія, но она же побуждаетъ насъ не ставить ихъ ему въ упрекъ; а тамъ, гдѣ его сужденія не поспѣшны, то-есть во всей главной массѣ книги, эта строгость даетъ его взглядамъ и выводамъ высоту и твердость, такъ какъ тутъ мысль восходитъ на высшія точки зрѣнія.

Что̀ касается до главной заповѣди, любви къ ближнему, то авторъ, конечно, исповѣдуетъ ее вполнѣ.

Людскія страданія, часто возбуждающія мало вниманія политиковъ и политико-экономовъ, постоянно въ виду у нашего автора, и онъ тщательно разбираетъ соціалистическія указанія на бѣдствія низшихъ классовъ и рабочихъ, и старается, отвергая фантазіи, иногда безнравстенныя и сумазбродныя, показать нѣкоторые здравые и разумные пути, которыми нужно идти въ борьбѣ съ этими бѣдствіями. Соціализмъ, вообще говоря, есть признакъ глубокой болѣзни, поразившей европейскія государства; вотъ почему изученіе соціализма имѣетъ и величайшій практическій интересъ. Еще въ 1870 году г. Щегловъ писалъ:

„Нѣкоторые признаки бури показываются уже и теперь; о коалиціяхъ рабочихъ слышно чаще и чаще; политическая борьба партій во Франціи, въ Англіи, въ Германіи и даже Испаніи усиливается; въ Англіи является феніанизмъ, какъ протестъ противъ политическаго и экономическаго порабощенія Ирландіи и т. п. И въ самые послѣдніе годы Европа увидѣла небывалое зрѣлище—международные съѣзды рабочихъ, которые открыто требуютъ измѣненія современныхъ экономическихъ условій западной Европы. Очевидно, что, рано или поздно, западная Европа должна будетъ вести серіозные счеты съ своими пролетаріями и съ литературными представителями ихъ—соціалистами. И, какъ правительства, такъ и ученые западной Европы должны обратить болѣе серіозное вниманіе на то, что̀ есть справедливаго и несправедливаго въ ученіяхъ и требованіяхъ соціалистовъ. Вопросъ о пролетаріатѣ составляетъ для всякой страны вопросъ жизни, вопросъ свободы и прогресса“ (Т. I, стр. XXIX).

Въ настоящую минуту это предсказаніе можно повторить еще съ бо́льшею увѣренностью, чѣмъ двадцать лѣтъ назадъ.

Мы, русскіе, находимся, конечно, въ другомъ положеніи, и г. Щегловъ не разъ указываетъ на то, что у насъ не было еще причинъ къ развитію соціализма. Но, примкнувши къ Европѣ, мы, волей-неволей, принуждены переносить похмѣлье на чужомъ пиру. У насъ явились, являются и будутъ являться поклонники, обыкновенно восторженные и безтолковые, европейскихъ теорій; должна быть у насъ и книга, безпристрастно и основательно изучающая эти теоріи. Г. Щегловъ усердно и, вообще говоря, превосходно исполнилъ долгъ, который непремѣнно слѣдовало исполнить нашимъ мыслящимъ людямъ и ученымъ. Нужно отъ души пожелать, чтобы онъ довелъ свой трудъ до конца и далъ намъ такую же обстоятельную и основательную критику Прудона, Маркса, Лассаля, коллективистовъ, — вообще всѣхъ явленій соціализма до послѣдняго времени.

Книга г. Щеглова, по своей серіозности, а главное, по своему рѣзкому противорѣчію инымъ ходячимъ воззрѣніямъ, у насъ мало распространена и извѣстна. Но надѣемся, она мало-по-малу пробьетъ себѣ дорогу, такъ какъ это книга очень важная, очень полезная и надобная, незамѣнимая другими книгами, притомъ рѣдкая по занимательности своего содержанія и прекрасно написанная, то-есть повсюду непрерывно оживленная мыслью и интересомъ къ излагаемому предмету.

15 февр. 1890.

2.

Славянское Обозрѣніе, историко-литературный и политическій журналъ. Спб. 1892 г. Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль.

Этотъ журналъ, начавшійся въ нынѣшнемъ году и выходящій ежемѣсячными книжками (отъ 8 до 10 печатныхъ листовъ), составляетъ истинно отрадное явленіе въ нашей литературѣ. Доказать это легко. Во-первыхъ, онъ имѣетъ важную, необходимую задачу— слѣдить за духовнымъ и политическимъ развитіемъ славянскаго міра и объяснять это развитіе читателямъ; во-вторыхъ, онъ исполняетъ, или можетъ исполнять эту трудную задачу такъ хорошо, какъ едва ли способенъ исполнить свою програму какой бы то ни было другой органъ нашей печати. Во главѣ *Славянскаго Обозрѣнія* стоитъ профессоръ славянскихъ нарѣчій А. С. Будиловичъ, уже двадцать лѣтъ преподающій свой предметъ; между его сотрудниками первое мѣсто занимаетъ его учитель, профессоръ В. И. Ламанскій. Не указывая другихъ именъ, достаточно назвать этихъ двухъ нашихъ ученыхъ, чтобы понять, какъ будетъ вестись дѣло новаго журнала. Они не только изучали славян-

ство по книгамъ, но знаютъ его по собственнымъ наблюденіямъ, не разъ посѣщали славянскія страны, знакомы лично съ лучшими ихъ представителями и находятся со многими изъ нихъ въ постоянныхъ сношеніяхъ. Слѣдовательно, не по слухамъ, не отвлеченно, не мечтательно будетъ писаться новый журналъ, а съ точнымъ знаніемъ и живымъ пониманіемъ дѣла.

Вообще, нужно замѣтить, что изученіе славянства и любовь къ славянству чрезвычайно возрасли у насъ и продолжаютъ возрастать съ каждымъ годомъ. Можно назвать десятки людей, которые уже не ограничиваются одною платоническою любовью къ славянамъ и общими соображеніями о ихъ будущности, а ревностно изслѣдуютъ славянскій міръ во всѣхъ отношеніяхъ. Каѳедры славянскихъ нарѣчій въ нашихъ университетахъ постоянно всѣ заняты, и профессора этихъ каѳедръ (въ настоящее время большею частью изъ учениковъ В. И. Ламанскаго), отличаются тѣмъ живымъ пристрастіемъ къ своему предмету, которое одно могло побудить ихъ выбрать себѣ эту спеціальность, и которое одно порождаетъ послѣдователей. Плодомъ всей этой дѣятельности, конечно, оказывается цѣлая литература, непрерывно обогащающаяся новыми произведеніями, все болѣе и болѣе ученая, основательная и разносторонняя. Послѣдній крупный вкладъ въ эту литературу составляютъ недавно появившіеся два тома А. Будиловича: *Общеславянскій языкъ въ ряду другихъ общихъ языковъ древней и новой Европы.*

А какой духъ господствуетъ въ этой литературѣ? Естественнымъ и неизбѣжнымъ образомъ, по внутрен-

ней логикѣ самаго дѣла, все это движеніе совершается въ *славянофильскомъ* направленіи, въ духѣ Хомякова, Кирѣевскаго, Аксаковыхъ, Самариныхъ и пр. Любители просвѣщенія и образованности думали когда-то язвительно подшутить надъ этими людьми, назвавши ихъ *славянофилами*; потому что, для утонченнаго Европой русскаго ума и вкуса, нѣтъ ничего противнѣе славянскихъ словъ и даже славянскихъ буквъ, и нѣтъ народа ничтожнѣе какихъ-нибудь славянскихъ народностей. Но неразумная насмѣшка въ сущности оказалась похвалою. Кто изучаетъ славянскій міръ, тотъ начинаетъ понимать его душу, его внутреннюю силу, которою онъ жилъ и живетъ на всемъ протяженіи своей исторіи, тотъ скоро убѣждается въ своеобразіи этого міра, въ существенномъ различіи его духовныхъ началъ отъ началъ Европы, въ необходимости уяснять и укрѣплять эти самобытныя славянскія начала и противодѣйствовать подавляющимъ ихъ вліяніямъ Запада. Изучающій славянство естественно бываетъ славянскимъ патріотомъ, а славянскій патріотъ неизбѣжно становится славянофиломъ въ извѣстномъ значеніи этого слова. Такъ и *Славянское Обозрѣніе*, разсуждая о своей программѣ и о началахъ, которыхъ желаетъ держаться, говоритъ:

„Тѣмъ же началамъ служили, тою же программою руководились лучшіе изъ писателей и дѣятелей такъ называемаго славянофильскаго направленія, а между ними нынѣ наиболѣе еще памятный издатель „Дня“, „Москвы“, „Москвича“ и „Руси“, И. С. Аксаковъ (*Январь*, стр. 18).

Но зачѣмъ же русскому патріоту непремѣнно становиться патріотомъ славянскимъ? Да и то еще, нужно ли вообще быть какимъ нибудь патріотомъ? Въ сущности, эти вопросы, безпрестанно повторяющіеся, очень странны. Нужно ли, не нужно ли, объ этомъ напрасно спрашивать, когда по волѣ судебъ людское племя распадается на различные народы, и вся исторія человѣчества есть исторія этихъ народовъ. Патріотизмъ есть чувство столь же естественное и неизбѣжное, какъ любовь къ отцу и матери, къ женѣ и дѣтямъ. Не о томъ слѣдуетъ разсуждать, нужна ли эта любовь и нельзя ли ее устранить, напримѣръ, устроивши такъ, чтобы мужчина и женщина сходясь не знали другъ друга, чтобы дѣти не знали своихъ родителей, а родители своихъ дѣтей. Были остроумные люди, занимавшіеся подобными проектами раціональнаго человѣководства, но мало ли какія мысли приходятъ въ головы остроумныхъ людей! Вооружаться противъ чувства любви всегда непростительно и противоестественно. Слѣдуетъ разсуждать, напротивъ, только объ одномъ: *какова* должна быть наша любовь во всѣхъ случаяхъ, когда она является? Какъ вносить въ нее наилучшій смыслъ и оберегать ее отъ извращенія и одичанія? Напримѣръ, что̀ такое истинный патріотизмъ? Конечно, счастливъ тотъ, у кого есть отечество, кто мыслитъ и чувствуетъ за одно съ великимъ множествомъ своего народа, кто готовъ повиноваться этому народу, служить ему и въ случаѣ нужды умереть за него. Тутъ мы легко и радостно отказываемся отъ своего эгоизма, и никогда не позавидуемъ свободѣ человѣка, который, по какимъ нибудь

случайностямъ, обреченъ жить бобылемъ, гостемъ среди окружающаго племени, ничѣмъ съ нимъ не связаннымъ кромѣ общихъ человѣческихъ отношеній. Такъ точно, любя отца и мать, мы не можемъ найти ничего благополучнаго въ положеніи найденыша, незнающаго своего отца и матери. И однако же, какъ семейное чувство, такъ и патріотизмъ, могутъ быть слѣпы, узки, эгоистичны. Ибо наша семья и нашъ народъ—это вѣдь мы сами, и, любя ихъ, мы часто только просто себя любимъ. А любить себя можно различно. Можно угождать своему тѣлу и всякой страсти и злобѣ, какая въ насъ заводится; а можно выше всего ставить ту искру ума и совѣсти, которая въ насъ теплится, искру Божію, какъ говорятъ, и потому усердно служить этой искрѣ. Простой народъ у насъ, какъ извѣстно, отличается глубокимъ патріотизмомъ, но мы хотимъ говорить не объ этомъ патріотизмѣ. Народный патріотизмъ есть, безъ сомнѣнія, выраженіе духовной мощи, которою живетъ народъ; но онъ есть чувство полусознательное, почти инстинктивное. Съ этимъ чувствомъ русское племя успѣло побороть тысячи опасностей, среди которыхъ ему пришлось расти, побѣждало враговъ, низвергало своихъ поработителей, терпѣливо несло иго государства и возстановляло это государство, когда оно разсыпалось. Этимъ же чувствомъ крѣпка и теперь громадная Россія; душа нашего народа не убываетъ. Но пришла для насъ и пора самосознанія, стремленія понять эту душу, понять дѣла, ею совершенныя, и духъ, ею движущій. Мы говоримъ, слѣдовательно, о сознательномъ патріотизмѣ, свойственномъ

людямъ мыслящимъ, способнымъ разсуждать о своихъ чувствахъ, и задаемся вопросомъ, чему долженъ служить русскій человѣкъ, служа своей родинѣ?

Въ вопросѣ этомъ двѣ стороны — внутренняя и внѣшняя. Любовь къ отечеству тѣмъ и дорога, что мы можемъ естественно, по какому-то прирожденному сердечному расположенію, любить самые высокіе идеалы своего народа, тѣ цѣли и доблести, до любви къ которымъ намъ въ отдѣльности было бы не легко дорасти и додуматься. Великое дѣло, если мы, исповѣдуя себя патріотами, будемъ останавливаться не на второстепенныхъ чертахъ, не на томъ только, что̀ намъ выгодно и пріятно, а, напротивъ, будемъ благоговѣйно вникать въ глубочайшія стремленія народнаго духа и служить имъ, отвергая всякіе соблазны другихъ стремленій. Это во-первыхъ. А другая, неизбѣжная сторона истиннаго патріотизма есть осмысленный взглядъ на политическое положеніе Россіи среди другихъ народовъ, такъ сказать, на ея роль во всемірной исторіи. Космополитъ свободенъ отъ такой заботы, но она—непремѣнный долгъ всякаго русскаго, желающаго участвовать мыслью и сердцемъ въ судьбахъ своего народа. Россія есть главный представитель славянства, и вопросъ объ ея всемірномъ положеніи есть такъ называемый *славянскій вопросъ*, который и Европа давно уже для себя поставила и называетъ „восточнымъ“ вопросомъ. Русскій патріотъ не можетъ не принимать душевнаго участія въ этомъ вопросѣ.

Разумѣется, всякій нашъ внѣшній патріотизмъ долженъ опираться на внутренній и неразлучно съ нимъ

соединяться. Славянство составляетъ предметъ нашей любви и дѣятельности лишь въ силу того, что оно есть воплощеніе славянскаго духа. Невольно вспоминаются намъ при этомъ слова В. И. Ламанскаго, сказанныя имъ нѣсколько лѣтъ назадъ, какъ формула истиннаго патріотизма въ отличіе отъ ложнаго.

„Въ требованіяхъ разныхъ лицъ и общественныхъ группъ“, говорилъ онъ въ 1887 году, „чтобы Россія отвернулась отъ восточнаго, славянскаго вопроса, совсѣмъ забыла его, относилась къ нему, какъ будто его никогда и на свѣтѣ не было, и занималась лишь своими внутренними дѣлами, — въ этихъ требованіяхъ лежитъ глубокое недоразумѣніе. Внутреннее состояніе Россіи, внутреннія ея дѣла—вѣдь это же и есть самая важная, самая существенная часть восточнаго, славянскаго вопроса. Пропади сегодня Россія, и завтра же всѣ эти польскій, чешскій, словинскій, хорватскій, сербскій, болгарскій и румынскій вопросы обратятся во внутреннія, домашнія дѣла Германіи и Австро-Венгріи; а по греческому имъ пришлось бы развѣ пригласить, для мирнаго дѣлежа, Англію, Францію и, можетъ быть, еще Италію. Міровой характеръ восточнаго вопроса и есть самое внутреннее дѣло, самый, такъ сказать, наивнутреннѣйшій вопросъ Россіи, каждаго русскаго человѣка, каждой души православной, каждаго славянина во всемъ Божьемъ мірѣ. Нужны ли земному шару и проявляющему на немъ свою дѣятельность человѣческому духу и общежитію, нужны ли будущимъ вѣкамъ—восточное православіе, какъ вѣра и просвѣтительное начало, и славянское племя, какъ особый видъ человѣче-

ства? Западное христіанство, латинство и протестанство, утверждаетъ, что восточное не нужно и безполезно и обречено къ переходу, къ исчезновенію въ нихъ, или къ самоуничтоженію. Германцы, даже мадьяры, а съ ними многіе изъ романцевъ, увѣрены, что славянство, какъ племя низшее, должно быть ассимилировано и поглощено ими, служить питанію и произращенію благороднѣйшей германской расы, творца нынѣшней европейской и слѣдовательно общечеловѣческой, единственно истинной и возможной въ будущемъ, образованности. Къ этому вопросу не можетъ равнодушно относиться ни одна мыслящая русская голова, ни одна любящая русская душа. До утвердительнаго или отрицательнаго рѣшенія этого вопроса въ себѣ самомъ, въ своемъ сознаніи—ни одинъ русскій человѣкъ, а слѣдовательно, и вся Русь не можетъ надѣяться на счастливое или должное рѣшеніе восточнаго вопроса. Что̀ не рѣшено въ сознаніи, то не найдетъ себѣ рѣшенія и въ жизни. Печальное неустройство нашихъ восточныхъ и славянскихъ дѣлъ объясняется прежде всего и преимущественно, если даже не исключительно, сильнымъ, яснымъ сознаніемъ нашего могущественнаго сосѣда и противника, романо-германскаго Запада, знающаго, чего онъ желаетъ, и, во всеоружіи своей блестящей цивилизаціи, идущаго на проломъ къ намѣченнымъ уже въ теченіе вѣковъ цѣлямъ, тогда какъ восточно-христіанскій, греко-славянскій востокъ, и въ цѣломъ и въ своихъ отдѣлахъ — русскомъ, греческомъ, румынскомъ и разныхъ славянскихъ, — страдаетъ прежде всего недостаткомъ яснаго разумѣнія своего внутренняго и своего внѣш-

няго по отношенію къ Западу положенія, своихъ взаимныхъ отношеній“.

„У насъ господствуютъ два умственныхъ теченія, одинаково одностороннихъ и вредно вліяющихъ на успѣхъ русскаго просвѣщенія и гражданственности. Одно изъ нихъ высоко цѣнитъ западную образованность, дорожитъ успѣхами знанія и интересами личной, общественной и политической свободы, но не умѣетъ или не хочетъ понять самобытности и высоты русскаго просвѣтительнаго начала и относится къ нему отрицательно и враждебно, съ совершенно западно-европейской точки зрѣнія. Другое, чувствуя значительную неправду этой точки зрѣнія, сознавая эгоизмъ и національную исключительность западно-европейскихъ воззрѣній и дѣйствій относительно Россіи и нашего востока, выдвигаетъ русскую самобытность и вооружается нерѣдко не только противъ западно-европейской политики, но и противъ цивилизаціи, и не нѣкоторыхъ только ея сторонъ, а и противъ принципа свободы и противъ науки“. „Это направленіе любитъ называть исключительно себя національнымъ и русскимъ, щеголяетъ своимъ патріотизмомъ, часто не меньше крайнихъ западниковъ презираетъ и знать не знаетъ древнюю и старую Россію, безпрестанно ссылается на славныя преданія Петра Великаго и Екатерины II, забывая или не умѣя понять, что въ этомъ XVIII вѣкѣ и русскій народный быть, и русская духовная свобода (церковь), двѣ самобытныя стихіи Россіи, были наиболѣе подавлены и принижены“.

„Понимая такъ ограниченно и ложно русскую духовную самобытность, особенности русскаго просвѣти-

тельнаго начала, то и другое изъ этихъ господствующихъ у насъ направленій не въ силахъ сознать значенія и другихъ важныхъ сторонъ восточнаго, славянскаго вопроса, и тѣмъ менѣе ихъ уладить и устроить"*).

Эта выписка, намъ думается, лучше всякихъ нашихъ объясненій, можетъ дать читателямъ понятіе о духѣ и направленіи того *Славянскаго Обозрѣнія*, которое начато въ нынѣшнемъ году. Главный его предметъ — внутреннее, духовное развитіе славянства, и въ связи съ этимъ изложеніе всякихъ внѣшнихъ, политическихъ обстоятельствъ славянскихъ народностей. Отъ всѣхъ прежнихъ изданій подобнаго рода новый журналъ отличается тѣмъ, что ведетъ свое дѣло уже вполнѣ систематически. Въ каждомъ номерѣ находятся обширные отдѣлы *Лѣтопись* и *Смѣсь*. Въ „Лѣтописи" обозрѣваются и объясняются всѣ главныя изъ текущихъ явленій славянскаго міра; въ „Смѣси" говорится о всякаго рода мелкихъ фактахъ, имѣющихъ значеніе для задачи журнала. Такъ какъ оба отдѣла составляются съ отличнымъ знаніемъ и пониманіемъ дѣла, то теперь мы, наконецъ, имѣемъ изданіе, въ которомъ можемъ почерпать точныя и правильныя свѣдѣнія о всякихъ славянскихъ дѣлахъ. Редакція обладаетъ всѣми средствами знать эти дѣла, и въ числѣ ея сотрудниковъ есть многіе славяне.

Но это лишь повременные отдѣлы журнала. Основной его отдѣлъ точно также превосходно соотвѣтствуетъ главной цѣли изданія. Журналъ открывается статьею В. И. Ламанскаго—*Три міра азійско-европейскаго ма-*

*) «Извѣстія С.-Петербургскаго славянскаго благотворительнаго Общества» за 1887 г., стр. 438, 439.

терика, занявшею много страницъ въ каждомъ изъ первыхъ четырехъ нумеровъ. Можно сказать, что это— изложеніе восточнаго вопроса въ его современномъ состояніи, какъ бы его современная географія, этнографія, политика и исторія. Авторъ доказываетъ, что этотъ вопросъ есть вопросъ объ особомъ мірѣ, который онъ называетъ *среднимъ*, въ противоположность западному— Европѣ, и восточному—остальной Азіи. Необыкновенная ученость, обиліе фактовъ и остроумныхъ обобщеній и сопоставленій дѣлаетъ эту статью въ высшей степени поучительною и важною. Сухо и холодно авторъ ставитъ фактъ за фактомъ, проводитъ черту за чертою, совершая весь этотъ трудъ съ безпристрастіемъ, осторожностію и точностію ученаго. Но, читая, вы чувствуете между тѣмъ, что это строгое изслѣдованіе согрѣто самою горячею любовью къ своему предмету.

Затѣмъ въ журналѣ идетъ рядъ статей, посвященныхъ характеристикѣ различныхъ дѣятелей науки и литературы, особенно дорогихъ славянству: Погодина, Кояловича, Потебни, Первольфа, Амоса Коменскаго, Л. Н. Толстого, Востокова. При каждой книжкѣ прилагается гравюра, большею частію портретъ одного изъ лицъ, о которыхъ говоритъ журналъ. Всѣ эти характеристики, часто небольшія, очень важны: они сдѣланы съ искреннею любовью не только къ лицамъ, а еще болѣе къ самому дѣлу, и потому опредѣляютъ съ большею точностію значеніе, такъ сказать, относительный вѣсъ каждаго лица. Кто прочтетъ, напримѣръ, нѣсколько страницъ о недавно умершемъ Потебнѣ, тотъ пойметъ, какимъ яркимъ свѣтиломъ въ наукѣ былъ этотъ нашъ

ученый, о которомъ едва ли знаютъ что нибудь обыкновенные русскіе читатели. Не нужно думать вообще, что патріоты, подобные сотрудникамъ Славянскаго Обозрѣнія, расположены къ пристрастію и панегирикамъ; они скорѣе отличаются только тою внимательностію и зоркостію, какую всегда даетъ намъ любовь. Славянофилы, впрочемъ, издавна извѣстны строгостью своихъ оцѣнокъ, и не легко заслужить признаніе съ ихъ стороны. Въ то же время они не прочь отдавать должную честь и людямъ инаго направленія, даже прямымъ измѣнникамъ славянской идеи. Родной талантъ, родная сила, даже если заблуждается и искажается, все-таки радуетъ патріота, какъ признакъ дарованій и душевной мощи, живущихъ въ народѣ. Ибо нужно твердо вѣрить, что добрыя начала побѣдятъ, и что все пойдетъ въ прокъ народному самосознанію, лишь бы мы не спали и не стремились только говорить и дѣйствовать, а любили также и думать.

27-го мая.

3.

„Легенда о великомъ инквизиторѣ“ *Ѳ. М. Достоевскаго.* Опытъ критическаго коментарія, *В. Розанова.* Спб. 1894.

Очень интересная книга. По высотѣ взгляда, на которую поднимается критикъ, и по глубинѣ пониманія, она, можно сказать, достойна своего предмета. А предметъ есть знаменитая „Легенда“, произведеніе, въ которомъ, какъ въ фокусѣ, сосредоточены вопросы, мучительно волновавшіе Достоевскаго въ теченіе жизни. Критикъ очень хорошо сравниваетъ эту „Легенду“ съ тѣмъ портретомъ въ повѣсти Гоголя, въ которомъ удержалась частица жизни изображаемаго лица; такъ и въ „Легендѣ“ осталась намъ навсегда индивидуальная мысль Достоевскаго во всей ея сложности и особенности.

Мы переносимся за много лѣтъ назадъ, въ „нигилистическій періодъ“ нашей литературы, въ концѣ котораго и какъ-бы въ заключеніе была написана эта „Легенда“. Умственное волненіе было тогда чрезвычайное; всѣ вопросы поднимались съ самаго корня, рѣшались, перевершались и опять поднимались. Знакомые, не видѣвшіе другъ друга годъ или два, встрѣчались

между собою съ горячими и жадными вопросами: „Ну, что? Къ чему вы пришли? На чемъ теперь остановились?“ Едва ли когда повторится въ такихъ размѣрахъ эта лихорадка мысли, оторвавшейся отъ дѣйствительности и мечущейся въ пустомъ пространствѣ. Конечно, всегда будутъ отдѣльныя лица, приходящія въ такое положеніе; но во времена нигилизма почти вся „интеллигенція“ потеряла подъ собой всякую почву. Положеніе тогдашнихъ умовъ и душъ было до такой степени необычайное, что, мало-по-малу, оно становится для насъ непонятнымъ. Даже тѣ, кто видѣлъ его собственными глазами, начинаютъ забывать его, какъ тяжелый и странный сонъ. А тѣ, кто приступаетъ къ нему съ обыкновенными общими мѣрками, едва ли въ состояніи глубоко въ него проникнуть.

Ни въ комъ это время не отразилось такъ, какъ въ Достоевскомъ. Онъ всею душою входилъ въ эти болѣзненныя настроенія и, начиная съ „Преступленія и наказанія“, вывелъ намъ цѣлую толпу нигилистовъ съ ихъ волненіями, дѣйствіями и судьбами. Тогдашніе либералы не разъ говорили, что онъ клевещетъ на молодое поколѣніе, приписывая своимъ героямъ мысли о самоубійствахъ и злодѣйствахъ. Но этотъ упрекъ потерялъ свою силу, по мѣрѣ того, какъ дѣйствительно происходилъ цѣлый рядъ этихъ злодѣйствъ. Можетъ быть, справедливѣе упрекнуть Достоевскаго въ томъ, что его нигилисты стоятъ нѣсколько выше дѣйствительности: они у него сознательнѣе, логичнѣе, тверже держатся своихъ идей, чѣмъ это можно предполагать у дѣйствительныхъ нигилистовъ. Всякія умственныя и

нравственныя увлеченія выступаютъ у романиста въ яркихъ и сильныхъ формахъ; безобразіе этихъ увлеченій и тѣ мученія, къ которымъ они приводятъ увлекающихся, также изображены съ большою глубиною. Нѣсколько слабѣе, обыкновенно, является тотъ теоретическій поворотъ, который слѣдуетъ за раскаяніемъ, за практическимъ поворотомъ героевъ, отрезвленныхъ жизнью и своими собственными поступками. Г. Розановъ такъ опредѣляетъ Достоевскаго:

„Какъ ни привлекателенъ міръ красоты, *есть нѣчто еще болѣе привлекательное*... Это—паденія человѣческой души, странная дисгармонія жизни, далеко заглушающая ея немногіе стройные звуки. Въ формахъ этой дисгармоніи проходятъ тысячелѣтнія судьбы человѣчества, и если мы посмотримъ на всемірную литературу, мы увидимъ, что ничей взоръ въ ней не былъ устремленъ съ такимъ проникновеніемъ на причины этой дисгармоніи, какъ взоръ писателя, котораго мы разбираемъ. Оттого среди всего хаоса его произведеній, мы ни у кого не найдемъ такой цѣльности и полноты: есть что-то кощунственное въ немъ и вмѣстѣ религіозное. Онъ не избираетъ ни одной картины въ природѣ, чтобы любить ее и возсоздавать; его интересуютъ только швы, которыми стянуты всѣ эти картины; онъ, какъ холодный аналитикъ, всматривается въ нихъ и хочетъ узнать, почему весь образъ Божьяго міра такъ искаженъ и неправиленъ. И съ этимъ анализомъ онъ непостижимымъ образомъ соединилъ въ себѣ чувство самой горячей любви ко всему страдающему. Какъ будто то искаженіе, которое проходитъ по лицу Божьяго міра, особенно

глубоко прошло по немъ самомъ, тронуло его внутренній міръ... Отсюда вытекаетъ глубокая субъективность его произведеній... Его голосъ доходитъ до насъ какъ будто издали и, когда мы приближаемся, мы видимъ одинокое и странное существо тамъ, гдѣ никого другаго нѣтъ, и оно говоритъ намъ о нестерпимыхъ мученіяхъ человѣческой природы, о совершенной невозможности выносить ихъ и о необходимости найти какіе-нибудь пути, чтобы изъ нихъ выйти".

„Это-то и сообщаетъ его произведеніямъ вѣковѣчный смыслъ, неумирающее значеніе" (стр. 28—29).

Нельзя не согласиться, что это и очень вѣрно схвачено, и очень хорошо сказано. Мы видимъ, притомъ, пріемъ г. Розанова: онъ обобщаетъ Достоевскаго, онъ смотритъ на него съ вѣковѣчной точки зрѣнія. Это естественно, потому что критикъ, на сей разъ, можно сказать, сливается съ разбираемымъ авторомъ: что составляетъ интересъ, вопросъ для автора, то, очевидно, есть интересъ, вопросъ и для критика. „Паденіе человѣческой души" для него „привлекательнѣе, чѣмъ міръ красоты" (стр. 28).

Въ книгѣ г. Розанова можно различить три главныхъ темы: 1) характеристика Гоголя, сдѣланная ради контраста Достоевскому; 2) истолкованіе „Легенды", указывающее на весь пессимизмъ и отчаяніе, выраженное въ этомъ центральномъ произведеніи Достоевскаго; 3) собственныя разсужденія критика, въ которыхъ онъ старается оцѣнить этотъ пессимизмъ и указать исходъ изъ него.

Рѣзкая характеристика Гоголя, когда появилась въ

„Русскомъ Вѣстникѣ“, вызвала большіе упреки г. Розанову, и она, конечно, страдаетъ преувеличеніемъ. Но основаніе ея заключается въ дѣйствительной противоположности между Гоголемъ и Достоевскимъ, и въ томъ, что критикъ рѣшительно сталъ на сторону Достоевскаго. Дѣло это поучительное, и очень стоитъ вниманія. Словесное художество такъ свободно и такъ далеко можетъ отступать отъ нормы, что необходимо дѣлать въ немъ подраздѣленія и различать степени и направленія. Гоголь есть представитель истиннаго комизма, безподобный изобразитель человѣческой пошлости и глупости. Инымъ этого мало; имъ нужно зубоскальство и глумленіе, — и появляется сатира въ родѣ писаній Салтыкова. Другимъ все это противно; является то, что̀ Ап. Григорьевъ называлъ *сантиментальнымъ натурализмомъ*, изображеніе дѣйствительности во всей ея грязи, но безъ юмора и насмѣшки, а съ сожалѣніемъ и участіемъ. Читая Диккенса, Достоевскаго, Виктора Гюго, мы, конечно, воспитываемъ въ себѣ прекрасныя чувства; но очень жаль будетъ, если мы при этомъ потеряемъ способность *смѣха*, честнаго, веселаго смѣха надъ пошлостью и глупостью. Какъ извѣстно, этой способности большею частью лишены женщины; для нихъ все бываетъ или жалко, или противно, но смѣшнаго почти не бываетъ. И такъ, сантиментальность можетъ переходить въ большую односторонность, хотя, съ другой стороны, и способна восходить до прекраснаго исканія „Божьей искры“ въ каждомъ ничтожномъ и жалкомъ человѣкѣ.

Коментаріи на „Легенду“ занимаютъ главное и

наибольшее мѣсто въ книгѣ г. Розанова. Вообще, онъ находитъ, что Достоевскій постоянно имѣлъ въ виду одинъ вопросъ, именно „надежду съ помощію разума возвести зданіе человѣческой жизни настолько совершенное, чтобы оно дало успокоеніе человѣку, завершило исторію и уничтожило страданіе; *критика этой идеи* проходитъ черезъ всѣ его сочиненія, впервые же, и притомъ съ наибольшими подробностями, она высказана была въ „Запискахъ изъ подполья“ (стр. 38)“.

Слѣдовательно, вотъ съ какого времени, съ 1863 года и до конца жизни, этотъ вопросъ занималъ Достоевскаго, и, наконецъ, достигъ полнаго своего выраженія въ „Легендѣ“. Критикъ слѣдитъ за всѣми послѣдовательными обнаруженіями этой мысли у Достоевскаго. Къ коментаріямъ на „Легенду“, которыя были уже напечатаны въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, г. Розановъ въ книгѣ прибавилъ *Приложенія* (стр. 203—234), въ которыхъ даетъ и объясняетъ извлеченія изъ другихъ сочиненій Достоевскаго, относящіяся къ темѣ „Легенды“.

Что же это за тема? Что за вопросъ? Критикъ, какъ мы уже замѣтили, сливается въ пониманіи съ авторомъ и потому разсматриваетъ все дѣло съ общей точки зрѣнія. Но частныя, особенныя черты этого дѣла, намъ кажется, явны и ясны. Это—вопросъ *соціализма*, того направленія умовъ, которое достигло своей зрѣлости въ половинѣ нашего столѣтія и имѣло цѣлью—измѣнить всѣ формы общественной жизни, передѣлать весь ходъ исторіи. Теперешній соціальный вопросъ представляетъ нѣсколько другой характеръ: онъ ищетъ,

главнымъ образомъ, выхода изъ бѣдственнаго положенія рабочихъ классовъ; но прежде, во времена Достоевскаго, соціализмъ имѣлъ болѣе свѣтлую окраску, былъ смѣшанъ съ золотыми мечтаніями о счастіи и прогрессѣ. Мысль о такого рода переворотѣ лежала въ основаніи всякихъ отрицаній и покушеній, среди которыхъ жилъ Достоевскій, когда-то и самъ бывшій приверженцемъ фурьеризма. Понятно, что эта тема глубоко занимала его и что онъ, рисуя своихъ нигилистовъ, безпрестанно приходилъ къ соображеніямъ о противорѣчіи ихъ стремленій человѣческой природѣ и человѣческой исторіи.

Мы не будемъ входить въ подробности коментарія г. Розанова; это слишкомъ сложно, слишкомъ обильно содержаніемъ. Въ заключеніе критикъ такъ характеризуетъ „поэму“, которую онъ разбиралъ:

„Прежде всего насъ поражаетъ необыкновенная сложность ея и разнообразіе, соединенныя съ величайшимъ единствомъ. Самая горячая любовь къ человѣку въ ней сливается съ совершеннымъ къ нему презрѣніемъ, безбрежный скептицизмъ—съ пламенною вѣрою, сомнѣніе въ зыбкихъ силахъ человѣка—съ твердою вѣрою въ достаточность своихъ силъ для всякаго подвига; наконецъ, замыселъ величайшаго преступленія, какое было когда-либо совершено въ исторіи, съ неизъяснимо-высокимъ пониманіемъ праведнаго и святаго. Все въ ней необыкновенно, все чудно. Точно тѣ зыбкія струи добра и зла, которыя льются и переливаются въ исторіи, сплетая ея многосложный узоръ,—вдругъ соединились, слились между собою, и, какъ въ

тотъ первый моментъ, когда человѣкъ впервые научился различать ихъ, и началъ свою исторію, мы снова видимъ ихъ нераздѣльными и такъ же, какъ онъ тогда, поражены ужасомъ и недоумѣніемъ. Гдѣ Богъ, и истина, и путь? спрашиваемъ мы себя" (стр. 143).

Видя въ „Легендѣ" выраженіе такого полнаго отчаянія и предполагая даже, что самъ авторъ „Легенды" испытывалъ въ себѣ порывы такого отчаянія, критикъ затѣмъ ищетъ выхода изъ этихъ печальныхъ мыслей. По его мнѣнію, онѣ порождены европейскимъ духовнымъ развитіемъ, какъ жизнью, которая, бывши нѣкогда христіанскою, „потомъ обратилась къ инымъ источникамъ бытія и жизни". „Вотъ уже болѣе двухъ вѣковъ минуло", говоритъ критикъ, „какъ великій завѣтъ Спасителя: „ищите *прежде* царствія Божія и все остальное приложится вамъ"—европейское человѣчество исполняетъ наоборотъ, хотя оно и продолжаетъ называться христіанскимъ" (стр. 154, 155).

Затѣмъ г. Розановъ начинаетъ излагать недостатки современной жизни Запада, характеризуетъ духъ романской Европы и католичества, духъ германскаго племени и протестантства, и кончаетъ характеристикою славянства и православія, какъ стихіи, въ которой возможно найти примиреніе душевныхъ силъ и спасеніе отъ отчаянія. Однимъ словомъ, если употребимъ давно установившуюся формулу, мы должны сказать, что г. Розановъ *славянофильствуетъ*, излагаетъ нѣкоторое *славянофильское* исповѣданіе убѣжденій.

Пусть читатели сами вникнутъ въ эти разсужденія, писанныя съ большимъ воодушевленіемъ, и если стра-

дающія иногда преувеличеніями и неточностію, то всегда, однако же, оживленныя чувствомъ и мыслію. Съ своей стороны мы прибавимъ лишь одно общее замѣчаніе. Г. Розановъ, очевидно, принадлежитъ къ людямъ, которые выросли на Достоевскомъ. Такихъ людей, конечно, множество; всѣ молодые люди послѣднихъ двѣнадцати и пятнадцати лѣтъ прошли черезъ Достоевскаго. Такова привлекательность этого писателя, а благодаря усердію издателей, можно сказать, что нѣтъ у насъ другаго писателя, который бы такъ всѣмъ былъ доступенъ, такъ всѣми читался. Между тѣмъ, что̀ такое Достоевскій? Въ той или другой степени, въ томъ или другомъ видѣ, это—*славянофилъ*, это очень горячій сторонникъ славянофильства. Недавно къ славянофиламъ стали причислять К. Н. Леонтьева, очень мало читавшагося; почему же не вспомнятъ о Достоевскомъ? Относительно Леонтьева вышли по этому поводу пререканія, которыхъ, кажется, не было бы относительно Достоевскаго.

Въ прошломъ году, когда поднялись споры о положеніи славянофильства (продолжающіеся и до сихъ поръ), А. Н. Пыпинъ подвелъ въ „Вѣстникѣ Европы“ слѣдующій итогъ, опредѣляющій это положеніе:

„Г. Милюковъ, быть можетъ, слишкомъ поторопился хоронить славянофильство. Если его нѣтъ въ подлинномъ старомъ составѣ его ученій, то, съ одной стороны, Данилевскій (хотя бы и не вышедшій непосредственно изъ славянофильства) имѣетъ множество поклонниковъ, и его книга признана новымъ, истиннымъ кодексомъ славянофильства; съ другой—г. Со-

ловьевъ находилъ, что—„умерла ли выдѣлившаяся изъ славянофильства универсально-религіозная идея,—этотъ вопросъ, произвольно рѣшенный П. Н. Милюковымъ, еще подлежитъ высшей инстанціи". Наконецъ, фактически сохраняютъ свое значеніе (хотя съ разными оттѣнками) взгляды стараго славянофильства на славянскій вопросъ, которые поддерживаются славянскими благотворительными комитетами".

„Особую варіацію провиденціальныхъ теорій представляютъ взгляды Леонтьева,—сосѣдніе, но не сливающіеся со славянофильствомъ". (Вѣстн. Евр.", 1893, сентябрь, стр. 310).

И такъ, слава Богу, славянофильство еще существуетъ, имѣетъ даже свой кодексъ и представляетъ, какъ тому и слѣдуетъ быть, разный „варіаціи", „оттѣнки", взгляды „выдѣлившіеся", „сосѣдніе" и т. п. Почему бы не причислить сюда и Достоевскаго, положимъ, даже какъ представителя только „*сосѣднихъ* взглядовъ"? А тогда пришлось бы поставить на счетъ и все необозримое множество его „поклонниковъ".

Славянофильство есть просвѣщенный, идеализированный патріотизмъ, и, нужно полагать, онъ уже никогда не заглохнетъ у насъ ни въ грубомъ и слѣпомъ патріотизмѣ, ни въ безжизненномъ космополитизмѣ.

20 ноября 1894.

Старый книголюбъ.

4.

Дѣвица Жиро, моя супруга. Романъ, соч. **А. Белло.** Съ французскаго. Изд. С. Н. Львова. Спб 1870..

Иностранные беллетристы. Густавъ Флоберъ. Сантиментальное воспитаніе. Изданіе А. Энгельгардтъ и А. Степановой Спб. 1870.

Человѣкъ, который смѣется. Романъ **Виктора Гюго.** Переводъ съ французскаго подъ редакціей Марка-Вовчка. Спб. 1869.

Дача на Рейнѣ. Романъ въ пяти частяхъ. **Б. Ауэрбаха.** Переводъ съ нѣмецкаго. Съ предисловіемъ **И. С. Тургенева.** Три тома. Спб. 1870.

Собраніе сочиненій Шиллера въ переводахъ Русскихъ писателей Изд. подъ ред. Н. В. Гербеля. Т. VIII. Спб. 1870.

I.

Западная словесность въ отношеніи къ русской.

Благодареніе небесамъ! Вліяніе иностранной словесности у насъ значительно уменьшилось и продолжаетъ уменьшаться съ каждымъ годомъ, съ каждымъ днемъ. Этотъ могучій, подавляющій авторитетъ теряетъ свою силу; становится легче дышатъ, мыслить и чувствовать. Во первыхъ, оказывается все больше и больше возможнымъ

смѣть
Свое сужденіе имѣть.

Во вторыхъ все больше и больше отпадаетъ забота, нѣкогда поглощавшая почти всѣ наши умственныя силы, мѣшавшая намъ думать и работать,—забота слѣдить за тѣмъ, что пишется и думается въ Европѣ. Все меньше и меньше оказывается надобности въ томъ пристальномъ, неустанномъ вниманіи, съ которымъ мы нѣкогда слѣдили за умственной дѣятельностію Запада*).

Живо помнимъ мы еще послѣднее десятилѣтіе прошлаго царствованія, помнимъ тотъ складъ, тѣ пріемы и формы, которыя имѣла тогда наша умственная жизнь здѣсь, въ Петербургѣ, гдѣ всего быстрѣе отражаются всякія явленія нашего развитія. Тогда всѣ, кто имѣлъ притязаніе на образованность, сидѣли за иностранными книжками. Не только студенты, литераторы, ученые или готовящіеся къ ученой карьерѣ, но и чиновники, помѣщики, всякаго рода люди, жаждавшіе просвѣщенія и считавшія себя способными къ нему, старались почерпать свои понятія и взгляды изъ иностранныхъ книжекъ. Если у кого было свое собраніе книгъ, небольшая библіотека, то навѣрное она вся состояла изъ французовъ и нѣмцевъ, а русская книга была въ ней исключеніемъ, рѣдкостію. Главная книжная торговля была иностранная. Толкучій рынокъ—мѣсто, на которомъ всего яснѣе отражается, какія книги въ наибольшемъ употребленіи, какое наслѣдство осталось послѣ умирающихъ, отъѣзжающихъ, раззоряющихся,—толкучій рынокъ былъ заваленъ иностранными книгами; лавочки, торговавшія однѣми русскими книгами, были исключе-

*) Писано въ 1870 году; прошу прощенія у читателей за преувеличенныя надежды.

ніемъ. Но самая существенная книжная торговля, та, которою питался сокъ образованныхъ людей, будущая надежда литературы и передового движенія, была тайная торговля, происходившая помощію такъ называемыхъ *букинистовъ*. Съ мѣшками книгъ букинисты ходили по домамъ и доставляли за очень умѣренныя цѣны всѣ запрещенныя сочиненія: Луи Блана, Леру, Жоржъ-Занда, Фейербаха и пр. и пр. Такимъ образомъ, самыя крайнія ученія Запада составляли главный предметъ тогдашней умственной жадности. Новая книжка, представлявшая новый шагъ тогдашняго европейскаго прогресса, тотчасъ была прочитываема избраннѣйшими, наиболѣе передовыми людьми. Подъ покровомъ тайны эти ученія имѣли особую привлекательность, особый жгучій вкусъ, и были быстро усвояемы. Въ 1844 году матеріализмъ, соціализмъ, нигилизмъ — были уже въ полномъ ходу, составляли для человѣка, пріѣхавшаго изъ провинціи, самую поразительную и яркую черту умственной жизни Петербурга.

Съ тѣхъ поръ, и разумѣется съ 1855 года, какъ все перемѣнилось! Теперь наши образованные, передовые люди, для развитія своего ума и просвѣтленія своихъ понятій, читаютъ преимущественно русскія книги, именно — или оригинальныя произведенія, напр. Бѣлинскаго, Добролюбова, Писарева, „Что дѣлать?“ „Рефлексы головнаго мозга“ и пр., или книги, переведенныя на русскій языкъ, напр. Бокля, Дарвина, Милля, Льюиса, Спенсера, Карла Фохта, и пр. и пр. Эти и подобныя книги составляютъ важнѣйшую часть небольшихъ библіотекъ нынѣшнихъ просвѣщенныхъ юношей и жен-

щинъ. Торговля русскими книгами точно также усилилась необыкновенно. Толкучій, это благословенное мѣсто, куда бѣдняки отправлялись за пищею для ума, и гдѣ можно было найти всяческую литературу французскую и нѣмецкую,—толкучій уже не торгуетъ иностранными книгами. Главный товаръ всѣхъ лавочекъ,—русскія изданія, и лавочки исключительно иностранныхъ книгъ сдѣлались рѣдкостію. Букинисты уже не ходятъ по домамъ,—не потому, чтобы это было запрещено, а потому, что имъ нечѣмъ торговать. Ихъ прежній товаръ потерялъ всякую привлекательность, отчасти потому, что правительство перестало преслѣдовать иностранныя книги крайнихъ направленій, и ихъ легко добыть съ соблюденіемъ нѣкоторыхъ формальностей, но, главное, потому, что ходъ прежняго товара букинистовъ убитъ конкурренціею русскаго товара, что русскія изданія, продаваемыя открыто, поравнялись своимъ интересомъ съ иностранными и даже превзошли ихъ.

Да, русская литература растетъ и зрѣетъ, и по мѣрѣ того, какъ увеличивается ея объемъ и вліяніе, необходимо долженъ понижаться авторитетъ иностранной литературы. Въ сущности, пожалуй, радоваться особенно нечему; въ сущности, у насъ одно безобразіе замѣнилось другимъ, и мы, какъ говорится, поправились изъ кулька въ рогожку. Настроеніе умовъ, по прежнему, болѣзненно, уродливо; по прежнему можно сказать:

Какъ во всемъ этомъ видна
Зыбь поверхности одна! *)

*) Два стиха, которые случайно вырвались у А. Н. Майкова въ разговорѣ.

Но все-таки, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ радоваться, что направленіе этой зыби измѣнилось. Освобожденіе отъ авторитета Запада есть столь великое дѣло, что ему нельзя не сочувствовать, когда оно совершается правильно, естественно, въ силу неизбѣжнаго теченія вещей. Когда одна глупость замѣняется другою, мы, конечно, не имѣемъ права радоваться новой глупости, какъ какому нибудь положительному пріобрѣтенію; но самое движеніе умовъ мы можемъ считать за отрадный признакъ, ибо и глупости имѣютъ свой логическій ходъ, который рано или поздно приведетъ ихъ къ разоблаченію, къ обличенію ихъ внутренней несостоятельности. Такъ авторитетъ Запада, неправильный, фантастически-искаженный и чудовищно-преувеличенный, падаетъ у насъ не вслѣдствіе одного развитія *истинной*, *настоящей* русской литературы, но и вслѣдствіе развитія фальшивыхъ, уродливыхъ литературныхъ явленій, масса которыхъ безмѣрно превосходитъ явленія правильныя и здоровыя. Авторитетъ Запада съ каждымъ годомъ, съ каждымъ днемъ подкапывается самими западниками. Чѣмъ больше переводится иностранныхъ книгъ, чѣмъ больше является всякихъ статей и разсужденій, наполненныхъ западными идеями, чѣмъ гуще становятся толпы послѣдователей разныхъ западныхъ ученій, тѣмъ быстрѣе и быстрѣе потрясается, расшатывается и обваливается страшный колоссъ этого авторитета. Во первыхъ—всякое явленіе, перенесенное ближе къ намъ, теряетъ уже то обаяніе, которое имѣютъ предметы, видимые издалека. Переводчикъ, благоговѣйно передающій на русскомъ языкѣ какую нибудь книгу,

обыкновенно и не думаетъ, что онъ трудится надъ уничтоженіемъ одного изъ могущественныхъ очарованій книги, что онъ снимаетъ съ нея тотъ покровъ чужаго языка, подъ которымъ ея содержаніе, въ силу нѣкотораго оптическаго обмана, кажется гораздо красивѣе и глубокомысленнѣе, чѣмъ оно есть на самомъ дѣлѣ.— Еще больше исчезаетъ эта идеализація всего чужаго, далекаго, незнакомаго, когда послѣдователи начинаютъ излагать *своими словами* ученія, содержащіяся въ этихъ книгахъ, когда подымаются сужденія, противорѣчія, споры. Неопредѣленное и общее уваженіе къ западнымъ писателямъ тотчасъ начинаетъ колебаться, когда являются ревностные приверженцы, которые чѣмъ горячѣе хвалятъ одного писателя, тѣмъ усерднѣе бранятъ другихъ, съ нимъ несогласныхъ. Послѣдователь Карла Фохта не можетъ говорить о Ренанѣ иначе, какъ съ величайшимъ презрѣніемъ, позитивистъ видитъ въ матеріалистахъ грубыхъ невѣждъ, приверженецъ Прудона ругаетъ на чемъ свѣтъ стоитъ Милля и т. д. и т. д. Мало по малу становится вовсе невозможнымъ быть неопредѣленнымъ, общимъ поклонникомъ *западнаго просвѣщенія, западной науки*, такимъ поклонникомъ, какихъ у насъ было множество въ былые годы и какими многіе напрасно усиливаются остаться и въ настоящее время. Нынѣ требуется быть приверженцемъ опредѣленнаго, частнаго образа мыслей, слѣдовательно врагомъ всѣхъ остальныхъ. Такимъ образомъ, каждый иностранный писатель встрѣчаетъ въ русской литературѣ не однѣ почтительныя похвалы, а непремѣнно и рѣзкія порицанія, а слѣдовательно, общій авторитетъ Запада съ

каждымъ днемъ понижается. Таковъ естественный ходъ вещей, и противъ него ничего не сдѣлаетъ не только профессоръ М. Стасюлевичъ, но даже и г. Н. Михайловскій.

II.

Свобода отъ авторитетовъ.

Я заговорилъ о г. Михайловскомъ не потому, чтобы желалъ сказать ему что нибудь обидное, хотя и имѣю къ тому совершенно достаточный поводъ. Въ прошломъ году, г. Михайловскій напалъ на меня столь же неожиданно, какъ въ нынѣшнемъ году г. Щедринъ. Г. Михайловскій заговорилъ объ одной изъ давнишнихъ моихъ статей „Дурные признаки", напечатанной еще въ 1861 году, и при этомъ случаѣ отозвался обо мнѣ очень неделикатно. Именно—онъ прямо объявилъ (См. *Отеч. Зап.* 1869 г. Іюль), что я представляю „*очевидное ничтожество*", и довольно подробно развилъ мысль, до сихъ поръ еще мало кѣмъ высказаную, что я занимаюсь *инсинуаціями*, т. е., другими словами, дѣлаю доносы (стр. 45—53).

Такія и подобныя удовольствія доставляютъ мнѣ журналы ежемѣсячно и даже еженедѣльно. Испытывая эти удовольствія непрерывно въ теченіе десяти лѣтъ, я наконецъ начинаю чрезмѣрно удивляться тому, какимъ образомъ, во первыхъ, я до сихъ поръ еще не покрытъ окончательно позоромъ и не извергнутъ изъ почтеннаго кружка нашей литературы, а во вторыхъ, какимъ обра-

зомъ, я не задохся отъ той злобы, которую мои противники столь неутомимо стараются возбудить во мнѣ своими отзывами. Многіе, впрочемъ, твердо увѣрены, что я постоянно страдаю злобою. Г. Михайловскій, напримѣръ, въ той же статьѣ утверждаетъ (стр. 48), что у меня „внутренности кипятъ кипучей смолой".

Увы! Онъ жестоко ошибается, воображая себѣ столь пріятное для него зрѣлище. Онъ можетъ безпрепятственно меня называть „очевиднымъ ничтожествомъ", можетъ пространно доказывать, что я доносчикъ; но пусть онъ оставитъ ту ложную мысль, что эти отзывы и даже всѣ „Отечественныя Записки", въ которыхъ они помѣщаются, составляютъ достаточное средство, чтобы покрыть меня позоромъ и заставить мои внутренности кипѣть кипучею смолой.

Въ настоящую минуту я собираюсь представить читателямъ новое доказательство того, какъ мало я расположенъ питать злобу къ своимъ противникамъ, доказательство, которое для почтенной редакціи „Отечественныхъ Записокъ" я имѣлъ бы право считать излишнимъ, такъ какъ мои свойства въ этомъ отношеніи должны быть ей хорошо знакомы по многолѣтнему опыту. Вмѣсто того, чтобы считаться съ г. Михайловскимъ, я намѣренъ, напротивъ, обратить вниманіе на мысль, выраженную имъ въ одной статьѣ,—даже болѣе,—я хочу взглянуть на эту статью съ высшей точки зрѣнія.

Нѣкоторый философъ, идя на костеръ, къ которому его присудили за мнимое безбожіе, поднялъ соломенку, валявшуюся на дорогѣ, и сказалъ, что для него достаточно было бы этой соломинки, чтобы убѣдиться въ

бытіи и величіи Бога. Вотъ извѣстный примѣръ того, что̀ значитъ взглянуть на предметъ съ высшей точки зрѣнія. Послѣ этого читатели мнѣ повѣрятъ, если я скажу, что можно извлечь не мало интереса и поучительности изъ каждой книжки „Отечественныхъ Записокъ" и даже изъ части такой книжки, изъ одной статьи г. Михайловскаго. Статья, о которой я хочу говорить, вовсе не похожа на соломинку — это весьма пространный трактатъ подъ заглавіемъ „Суздальцы и Суздальская критика" (Отеч. Зап. 1870 г. Апрѣль).

Главную мысль этой статьи легко возвести въ нѣкоторое „знаменіе времени", легко истолковать ее, какъ признакъ нѣкотораго поворота въ западническомъ лагерѣ нашей литературы, какъ невольное обнаруженіе пораженія, понесеннаго западниками. Западническій лагерь поварачиваетъ назадъ, отступаетъ почти на всѣхъ своихъ точкахъ и старается занять позицію не столь передовую, но за то болѣе прочную. Объ этомъ уже говорила „Заря" *) въ прошломъ году. Такъ, напримѣръ, что̀ дѣлаетъ г. Михайловскій? Онъ всѣми силами вооружается противъ *дерзкаго и неуважительнаго обращенія съ авторитетами западной литературы.*

Вотъ до чего мы дожили! Давно ли намъ проповѣдывали отрицаніе всякихъ авторитетовъ, давно ли раздавался бранный кликъ Писарева: *бей на право и на лѣво*? Многіе годы, все то золотое время нашей журналистики (1855—1865), по которомъ такъ вздыхаетъ теперь вся наша нигилистическая печать,—производилось съ вели-

*) Ежемѣсячный журналъ, который тогда издавался В. Кашпиревымъ.

Во вторыхъ все больше и больше отпадаетъ забота, нѣкогда поглощавшая почти всѣ наши умственныя силы, мѣшавшая намъ думать и работать,—забота слѣдить за тѣмъ, что̀ пишется и думается въ Европѣ. Все меньше и меньше оказывается надобности въ томъ пристальномъ, неустанномъ вниманіи, съ которымъ мы нѣкогда слѣдили за умственной дѣятельностію Запада*).

Живо помнимъ мы еще послѣднее десятилѣтіе прошлаго царствованія, помнимъ тотъ складъ, тѣ пріемы и формы, которыя имѣла тогда наша умственная жизнь здѣсь, въ Петербургѣ, гдѣ всего быстрѣе отражаются всякія явленія нашего развитія. Тогда всѣ, кто имѣлъ притязаніе на образованность, сидѣли за иностранными книжками. Не только студенты, литераторы, ученые или готовящіеся къ ученой карьерѣ, но и чиновники, помѣщики, всякаго рода люди, жаждавшіе просвѣщенія и считавшія себя способными къ нему, старались почерпать свои понятія и взгляды изъ иностранныхъ книжекъ. Если у кого было свое собраніе книгъ, небольшая библіотека, то навѣрное она вся состояла изъ французовъ и нѣмцевъ, а русская книга была въ ней исключеніемъ, рѣдкостію. Главная книжная торговля была иностранная. Толкучій рынокъ—мѣсто, на которомъ всего яснѣе отражается, какія книги въ наибольшемъ употребленіи, какое наслѣдство осталось послѣ умирающихъ, отъѣзжающихъ, раззоряющихся,—толкучій рынокъ былъ заваленъ иностранными книгами; лавочки, торговавшія однѣми русскими книгами, были исключе-

*) Писано въ 1870 году; прошу прощенія у читателей за преувеличенныя надежды.

ніемъ. Но самая существенная книжная торговля, та, которою питался сокъ образованныхъ людей, будущая надежда литературы и передового движенія, была тайная торговля, происходившая помощію такъ называемыхъ *букинистовъ*. Съ мѣшками книгъ букинисты ходили по домамъ и доставляли за очень умѣренныя цѣны всѣ запрещенныя сочиненія: Луи Блана, Леру, Жоржъ-Занда, Фейербаха и пр. и пр. Такимъ образомъ, самыя крайнія ученія Запада составляли главный предметъ тогдашней умственной жадности. Новая книжка, представлявшая новый шагъ тогдашняго европейскаго прогресса, тотчасъ была прочитываема избраннѣйшими, наиболѣе передовыми людьми. Подъ покровомъ тайны эти ученія имѣли особую привлекательность, особый жгучій вкусъ, и были быстро усвояемы. Въ 1844 году матеріализмъ, соціализмъ, нигилизмъ — были уже въ полномъ ходу, составляли для человѣка, пріѣхавшаго изъ провинціи, самую поразительную и яркую черту умственной жизни Петербурга.

Съ тѣхъ поръ, и разумѣется съ 1855 года, какъ все перемѣнилось! Теперь наши образованные, передовые люди, для развитія своего ума и просвѣтленія своихъ понятій, читаютъ преимущественно русскія книги, именно — или оригинальныя произведенія, напр. Бѣлинскаго, Добролюбова, Писарева, „Что дѣлать?“ „Рефлексы головнаго мозга“ и пр., или книги, переведенныя на русскій языкъ, напр. Бокля, Дарвина, Милля, Льюиса, Спенсера, Карла Фохта, и пр. и пр. Эти и подобныя книги составляютъ важнѣйшую часть небольшихъ библіотекъ нынѣшнихъ просвѣщенныхъ юношей и жен-

щинъ. Торговля русскими книгами точно также усилилась необыкновенно. Толкучій, это благословенное мѣсто, куда бѣдняки отправлялись за пищею для ума, и гдѣ можно было найти всяческую литературу французскую и нѣмецкую,—толкучій уже не торгуетъ иностранными книгами. Главный товаръ всѣхъ лавочекъ,—русскія изданія, и лавочки исключительно иностранныхъ книгъ сдѣлались рѣдкостію. Букинисты уже не ходятъ по домамъ,—не потому, чтобы это было запрещено, а потому, что имъ нечѣмъ торговать. Ихъ прежній товаръ потерялъ всякую привлекательность, отчасти потому, что правительство перестало преслѣдовать иностранныя книги крайнихъ направленій, и ихъ легко добыть съ соблюденіемъ нѣкоторыхъ формальностей, но, главное, потому, что ходъ прежняго товара букинистовъ убитъ конкурренціею русскаго товара, что русскія изданія, продаваемыя открыто, поравнялись своимъ интересомъ съ иностранными и даже превзошли ихъ.

Да, русская литература растетъ и зрѣетъ, и по мѣрѣ того, какъ увеличивается ея объемъ и вліяніе, необходимо долженъ понижаться авторитетъ иностранной литературы. Въ сущности, пожалуй, радоваться особенно нечему; въ сущности, у насъ одно безобразіе замѣнилось другимъ, и мы, какъ говорится, поправились изъ кулька въ рогожку. Настроеніе умовъ, по прежнему, болѣзненно, уродливо; по прежнему можно сказать:

Какъ во всемъ этомъ видна
Зыбь поверхности одна! *)

*) Два стиха, которые случайно вырвались у А. Н. Майкова въ разговорѣ.

Но все-таки, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ радоваться, что направленіе этой зыби измѣнилось. Освобожденіе отъ авторитета Запада есть столь великое дѣло, что ему нельзя не сочувствовать, когда оно совершается правильно, естественно, въ силу неизбѣжнаго теченія вещей. Когда одна глупость замѣняется другою, мы, конечно, не имѣемъ права радоваться новой глупости, какъ какому нибудь положительному пріобрѣтенію; но самое движеніе умовъ мы можемъ считать за отрадный признакъ, ибо и глупости имѣютъ свой логическій ходъ, который рано или поздно приведетъ ихъ къ разоблаченію, къ обличенію ихъ внутренней несостоятельности. Такъ авторитетъ Запада, неправильный, фантастически-искаженный и чудовищно-преувеличенный, падаетъ у насъ не вслѣдствіе одного развитія *истинной*, *настоящей* русской литературы, но и вслѣдствіе развитія фальшивыхъ, уродливыхъ литературныхъ явленій, масса которыхъ безмѣрно превосходитъ явленія правильныя и здоровыя. Авторитетъ Запада съ каждымъ годомъ, съ каждымъ днемъ подкапывается самими западниками. Чѣмъ больше переводится иностранныхъ книгъ, чѣмъ больше является всякихъ статей и разсужденій, наполненныхъ западными идеями, чѣмъ гуще становятся толпы послѣдователей разныхъ западныхъ ученій, тѣмъ быстрѣе и быстрѣе потрясается, расшатывается и обваливается страшный колоссъ этого авторитета. Во первыхъ—всякое явленіе, перенесенное ближе къ намъ, теряетъ уже то обаяніе, которое имѣютъ предметы, видимые издалека. Переводчикъ, благоговѣйно передающій на русскомъ языкѣ какую нибудь книгу,

обыкновенно и не думаетъ, что онъ трудится надъ уничтоженіемъ одного изъ могущественныхъ очарованій книги, что онъ снимаетъ съ нея тотъ покровъ чужаго языка, подъ которымъ ея содержаніе, въ силу нѣкотораго оптическаго обмана, кажется гораздо красивѣе и глубокомысленнѣе, чѣмъ оно есть на самомъ дѣлѣ.— Еще больше исчезаетъ эта идеализація всего чужаго, далекаго, незнакомаго, когда послѣдователи начинаютъ излагать *своими словами* ученія, содержащіяся въ этихъ книгахъ, когда подымаются сужденія, противорѣчія, споры. Неопредѣленное и общее уваженіе къ западнымъ писателямъ тотчасъ начинаетъ колебаться, когда являются ревностные приверженцы, которые чѣмъ горячѣе хвалятъ одного писателя, тѣмъ усерднѣе бранятъ другихъ, съ нимъ несогласныхъ. Послѣдователь Карла Фохта не можетъ говорить о Ренанѣ иначе, какъ съ величайшимъ презрѣніемъ, позитивистъ видитъ въ матеріалистахъ грубыхъ невѣждъ, приверженецъ Прудона ругаетъ на чемъ свѣтъ стоитъ Милля и т. д. и т. д. Мало по малу становится вовсе невозможнымъ быть неопредѣленнымъ, общимъ поклонникомъ *западнаго просвѣщенія*, *западной науки*, такимъ поклонникомъ, какихъ у насъ было множество въ былые годы и какими многіе напрасно усиливаются остаться и въ настоящее время. Нынѣ требуется быть приверженцемъ опредѣленнаго, частнаго образа мыслей, слѣдовательно врагомъ всѣхъ остальныхъ. Такимъ образомъ, каждый иностранный писатель встрѣчаетъ въ русской литературѣ не однѣ почтительныя похвалы, а непремѣнно и рѣзкія порицанія, а слѣдовательно, общій авторитетъ Запада съ

каждымъ днемъ понижается. Таковъ естественный ходъ вещей, и противъ него ничего не сдѣлаетъ не только профессоръ М. Стасюлевичъ, но даже и г. Н. Михайловскій.

II.

Свобода отъ авторитетовъ.

Я заговорилъ о г. Михайловскомъ не потому, чтобы желалъ сказать ему что нибудь обидное, хотя и имѣю къ тому совершенно достаточный поводъ. Въ прошломъ году, г. Михайловскій напалъ на меня столь же неожиданно, какъ въ нынѣшнемъ году г. Щедринъ. Г. Михайловскій заговорилъ объ одной изъ давнишнихъ моихъ статей „Дурные признаки", напечатанной еще въ 1861 году, и при этомъ случаѣ отозвался обо мнѣ очень неделикатно. Именно—онъ прямо объявилъ (См. *Отеч. Зап.* 1869 г. Іюль), что я представляю *„очевидное ничтожество"*, и довольно подробно развилъ мысль, до сихъ поръ еще мало кѣмъ высказаную, что я занимаюсь *инсинуаціями*, т. е., другими словами, дѣлаю доносы (стр. 45—53).

Такія и подобныя удовольствія доставляютъ мнѣ журналы ежемѣсячно и даже еженедѣльно. Испытывая эти удовольствія непрерывно въ теченіе десяти лѣтъ, я наконецъ начинаю чрезмѣрно удивляться тому, какимъ образомъ, во первыхъ, я до сихъ поръ еще не покрытъ окончательно позоромъ и не извергнутъ изъ почтеннаго кружка нашей литературы, а во вторыхъ, какимъ обра-

зомъ, я не задохся отъ той злобы, которую мои противники столь неутомимо стараются возбудить во мнѣ своими отзывами. Многіе, впрочемъ, твердо увѣрены, что я постоянно страдаю злобою. Г. Михайловскій, напримѣръ, въ той же статьѣ утверждаетъ (стр. 48), что у меня „внутренности кипятъ кипучей смолой".

Увы! Онъ жестоко ошибается, воображая себѣ столь пріятное для него зрѣлище. Онъ можетъ безпрепятственно меня называть „очевиднымъ ничтожествомъ", можетъ пространно доказывать, что я доносчикъ; но пусть онъ оставитъ ту ложную мысль, что эти отзывы и даже всѣ „Отечественныя Записки", въ которыхъ они помѣщаются, составляютъ достаточное средство, чтобы покрыть меня позоромъ и заставить мои внутренности кипѣть кипучею смолой.

Въ настоящую минуту я собираюсь представить читателямъ новое доказательство того, какъ мало я расположенъ питать злобу къ своимъ противникамъ, доказательство, которое для почтенной редакціи „Отечественныхъ Записокъ" я имѣлъ бы право считать излишнимъ, такъ какъ мои свойства въ этомъ отношеніи должны быть ей хорошо знакомы по многолѣтнему опыту. Вмѣсто того, чтобы считаться съ г. Михайловскимъ, я намѣренъ, напротивъ, обратитъ вниманіе на мысль, выраженную имъ въ одной статьѣ,—даже болѣе,—я хочу взглянуть на эту статью съ высшей точки зрѣнія.

Нѣкоторый философъ, идя на костеръ, къ которому его присудили за мнимое безбожіе, поднялъ соломенку, валявшуюся на дорогѣ, и сказалъ, что для него достаточно было бы этой соломинки, чтобы убѣдиться въ

бытіи и величіи Бога. Вотъ извѣстный примѣръ того, что̀ значитъ взглянуть на предметъ съ высшей точки зрѣнія. Послѣ этого читатели мнѣ повѣрятъ, если я скажу, что можно извлечь не мало интереса и поучительности изъ каждой книжки „Отечественныхъ Записокъ" и даже изъ части такой книжки, изъ одной статьи г. Михайловскаго. Статья, о которой я хочу говорить, вовсе не похожа на соломинку — это весьма пространный трактатъ подъ заглавіемъ „Суздальцы и Суздальская критика" (Отеч. Зап. 1870 г. Апрѣль).

Главную мысль этой статьи легко возвести въ нѣкоторое „знаменіе времени", легко истолковать ее, какъ признакъ нѣкотораго поворота въ западническомъ лагерѣ нашей литературы, какъ невольное обнаруженіе пораженія, понесеннаго западниками. Западническій лагерь поварачиваетъ назадъ, отступаетъ почти на всѣхъ своихъ точкахъ и старается занять позицію не столь передовую, но за то болѣе прочную. Объ этомъ уже говорила „Заря" *) въ прошломъ году. Такъ, напримѣръ, что̀ дѣлаетъ г. Михайловскій? Онъ всѣми силами вооружается противъ *дерзкаго и неуважительнаго обращенія съ авторитетами западной литературы.*

Вотъ до чего мы дожили! Давно ли намъ проповѣдывали отрицаніе всякихъ авторитетовъ, давно ли раздавался бранный кликъ Писарева: *бей на право и на лѣво*? Многіе годы, все то золотое время нашей журналистики (1855—1865), по которомъ такъ вздыхаетъ теперь вся наша нигилистическая печать, — производилось съ вели-

*) Ежемѣсячный журналъ, который тогда издавался В. Кашпиревымъ.

чайшимъ жаромъ разрушеніе авторитетовъ, низвергались идолы, съ лица земли стирались ихъ храмы и жрецы. Сегодня былъ обруганъ Маколей, завтра осмѣянъ Гизо, послѣ завтра обращены въ ничто Корнель, Расинъ и Шиллеръ, а на слѣдующей недѣлѣ уже спокойно доказывалось, что читать Шеллинга и Гегеля значитъ тоже самое, что толочь воду въ ступѣ.

Что̀ же мы слышимъ теперь? Насъ увѣряютъ, что эманципація отъ авторитетовъ зашла слишкомъ далеко, и что очень глупо не видѣть достоинствъ великаго писателя только потому, что мы нашли въ немъ, или вообразили что нашли, какой-нибудь недостатокъ. Г. Михайловскій проповѣдуетъ уваженіе и осмотрительность, совѣтуетъ избѣгать односторонности и рѣзкости.

Увы! Напрасныя усилія. Когда первоначальная вѣра разрушена, когда умы разъ почувствовали дерзость и возможность обсуждать то, передъ чѣмъ прежде преклонялись, тогда вернуться назадъ уже невозможно. Г. Михайловскій берется за дѣло неисправимое—вотъ скромное замѣчаніе, которое я хочу предложить моему развязному противнику. Бѣлинскіе, Добролюбовы, Писаревы и Зайцевы сдѣлали свое дѣло; они возбудили ту рьяную охоту разсуждать, поднимать вопросы и вершить ихъ, изъ которой вышло столько дерзости, нынѣ ненравящейся г. Михайловскому. Среди яраго вольнодумства, всячески возбуждаемаго и поддерживаемаго, общій авторитетъ Запада необходимо долженъ былъ поколебаться. Труды и усилія западниковъ понемногу обратились имъ самимъ во вредъ. Такъ-то идутъ дѣла на свѣтѣ. Сперва было очень весело издѣваться

надъ философіею, ругаться надъ искусствомъ, презрительно бранить Пушкина и Карамзина, обзывать пошляками разныя европейскія знаменитости, а вотъ теперь приходится расплачиваться за всѣ эти удовольствія. Учили-учили ругаться да презирать, а теперь самимъ приходится жутко, потому что ругань и презрѣніе обратились на то, что́ хотѣлось бы сохранить въ почетѣ и уваженіи.

Г. Михайловскій не имѣетъ и подозрѣнія о такомъ ходѣ дѣлъ, вовсе не видитъ, откуда идетъ зло, противъ котораго онъ вооружается. Онъ приписываетъ разныя дерзости нашей литературы—грубости россійскихъ умовъ, ихъ невоздѣланности и дикости. Въ рѣзкихъ сужденіяхъ онъ видитъ наше варварство, нашу привычку или низко раболѣпствовать, или нагло повелѣвать. Онъ называетъ *Суздальцами*, *Суздальскими критиками* тѣхъ цѣнителей, которые хвалятъ и бранятъ слишкомъ опредѣленно, которые всегда готовы произнести общій приговоръ надъ писателемъ, подобно тому, какъ суздальскіе рисовальщики не мало не затрудняются покрыть одной краской всю фигуру человѣка.

Всѣ эти разсужденія, намъ кажется, мало касаются существа дѣла. Изъ вѣжливости я сказалъ, что въ статьѣ г. Михайловскаго заключается мысль; но, собственно говоря, это не мысль, а скорѣе чувство или желаніе, даже просто—мечта. Ибо что́ намъ предлагаетъ г. Михайловскій? Есть ли хоть тѣнь опредѣленнаго правила во всѣхъ его увѣщаніяхъ? Никакой. Рѣзкія сужденія и общіе приговоры, говоритъ онъ, *могутъ быть* несправедливы. О, конечно; но нужно твердо

помнить, что они бываютъ несправедливы только тогда, когда бываютъ невѣрны. Если бы г. Михайловскій не упустилъ изъ виду этого простаго замѣчанія, то онъ не написалъ бы своей статьи.

Зло, противъ котораго онъ вооружается, вовсе не есть зло, а гдѣ настоящее зло, онъ не видитъ. Рѣзкія сужденія сами по себѣ есть вещь прекрасная и бываютъ дурны только тогда, когда они тупы и неосновательны.

Общіе приговоры не только позволительны, но заслуживаютъ величайшей похвалы, когда они совершенно мѣтки. Отрицаніе авторитетовъ—дѣло святое; люди мыслящіе и пишущіе должны быть свободны отъ всякаго *слѣпаго* поклоненія, должны всячески отдѣлываться отъ предразсудковъ, никому не вѣрить на слово, а имѣть собственное сужденіе о предметахъ. Все это вещи прекрасныя, на которыя нападать никакъ не слѣдуетъ. Дурно же тутъ совсѣмъ другое; дурно не то, что люди судятъ, пишутъ и печатаютъ, а то, что много есть тупицъ, которые судятъ, пишутъ и печатаютъ, и что еще больше такихъ, которые эти писанія читаютъ и похваливаютъ. Но что́ же съ этимъ подѣлать? Какъ ни мечтай, а весьма вѣроятно, что въ родѣ человѣческомъ инымъ порядкомъ дѣла̀ никогда идти не будутъ.

Когда же умные люди произносятъ рѣзкія сужденія и дѣлаютъ смѣлые общіе приговоры, то признаюсь, мнѣ всегда пріятно читать и слушать. Такъ, напримѣръ, мнѣ очень понравилось сужденіе о Контѣ, высказанное Гексли, но, какъ я полагаю, первоначально принадлежащее не ему. Гексли сказалъ, что позитивная философія Конта, есть ни что иное, какъ *католицизмъ безъ*

христіанства. Какъ мѣтко, опредѣленно и образно! Г. Михайловскій называетъ за это Гексли суздальскимъ критикомъ, я же призналъ бы его и тонкимъ мыслителемъ, и мастерскимъ писателемъ, если бы только былъ увѣренъ, что онъ дѣйствительно авторъ такого чудеснаго опредѣленія.

Серіозный читатель, который занимается дѣломъ и потому не слѣдитъ за вѣкомъ и нашими журналами, можетъ быть не знаетъ, что позитивизмъ у насъ нынче въ большой модѣ. Передовые изъ передовыхъ нынче уже не фурьеристы, не нигилисты, не реалисты, не матеріалисты, а позитивисты. Что̀ будетъ въ слѣдующемъ году, неизвѣстно, но въ нынѣшнемъ позитивизмъ есть послѣднее слово нашего прогресса. Статья г. Михайловскаго собственно имѣетъ цѣлью защиту позитивизма отъ нѣкоторыхъ *суздальскихъ* нападеній.

Если такъ, то просвѣщенному русскому человѣку не дурно имѣть нѣкоторое общее понятіе о позитивизмѣ, играющемъ не малую роль не только за границей, но и у насъ. Для такого понятія смѣло рекомендуемъ эту формулу: *католицизмъ безъ христіанства.* Сказано вѣрно и глубоко. Въ этомъ опредѣленіи содержится указаніе на тотъ общій и многознаменательный фактъ, что философскія системы и политическія теоріи всегда создаются подъ неотразимымъ вліяніемъ тѣхъ религіозныхъ вѣрованій, среди которыхъ растутъ ихъ авторы. Несмотря на свое вольнодумство, Франція есть страна глубоко проникнутая католицизмомъ; самыя ея революціи и соціалистическія стремленія, какъ замѣтилъ и Эдгаръ Кине, имѣютъ вполнѣ католическій характеръ.

Такова сила того великаго нравственнаго авторитета, который заключается въ религіи. Душевный складъ человѣка обыкновенно находится въ зависимости отъ религіи его народа, а философская система мыслителя —въ зависимости отъ душевнаго склада человѣка. По характеру своихъ взглядовъ Контъ такой же католикъ, какъ Милль протестантъ, и стоитъ прочесть ихъ споры и прослѣдить разногласія, чтобы убѣдиться, что здѣсь столкнулись и спорятъ католикъ съ протестантомъ.

Предметъ любопытный. Но намъ приходится его оставить и перейти къ другому примѣру. Г. Михайловскому не нравится то *общее опредѣленіе* Н. Я. Данилевскаго, по которому одна изъ основныхъ чертъ народовъ германо-романскаго типа есть *насильственность*. Г. Михайловскаго смущаетъ то, что такимъ образомъ цѣлому типу народовъ приписывается *дурная черта*, а другому типу, славянскому, придается слишкомъ большое достоинство, именно отсутствіе этой дурной черты. Но вѣдь это вовсе не возраженіе, точно такъ же какъ нельзя считать возраженіемъ противъ мысли Н. Я. Данилевскаго убійство фонъ-Зона, или происшествіе въ Гусевомъ переулкѣ *). Нельзя вѣдь сказать г. Данилевскому, чтобы онъ *не смѣлъ судить* о достоинствахъ и недостаткахъ народовъ, и нельзя же сказать, что, по своему невѣжеству относительно Россіи, онъ вообразилъ, что въ ней никакихъ убійствъ не происходитъ.

Каждый народъ и каждая группа народовъ, то, что̀ г. Данилевскій назвалъ „культурно-историческимъ ти-

*) Уголовныя преступленія, случившіяся тогда въ Петербургѣ.

помъ", имѣетъ, подобно отдѣльному человѣку, подобно всякой вещи и всякому явленію на землѣ, свои особенности свои достоинства и недостатки. Такъ Евреи были религіозны, Греки имѣли слабый политическій смыслъ, Римляне были неспособны къ искусствамъ, германо-романскій типъ отличается насильственностію, а славянскій— мягкостію. Г. Михайловскій не хочетъ этому вѣрить; опредѣленіе общихъ качествъ народовъ и типовъ онъ считаетъ дерзостію и суздальскою грубостію мысли. Какъ можно, говоритъ онъ, судить о цѣломъ народѣ?

Въ отвѣтъ на это можно бы употребить слѣдующій argumentum ad hominem: а какъ смѣетъ писать самъ г. Михайловскій? Какъ онъ смѣетъ, напримѣръ, судить о г. Данилевскомъ? Что касается до меня, то я отрицаю у г. Михайловскаго всякое право на подобную дерзость; я считаю его совершенно неспособнымъ разсуждать о столь высокихъ предметахъ. Авторъ же „Россіи и Европы", по моему мнѣнію, можетъ говорить о чемъ ему угодно, и я буду слушать его съ восхищеніемъ.

Н. Я. Данилевскій есть дѣйствительно писатель дерзкій мыслію, смѣлый умомъ; онъ касается вопросовъ величайшей важности и величайшей трудности. И вотъ, наши западники, поджимающіе хвостъ вслѣдствіе того, что передъ этимъ наболтали слишкомъ много глупостей, начинаютъ укорять автора „Россіи и Европы" въ томъ, что онъ легкомысленъ и неостороженъ. Какъ можно судить о Европѣ? Какъ можно предлагатъ вопросъ: гніетъ ли западъ? Какъ можно цѣлому народу приписывать опредѣленное свойство? и. т д. и т. д.

Можно, все можно, можно всякому, не запрещается и г. Михайловскому. Толкуйте на здоровье и помните только, что кто изъ васъ тупъ, у того выйдутъ и тупыя рѣчи, а умныя выйдутъ только у умныхъ.

Мнѣ искренно жаль, что г. Михайловскій не былъ способенъ оцѣнить достоинствъ „Россіи и Европы". *Насильственность*, указанная г. Данилевскимъ въ народахъ германско-романскаго типа, есть черта глубоко-вѣрная, истинное открытіе, которое не забудется при развитіи нашихъ взглядовъ на себя и на Европу. Г. Михайловскаго эта черта поразила конечно потому, что она касается любезнаго ему Запада. Но онъ напрасно думаетъ, что смѣлость г. Данилевскаго вполнѣ обнаруживается въ рѣшимости провести эту опредѣленную черту. Если бы г. Михайловскій вникъ какъ слѣдуетъ въ „Россію и Европу", то онъ убѣдился бы, что г. Данилевскій смѣлъ удивительно, несравненно. О самыхъ трудныхъ вопросахъ, о предметахъ общихъ, отвлеченныхъ, неуловимыхъ, онъ умѣетъ говорить съ такою точностію, ясностію, опредѣленностію, какой — смѣло можно сказать—еще не было примѣра въ русской литературѣ. Этотъ писатель, котораго г. Михайловскій презрительно называетъ "суздальцемъ", умѣетъ съ величайшей тонкостью указать характеръ и особенности каждаго предмета, на который устремитъ свою мысль. Съ поразительнымъ мастерствомъ онъ проводитъ разграничительныя черты между вещами, которыя кажутся для менѣе проницательныхъ глазъ совершенно сливающимися и туманными. То, что г. Михайловскій принялъ за недостатокъ, въ сущности есть величайшее и без-

цѣнное достоинство г. Данилевскаго. По мнѣнію г. Данилевскаго, всѣ земныя вещи и явленія имѣютъ предѣлы, границы, на землѣ нѣтъ ничего безконечнаго, неопредѣленнаго; слѣдовательно, знаніе должно стремиться уловить особенный характеръ каждой вещи и каждаго явленія, и г. Данилевскій доказалъ, что онъ великій мастеръ на такое познаніе.

III.

Романъ Адольфа Бело.

Напрасно возставать противъ людей, имѣющихъ дерзость судить о Европѣ: этой дерзости суждено увеличиваться съ каждымъ годомъ. Напрасно возстаютъ противъ неуважительныхъ отзывовъ о тѣхъ или другихъ *великихъ* западныхъ мыслителяхъ: эти отзывы неизбѣжны, и уже никогда не возвратится то благоговѣніе, съ которымъ мы нѣкогда смотрѣли на западную мудрость.

Но такъ дѣло идетъ только въ русской литературѣ, а далеко еще не въ русской публикѣ. Русская публика не состоитъ изъ однихъ подписчиковъ на русскіе журналы; есть другой отдѣлъ этой публики, отдѣлъ весьма значительный, который русскихъ книгъ не читаетъ. Эта сфера нашей интеллигенціи захватываетъ собою иныхъ людей весьма маленькихъ, но простирается далеко вверхъ и объемлетъ собою много людей высоко-поставленныхъ. Читатели этой сферы читаютъ только иностранныя книги, преимущественно французскія. Для нихъ у насъ въ Петербургѣ существуютъ книжные

магазины, съ которыми, увы! по изяществу и великолѣпію точно такъ же не можетъ равняться ни одинъ русскій книжный магазинъ, какъ не равняется ни одинъ русскій театръ французскому, стоящему на Михайловской площади.

Эти западники, какъ мы сказали, не читаютъ русскихъ книгъ; они ни мало не заботятся даже о томъ, что̀ пишется въ „Отечественныхъ Запискахъ". За то они слѣдятъ за Парижской литературой съ такимъ вниманіемъ, съ какимъ не слѣдитъ ни одинъ нашъ журналъ, ни одинъ изъ присяжныхъ литераторовъ. Они читаютъ такія книги, воспитываютъ свой вкусъ, умъ и чувство на такихъ писателяхъ, о которыхъ русская литература, не смотря на все свое западничество, не считаетъ долгомъ упоминать.

Вотъ въ этой-то сферѣ недавно, въ февралѣ настоящаго года (1870), обнаружилось нѣкоторое волненіе. Во всѣхъ магазинахъ, гдѣ только продаются французскія книги, происходила суета. Ежедневно, чуть не сотнями экземпляровъ, раскупалась одна вновь вышедшая книга, и книгопродавцы безпрестанно должны были дѣлать новые заказы этой книги въ Парижѣ. Въ теченіе одного или двухъ мѣсяцевъ книга эта выдержала до *двадцати* изданій, изъ которыхъ вѣроятно не одно потребовалось для Россіи вообще и для богоспасаемаго города Петербурга въ особенности. Что̀ же за чудо искусства надѣлало столько шума? Это было не чудо искусства, а пакостный романъ Адольфа Бело (Adolphe Belot), который нынѣ явился въ русскомъ переводѣ подъ заглавіемъ *Дѣвица Жиро—моя супруга.*

Переводчикъ вмѣсто *Бело* поставилъ почему-то *Белло*, да кажется ошибся и въ тонѣ заглавія; слѣдовало бы перевести такъ: *мамзель Жиро—моя жена.*

Слово *пакостный* мы заимствуемъ не у г. Щедрина, а у Пушкина, который сказалъ:

Не женщины любви насъ учатъ,
А первый пакостный романъ.

Тоже самое слово мы находимъ у другаго нашего великаго писателя, гр. Л. Н. Толстого, и при томъ въ примѣненіи къ тому же предмету. Когда капитанъ Рамбаль разсказываетъ Пьеру свои любовныя похожденія, то гр. Л. Н. Толстой замѣчаетъ: „Всѣ любовныя исторіи Рамбаля имѣли тотъ характеръ *пакостности*, въ которомъ французы видятъ исключительную прелесть и поэзію любви". „L'amour, которой поклонялся французъ, заключалась преимущественно въ неестественности отношеній къ женщинѣ и въ комбинаціи уродливостей, которыя придавали главную прелесть чувству". (Война и миръ, т. 4, стр. 142).

Капитанъ Рамбаль конечно — одинъ изъ лучшихъ французовъ, какихъ только мы знаемъ, да и вообще прекрасный малый. Онъ вполнѣ добрый, честный, великодушный человѣкъ. И несмотря на все это, мы чувствуемъ отвращеніе къ его взглядамъ на любовь и женщинъ. Тоже самое должно сказать о французахъ вообще. Несмотря на то, что французы не только хорошій, но даже *великій* народъ, какъ Римляне, какъ Аѳиняне, и несмотря на то, что г. Михайловскій строго запрещаетъ говорить что-либо неодобрительное о цѣлыхъ народахъ,

я все-таки, по совѣсти и по крайнему разумѣнію, долженъ сказать, что французы не должны служить намъ образцами въ любовныхъ и семейныхъ дѣлахъ, и что русскій человѣкъ поступитъ прекрасно, если будетъ воспитывать въ своемъ сердцѣ то чувство отвращенія, которое иногда съ такою силою вызывается у насъ французскими произведеніями, касающимися этого важнаго вопроса человѣческой жизни.

Вотъ народъ, у котораго какъ будто нѣтъ семьи; несмотря на то, что герои французскихъ романовъ безпрестанно толкуютъ о ma pauvre mère и о l'epée de mon père, невольно чувствуется, какъ будто они родились не отъ того союза, который мы называемъ семьею, а отъ любовныхъ связей, имѣющихъ гораздо низшее значеніе. Образъ женщины никогда не достигаетъ во французской литературѣ своей полной чистоты; мы не найдемъ въ этой литературѣ ни Офеліи, ни Дездемоны. Семья никогда не выступаетъ на первый планъ, никогда не является во всей своей святынѣ, не обнаруживаетъ своей сущности, исполненной такихъ чистыхъ радостей, а часто и такого глубокаго горя: во французской литературѣ невозможны не только такія произведенія, какъ „Капитанская дочка", или „Война и миръ", а даже и такія, какъ посредственный англійскій романъ, посвященный изображенію семейныхъ отношеній.

Что̀ касается до романа г. Бело, то онъ пакостенъ по предмету, но тысячекратно пакостнѣе по манерѣ, съ которою авторъ трактуетъ свой предметъ. Предметъ собственно никогда не можетъ быть поставленъ въ упрекъ художнику. Можно и даже должно касаться

всякой гадости, какая только существуетъ на свѣтѣ; но чаще всего требуется именно только *касаться*, такъ какъ художество, по самому существу своему, не допускаетъ такого углубленія и погруженія въ гадости, при которомъ бы онѣ выступили на первый планъ и не были бы отодвинуты другими вещами въ надлежащую даль перспективы. Шекспиръ по содержанію одинъ изъ неприличнѣйшихъ писателей, но по манерѣ изображенія одинъ изъ цѣломудреннѣйшихъ.

Есть впрочемъ родъ литературныхъ произведеній, говоря о которыхъ было бы смѣшно забираться слишкомъ высоко и толковать о строгихъ художественныхъ требованіяхъ. Есть множество французскихъ романовъ, нимало не скрывающихъ той цѣли, для которой они написаны. Они стараются подѣйствовать на чувственность, тщеславіе, жажду денегъ и тому подобныя склонности, и содержатъ изображеніе разныхъ удовольствій и приключеній, картины легкомысленной и роскошной жизни, весь интересъ которыхъ состоитъ въ томъ, что въ читателѣ безпрестанно возбуждается похоть, зависть, желаніе предаться тѣмъ же наслажденіямъ. Эта откровенная литература очень вредна, но имѣетъ то несомнѣнное достоинство, что она откровенна. Притомъ въ случаѣ талантливаго исполненія за произведеніями этого рода можетъ все еще оставаться достоинство реализма, отраженія дѣйствительной жизни, хотя не просвѣтленнаго идеею, но вѣрнаго въ частностяхъ.

Романъ г. Бело не имѣетъ и этихъ, самыхъ простыхъ и низшихъ достоинствъ. Это нелѣпѣйшее *сочиненіе*, выдумка, въ которой все фальшиво, все ложно,

и тонъ разсказа, и самыя приключенія и поступки дѣйствующихъ лицъ. Тонъ разсказа строгій, нравоучительный. Такъ какъ авторъ выбралъ предметомъ своимъ одинъ изъ самыхъ гнусныхъ видовъ разврата, противоестественную связь между женщинами, то, конечно, строгій тонъ тутъ какъ нельзя болѣе умѣстенъ и натуралeнъ. Но то и замѣчательно, что у нашего автора даже и въ этомъ случаѣ строгость очевидно только напускная, только сочиненная. Онъ осуждаетъ—но совершенно неизвѣстно почему; основаній для осужденія онъ не можетъ найти. Онъ повидимому скроменъ въ своемъ разсказѣ, но вы тотчасъ, по отсутствію настоящей мѣры въ подробностяхъ, видите, что у него нѣтъ истинной скромности, и что, пожалуй, ему даже нравится то, на что онъ изъ приличія набрасываетъ покровъ.

Развратъ, какой бы онъ ни былъ, всегда имѣетъ или получаетъ нѣкоторую связь съ нравственною природой человѣка. Есть женщины, которыя развратны по природѣ, какъ Елена Безухая, какъ героиня Дюма-сына въ L'affaire Clemenceau. Если же развратъ случайно увлекаетъ человѣка, то и тогда рѣдко онъ не кладетъ на него неизгладимой печати, и часто требуется долгая и и тяжкая борьба, чтобы очистить душу отъ этого клейма. Нужно считать исключеніемъ, когда развратъ является одною чисто внѣшнею случайностію, когда душа бываетъ имъ не тронута; такова, по замыслу автора, фигура Сони въ „Преступленіи и Наказаніи“ г. Достоевскаго. Эта продажная женщина въ сущности цѣломудреннѣе иныхъ безупречныхъ дѣвицъ.

Какъ бы то ни было, отношеніе между развратомъ и

нравственною природою человѣка — вотъ настоящая задача для художника, берущагося за подобныя темы, и истинный художникъ никогда не выпуститъ этой задачи изъ виду. Г. Бело, напротивъ, далекъ отъ малѣйшаго подозрѣнія о самомъ ея существованіи; ему и въ голову не приходитъ, что есть нѣкоторое отношеніе между зломъ, которое онъ описываетъ, и нравственнымъ міромъ человѣка.

Онъ разсказываетъ намъ великія страданія мужа, которому попалась развратная жена. Но въ чемъ состоятъ эти страданія? Не въ разочарованіи, не въ отвращеніи и отчаяніи, а единственно и исключительно въ томъ, что эта женщина, считаясь за нимъ замужемъ, не хочетъ быть его женою. Неудачи мужа въ попыткахъ обладать испорченною женщиною, — вотъ тѣ несчастія, которыя подробно и жалостливо описываются въ романѣ.

Г. Бело изображаетъ намъ развратныхъ женщинъ. Но какъ онъ это дѣлаетъ? Подмѣтилъ ли онъ то извращеніе души, которое ведетъ къ разврату, показалъ ли, какъ подъ вліяніемъ этого зла душа теряетъ свою свѣжесть и искажается? Ничуть не бывало! Его развратныя женщины въ сущности также прелестны, умны, ловки, внушаютъ мужчинамъ такія же чувства и желанія, какъ и другія женщины. Вся бѣда только въ томъ, что онѣ не хотятъ имѣть дѣла съ мужчинами. Все нравоученіе, какое даетъ романъ г. Бело, состоитъ въ слѣдующемъ: г-да мужчины! вооружитесь всѣми силами противъ этого зла (не потому, что оно гнусно само по себѣ, а) потому, что оно можетъ отнимать у насъ ласки нашихъ очаровательныхъ женъ и любовницъ!

Согласитесь, любезный читатель, что пакостнѣе подобнаго соображенія невозможно придумать, и что нельзя спуститься на точку зрѣнія, которая была бы еще ниже этой.

Приключенія романа безтолковы и натянуты въ высшей степени. Они основаны на томъ, что одной изъ порочныхъ женщинъ приписана невѣроятная энергія и хитрость, преодолѣвающая всякія препятствія (что̀ ни мало не относится къ сущности дѣла); несчастные мужчины ведутъ съ этою женщиною неудачную борьбу; наконецъ одинъ изъ нихъ рѣшился избавить мужской полъ отъ столь опасной соперницы и утопилъ ее въ морѣ.

Вотъ какой вздоръ, въ сущности весьма отвратительный, имѣлъ недавно громадный успѣхъ повсюду, гдѣ только читаютъ по-французски.

IV.

Флоберъ. Викторъ Гюго.

Утѣшиться можно отчасти тѣмъ, что у насъ читаются и переводятся, разумѣется, не одни же плохія и пакостныя французскія произведенія, а и такія, которыя составляютъ настоящее дѣло, серіозное искусство, приносятъ честь французскому народу. Къ нимъ мы относимъ *Сантиментальное воспитаніе* Флобера и *Человѣкъ, который смѣется*—Виктора Гюго.

Французская литература (разумѣемъ настоящую, а не ту массу уродливостей и пошлостей, которая на-

полняетъ ежедневный рынокъ) отличается замѣчательною живучестію, и, кажется, наши понятія о ней, получившія, подъ вліяніемъ нѣмцевъ, сильный оттѣнокъ презрѣнія, требуютъ значительной поправки. Мы такъ привыкли считать французовъ народомъ нехудожественнымъ, и притомъ изжившимъ, что почти перестали ждать отъ нихъ чего-нибудь хорошаго. Между тѣмъ, нѣтъ-нѣтъ да и появится у нихъ какое-нибудь произведеніе, часто имѣющее яркіе недостатки, но въ тоже время исполненное такой энергической мысли, такого вдохновенія, что оно увлечетъ и взволнуетъ насъ несравненно больше, чѣмъ дѣйствуютъ на насъ англійскія и нѣмецкія произведенія, повидимому всегда отличающіяся бо̀льшею правильностію и болѣе глубокою художественностію. Этотъ опытъ, часто повторяющійся, долженъ бы научить насъ не смотрѣть на литературу „великаго народа" съ тѣмъ высокомѣріемъ, которому понемногу насъ научили нѣмцы, начиная съ Лессинга.

Кстати, приведемъ здѣсь сравненіе между современной французской и нѣмецкой словесностію, сдѣланное недавно Сен-Рене Тальяндье, французомъ, одинаково начитаннымъ въ той и другой литературѣ. „Каково бы ни было, говоритъ онъ, достоинство Бертольда Ауэрбаха и Левина Шиккинга, Фридриха Шпильгагена и Германа Гримма, я не думаю, чтобы они могли соперничать съ представителями французской школы въ художественной тонкости и законченности. Важности Ауэрбаха, гибкости Шиккинга, страстности Шпильгагена, правильности Гримма мы могли бы побѣдоносно противупоставить смѣлое краснорѣчіе Жоржъ-Занда,

трезвое и увѣренное искусство Мериме, полную силы грацію Октава Фелье, поэтическое изящество Жюля Сандо, живое остроуміе Эдмонда Абу, блестящую энергію Виктора Шербюлье". (Revue des Deux Mondes, 1869, 15 Nov. p. 429).

Это перечисленіе корифеевъ нѣмецкой и французской изящной литературы и эта краткая ихъ оцѣнка могли бы подать поводъ ко многимъ соображеніямъ. Такъ напримѣръ произведенія Октава Фелье и Виктора Шербюлье конечно принадлежатъ къ той *искусственной* литературѣ, которая можетъ восхищать только французовъ, и которая отталкиваетъ отъ себя людей, понимающихъ истинныя художественныя требованія. Но Жоржъ-Зандъ и Мериме суть, безъ сомнѣнія, первостепенные писатели, до которыхъ далеко перечисленнымъ у Тальяндье нѣмецкимъ романистамъ. Точно также несравненно выше этихъ романистовъ мы должны поставить и Виктора Гюго и Флобера, которыхъ Тальяндье почему-то вовсе пропустилъ.

Флоберъ, впрочемъ, еще не пользуется установившеюся знаменитостію, а между тѣмъ вполнѣ ея заслуживаетъ. Главная особенность его есть *реализмъ*, до такой степени твердый, трезвый и объективный, что его нужно признать безъукоризненно художественнымъ. Реализмъ въ своей простѣйшей, первоначальной формѣ всегда будетъ *обличеніемъ*. Такова наша жизнь, что художникъ, просто копирующій дѣйствительность, на каждомъ шагу встрѣчаетъ мелкое, грязное, пошлое. Художникъ правъ, когда рисуетъ намъ будни человѣческой жизни въ томъ сѣромъ свѣтѣ, который они дѣй-

ствительно имѣютъ. Но причина, по которой художники отказываются отъ высшихъ областей творчества и становятся копировальщиками, бываетъ различна. Художникъ воздерживается отъ идеала или потому, что онъ его еще *ищетъ*, слѣдовательно вѣритъ въ него, или потому, что онъ его *потерялъ*, слѣдовательно уже не вѣритъ въ него. Флоберъ, намъ кажется, принадлежитъ ко второму разряду.

Такихъ французовъ, какіе являются въ его романахъ, мы еще не видали. Обыкновенно французскіе характеры намъ представлялись со всѣми признаками *хищнаго* типа, съ рѣзкими опредѣленными чертами, съ послѣдовательностію въ дурномъ и хорошемъ. У Флобера являются фигуры напоминающія Бурьенку и Рамбаля гр. Л. Н. Толстаго. Въ *Сантиментальномъ воспитаніи* разсказана жизнь нѣкотораго Фредерика Моро, составляющая, конечно, очень обыкновенный образчикъ французской жизни. Этотъ человѣкъ (провинціальный дворянинъ средней руки) не сдѣлалъ ничего ни хорошаго, ни дурнаго; онъ искалъ славы, любви, наконецъ наслажденій, но ничего не дѣлалъ настойчиво, и все, что̀ ему досталось, было или поздно, или неполно, или отравлено его собственными слабостями. Съ удивительнымъ мастерствомъ авторъ рисуетъ тѣ различныя сферы французской жизни, въ которыя попадаетъ его герой, неумѣющій ни вполнѣ примкнуть къ этимъ сферамъ, ни вполнѣ уйти отъ ихъ вліянія. Вездѣ такая пустота, столько чувственности и эгоизма, что становится страшно за это общество. Между прочимъ, на первомъ планѣ проходитъ революція 1848 года. Сцены ея изображены съ тѣмъ же безпощаднымъ реализмомъ.

Всѣ эти картины мелкихъ и дурныхъ страстей, перемѣшанныхъ съ благородными порывами, даютъ намъ, если и далеко неполное, то зато безукоризненно вѣрное представленіе о многихъ пестрыхъ слояхъ французскаго, то есть главнымъ образомъ парижескаго общества.

Переводъ *Сантиментальнаго воспитанія* исполненъ очень удовлетворительно.

Викторъ Гюго затѣялъ опять трилогію, первую часть которой и составляетъ „*Человѣкъ, который смѣется*". Что будетъ трилогія, видно изъ его предисловія, которое почему-то опущено въ переводѣ, и которое потому мы сами переведемъ для любопытныхъ читателей.

„Въ Англіи все велико, даже то, что̀ дурно, даже олигархія. Англійскій патриціатъ есть патриціатъ въ абсолютномъ смыслѣ этого слова. Нѣтъ феодализма болѣе знаменитаго, болѣе страшнаго и болѣе живучаго. Скажемъ прямо, этотъ феодализмъ бывалъ въ свое время полезенъ. Это явленіе нужно изучать въ Англіи, точно такъ, какъ во Франціи нужно изучать то явленіе, которое называется королевскою властью."

„Настоящее названіе этой книги было-бы *Аристократія*. Другую, слѣдующую книгу можно будетъ назвать *Монархія*. А за этими двумя книгами, если автору дано окончить этотъ трудъ, послѣдуетъ, какъ нѣкоторое заключеніе, еще книга, которая будетъ называться *Девяносто третій годъ*". (L'Homme qui rit, T. I. p. 5).

Припомнимъ читателямъ смыслъ прежней трилогіи, доставившей Виктору Гюго такую славу. Три главные его романа были связаны между собою слѣдующимъ образомъ: 1) Notre Dame de Paris — борьба человѣка съ

преданіемъ; 2) Les misérables—борьба человѣка съ обществомъ; 3) Les travailleurs de la mer—борьба человѣка съ природою. Во всѣхъ трехъ романахъ изображены страданія человѣка и гибель его въ борьбѣ съ силами, противъ которыхъ онъ вздумалъ возстать.

Смыслъ новой трилогіи довольно ясенъ и изъ появившейся первой части и изъ словъ предисловія. Въ *Человѣкѣ, который смѣется* изображена аристократія въ самомъ блестящемъ ея развитіи, и ей противопоставлено положеніе народа, безмѣрно страдающаго и униженнаго, и въ тоже время способнаго къ самымъ нѣжнымъ и высокимъ чувствамъ. Въ романѣ *Монархія* конечно явится Франція въ одну изъ эпохъ наибольшаго развитія королевской власти, и точно также конечно будетъ изображенъ народъ, несущій на себѣ гнетъ этой власти. Наконецъ въ романѣ *1793 годъ* вѣроятно передъ нами будетъ Франція въ ту минуту, когда идеи, противоположныя всякой аристократіи и всякой монархической власти, достигли своей высшей силы и осуществленія; будетъ изображено владычество народа, его месть, возвѣщеніе міру новыхъ началъ, — словомъ какая-нибудь картина, рисующая глубокій смыслъ французской революціи.

Замыселъ, какъ видятъ читатели, очень грандіозный. Но мы нарочно привели въ голой формѣ эти широкіе замыслы и ясные планы для того, чтобы дать почувствовать читателямъ, что мысли, которыми задается Викторъ Гюго, далеко не переходятъ у него въ ясное и живое осуществленіе, и потому не напечатлѣваются въ въ умѣ читателей, не образуютъ какого-либо опредѣ-

леннаго воззрѣнія, которое можно бы вынести изъ чтенія Гюго, которымъ можно бы было проникнуться. Въ произведеніяхъ Гюго бездна поэзіи, и въ тоже время господствуетъ невообразимый, чудовищный хаосъ. Всякій образъ разрастается безъ мѣры; какъ въ словахъ, такъ и въ картинахъ, лицахъ, событіяхъ—цѣлый океанъ напряженнѣйшихъ гиперболъ, самыхъ рѣзкихъ и крикливыхъ антитезъ, какія только возможны. При такомъ отсутствіи всякой мѣры и правильности, Гюго все-таки остается поэтомъ, и даже великимъ, не смотря на свою уродливость, но отнюдь не тѣмъ прогрессистомъ и революціонеромъ, за котораго онъ себя постоянно выдаетъ и котораго можно бы весьма сильно осудить за противорѣчивую путаницу его идей.

„*Человѣка, который смѣется*", нужно поставить ниже лучшихъ произведеній Гюго. Если сила поэзіи все еще не оскудѣла у геніальнаго старика, то зато недостатки разрослись чрезвычайно, хотя казалось имъ уже невозможно было вырости больше. Англійская аристократія изображена, впрочемъ, недурно, если только откинуть тотъ преувеличенный колоритъ, которымъ покрылъ Гюго свою картину ради пущей рѣзкости въ контрастѣ. Послушать Гюго—такъ это были дѣйствительно какіе-то боги, собиравшіеся въ парламентѣ какъ на Олимпѣ. Такъ какъ они обладали властью и богатствомъ, то Гюго представилъ жизнь ихъ свѣтлою, блаженною, исполненною безпрерывныхъ радостей, фантастическихъ прихотей, и встрѣчающею свои страданія съ гордой улыбкой, съ безпечнымъ великодушіемъ. Это матеріальное пониманіе человѣческаго благополучія очень

идетъ къ идеѣ его романа, но очевидно мѣшаетъ его поэтической глубинѣ. Впрочемъ Гюго не выдерживаетъ этого тона, и тамъ, гдѣ проявляется другая, человѣческая сторона его лордовъ и леди, мы встрѣчаемъ многія мастерскія черты.

Представители народа, Ursus, Гуинплэнъ и Деа исполнены самыхъ идеальныхъ достоинствъ, терпятъ всевозможныя страданія и наконецъ гибнутъ. Читатель остается однако же холоднымъ вслѣдствіе непомѣрнаго преувеличенія этихъ фигуръ и ихъ приключеній. Преувеличеніе поражаетъ воображеніе, оставляетъ ихъ образы въ памяти, но дѣлаетъ почти невозможнымъ сочувствіе.

Романъ Гюго читался довольно жадно, но оставлялъ послѣ себя постоянное разочарованіе и не произвелъ большого впечатлѣнія.

Языкъ Гюго очень замѣчателенъ по своей силѣ и поэтичности. Поэтому переводить Гюго трудно, и читатели, желающіе полюбоваться всѣми искрами и зарницами поэзіи въ его новомъ романѣ, хорошо сдѣлаютъ, если прочитаютъ его въ подлинникѣ.

V.

Шиллеръ. Ауэрбахъ.

Обращаемся къ нѣмецкой литературѣ. Недавно вышелъ *восьмой* томъ Шиллера въ прекрасномъ изданіи Н. В. Гербеля, содержащій въ себѣ *Исторію отпаденія Нидерландовъ отъ Испанскаго владычества.* Новый и единственный полный переводъ П. Н. Полеваго.

Это изданіе напоминаетъ намъ тѣ времена, когда нѣмецкая литература имѣла для насъ огромное значеніе. Было время, когда мы жили и питались нѣмецкою поэзіею, нѣмецкою философіею; изданіе Шиллера представляетъ едва ли не самый важный литературный памятникъ тогдашняго нашего подчиненія германскому духу. Судьба Шиллера въ русской литературѣ вообще очень интересна; были же причины, по которымъ мы полюбили этого поэта преимущественно предо всѣми другими, по которымъ нашлось для него столько прекрасныхъ переводчиковъ, и онъ намъ почти столько же сталъ милъ и знакомъ, какъ любой изъ родныхъ поэтовъ. Первые томы изданія г. Гербеля выдержали по *три*, даже по *четыре* изданія. Гёте, напримѣръ, былъ у насъ прославляемъ и почитаемъ конечно не менѣе Шиллера, но на его долю не выпало и малой части той любви, того глубокаго увлеченія, вслѣдствіе котораго въ нашей переводной литературѣ ни одинъ писатель не можетъ равняться съ Шиллеромъ по множеству и достоинству переводовъ.

Какъ бы кто ни судилъ, но отчасти это явленіе конечно объясняется тѣмъ, что Шиллеръ есть поэтъ несравненный по своей достолюбезности, по благородству своихъ душевныхъ движеній, по чистотѣ и пламенности своего этузіазма.

Но эти времена живаго господства Германіи давно прошли. Мы еще читаемъ Шиллера, но давно уже вліяніе на насъ современной нѣмецкой литературы потеряло прежнюю силу. Причина безъ сомнѣнія та, что въ самой Германіи упали и поэзія и философія. Зна-

менитая нѣмецкая поэзія, столь возвышенная и глубокая, выродилась въ насмѣшливыя пѣсенки Гейне. Знаменитая нѣмецкая философія, столь идеальная и туманная, перешла въ плоскій и грубый матеріализмъ. И Гейне и матеріализмъ имѣли на насъ конечно не малое вліяніе, но это уже было вліяніе вредное, нездоровое, и русская литература была на столько крѣпка, что не могла подпасть ему въ такой степени, въ какой она подчинялась прежнимъ высокимъ явленіямъ германскаго генія.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ переводы произведеній изящной словесности съ нѣмецкаго были у насъ величайшею рѣдкостію, и мы почти вовсе не слѣдили за тѣмъ, что̀ является по этой части въ Германіи. Только въ послѣднее время появились переводы нѣмецкихъ романовъ, именно у насъ имѣли значительный успѣхъ Шпильгагенъ и Ауэрбахъ. О романѣ Ауэрбаха „Дача на Рейнѣ“ мы позволимъ себѣ сказать здѣсь нѣсколько словъ.

Романъ этотъ читался у насъ очень усердно, хотя, право, вовсе не легко объяснить, въ чемъ состоитъ причина того неутомимаго вниманія и самого кроткаго терпѣнія, съ которымъ публика осиливала это произведеніе. Ибо, что читать „Дачу на Рейнѣ“ есть немалый трудъ—съ этимъ я думаю согласится каждый, кто ее читалъ. Но не въ этомъ ли и разгадка? Не обманула ли публику та чрезвычайная *серіозность* тона и изложенія, которою отличается авторъ? Намъ кажется, что такъ.

Наша публика еще очень груба. Она еще не понимаетъ легкихъ, изящныхъ формъ. Сколько есть людей,

которые ни за что не станутъ читать стиховъ только потому, что это стихи, слѣдовательно пустяки. Сколько есть такихъ, которые готовы бросить чтеніе „Войны и Мира“, сказавши: „Стану я читать побасенки! Вымышленныя происшествія!“ И вслѣдъ за тѣмъ они готовы съ величайшимъ вниманіемъ погрузиться въ чтеніе „Русскаго Архива“, или „Исторіи Россіи“ Соловьева, нимало не догадываясь, что цѣлая библіотека историческихъ сочиненій не можетъ дать имъ такого проникновенія въ духъ событій, какое они могли бы найти въ „Войнѣ и Мирѣ“.

И такъ, у насъ есть расположеніе къ *важнымъ матеріямъ*, къ сочиненіямъ дѣловымъ и серіознымъ, чуждымъ легкомысленныхъ украшеній. Въ качествѣ такого произведенія должна была понравиться и *Дача на Рейнѣ*, этотъ солиднѣйшій изъ всѣхъ романовъ. Вялый, слишкомъ подробный и послѣдовательный разсказъ, неумѣнье мѣтко изображать и ловко схватывать живые сцены и моменты, наконецъ отсутствіе опредѣленной мысли и опредѣленнаго интереса, все это возмѣщалось съ избыткомъ тѣмъ, что романъ безпрестанно касается самыхъ важныхъ вопросовъ, переполненъ разсужденіями, сентенціями, всевозможными взглядами на природу, людей, церковь, воспитаніе, Старый и Новый свѣтъ, и пр. и пр.

Пусть однако же тѣ, которые прочитали романъ, скажутъ по совѣсти: что у нихъ осталось по прочтеніи, какое опредѣленное впечатлѣніе, какое живое лицо или чувство? Едва ли на это можно дать ясный отвѣтъ.

Во первыхъ, какая идея романа, какой его главный предметъ? Въ хвалебномъ предисловіи И. С. Тургенева,

помѣщенномъ въ началѣ перевода, говорится слѣдующее: „Съ увѣренностію можемъ мы сказать, что недостатки (Ауэрбаха) почти не существуютъ въ предстоящемъ романѣ, между тѣмъ какъ всѣ великія достоинства творца Шварцвальдскихъ разсказовъ развернулись въ немъ съ полнотою еще небывалой. Еще никогда Ауэрбахъ не задавалъ себѣ *болѣе широкой задачи*, не захватывалъ ее такъ глубоко и не исполнялъ ее съ такимъ совершенствомъ" (стр. 6). Но въ чемъ состоитъ эта „широкая задача", о томъ г. Тургеневъ не говоритъ ни слова, не дѣлаетъ и намека.

Въ самомъ концѣ романа редакція „Вѣстника Европы", имѣвшая полный досугъ обдумать свои слова, такъ какъ романъ печатался въ ея журналѣ *шестнадцать мѣсяцевъ* сряду, опредѣляетъ задачу романа слѣдующимъ образомъ: „Вѣчный процессъ и борьба матеріальнаго богатства съ бѣдностію и духовной нищеты, узкаго эгоизма съ богатствами душевными, съ широкими, великодушными помыслами, съ любовью объемлющею все человѣчество, какъ этотъ процессъ и эта борьба совершаются на самыхъ различныхъ ступеняхъ развитія недѣлимыхъ, въ самыхъ различныхъ общественныхъ положеніяхъ,—вотъ задача автора". (См. *Вѣстн. Евр.*, 1869, Дек. стр. 667).

Признаемся, мы не находимъ въ этихъ словахъ ничего опредѣленнаго, и не видимъ, какъ они могутъ относиться къ роману Ауэрбаха. Конечно, въ мірѣ вѣчно совершается борьба добра со зломъ; но зато эту тему можно отыскать въ каждомъ романѣ. Точно также мы находимъ, что почтенной редакціи только вслѣдствіе

ея постояннаго увлеченія „любовью ко всему человѣчеству“ и всегдашняго сочувствія къ борьбѣ бѣдныхъ противъ богатыхъ, показалось, что эта любовь и эта борьба отражены и въ романѣ Ауэрбаха. Гражданскій и экономическій протестъ есть конечно лучшее украшеніе каждой статьи, каждаго журнала и каждаго романа. Но, къ величайшему огорченію „Вѣстника Европы“, мы должны положительно сказать, что Ауэрбахъ отнюдь не писалъ свой романъ на эту общую тему.

Что̀ же отсюда слѣдуетъ? Если г. Тургеневъ промолчалъ, если редакція ничего не нашла сказать, кромѣ неопредѣленныхъ, ничего не обозначающихъ фразъ, то ясно, что предметъ романа очень неясенъ и задача его нимало не бросается въ глаза.

Попробуемъ, однакоже, указать какія нибудь общія черты. Все дѣло въ „Дачѣ на Рейнѣ“ вертится около невольничества и войны въ Соединенныхъ Штатахъ за освобожденіе Негровъ. Въ этомъ событіи Ауэрбахъ видитъ величайшее происшествіе современной исторіи, новую побѣду идеи свободы, новый важный шагъ въ прогрессѣ человѣчества. Весь романъ проникнутъ самою теплою вѣрою въ общечеловѣческій прогрессъ, и спеціальная его цѣль кажется вся состоитъ въ изображеніи того *отношенія, въ которомъ находится Германія къ великому событію*, т. е. къ освобожденію Негровъ. Нѣкто Зонненкампъ, бывшій торговецъ неграми, является въ Германію и добивается здѣсь баронства и спокойной и почетной жизни. Но Германія, какъ скоро открылось, кто онъ такой, извергаетъ его изъ своей среды. Въ Германіи живетъ множество прекраснѣйшихъ людей,

почти чуждыхъ человѣческихъ слабостей и проникнутыхъ самымъ чистымъ духомъ свободы. Такимъ образомъ въ наставники къ Роланду, сына Зонненкампа, попадаетъ несравненный юноша Эрихъ, и дѣло кончается тѣмъ, что сынъ продавца невольниковъ ѣдетъ вмѣстѣ съ своимъ учителемъ сражаться за негровъ. Романъ подробно изображаетъ, какъ духъ разума, свободы, здраваго и глубокомысленнаго взгляда на вещи живетъ въ профессорахъ и въ профессоршахъ, и ихъ дѣтяхъ, и какъ семейство Зонненкампа попавши въ эту удивительную среду, принуждено покоряться ей и оставить пороки и предразсудки, вывезенные изъ невольничьихъ штатовъ Сѣверной Америки. Словомъ, это—очевидное прославленіе Германіи, превознесеніе ея образованности, гуманнаго духа, педагогическихъ пріемовъ, всей мудрости, которую она наслѣдовала отъ своихъ ученыхъ, философовъ и поэтовъ.

Чтобы убѣдиться въ этомъ глубоко-національномъ, жарко-патріотическомъ характерѣ романа Ауэрбаха, стоитъ прочесть, напримѣръ, въ самомъ концѣ слѣдующія слова Эриха, которыя онъ пишетъ изъ Америки домой.

„Наша благословенная Германія! Въ былое время переселенцы уносили съ собой въ чужія страны изображенія своихъ боговъ; въ настоящій вѣкъ мы, нѣмцы, всюду куда идемъ, беремъ съ собой своихъ поэтовъ, философовъ и музыкантовъ. Посреди тревоги общественной и частной жизни, безсмертные геніи неизмѣнно продолжаютъ стоять во главѣ умственнаго и нравственнаго существованія людей, пробуждая въ нихъ своего рода

религіозное настроеніе, стремленіе ко всему прекрасному и великому".

„Во время первой великой войны, съ помощію которой Новый Свѣтъ старался отстоять свою независимость, германскіе государи продавали своихъ подданныхъ, посылая ихъ въ Америку сражаться за англичанъ".

„Нынѣ все далеко ушло впередъ: нѣмцы тысячами поступаютъ въ войско сѣверянъ; французскіе переселенцы составляютъ цѣлые отдѣльные полки зуавовъ, гдѣ команда отдается на французскомъ языкѣ. Но лучшими солдатами считаются ирландцы и нѣмцы.

„Я ожидаю въ будущемъ поэта, который поставитъ себѣ задачею—изобразить *великую драму нашего времени*—борьбу цезаризма съ стремленіемъ къ самоуправленію. Онъ въ величавыхъ картинахъ представитъ, какъ *народы, моремъ отдаленные отъ воюющихъ сторонъ стекались къ нимъ на помощь* и храбро дрались за общее дѣло". (*Дача на Рейнѣ*, т. III, стр. 330 и 331).

Очевидно, Ауэрбахъ хотѣлъ самъ нарисовать одну изъ такихъ картинъ; его романъ есть изображеніе частицы великой драмы, именно насколько въ этой драмѣ участвовала его любезная Германія.

Вотъ идея, которая, намъ кажется, нѣсколько связываетъ романъ въ одно цѣлое. Несмотря, однакоже, на то, что толки объ Америкѣ и о невольничествѣ встрѣчаются на каждой страницѣ, что Эрихъ, Вейдеманъ и другіе мудрые мужчины и женщины весьма постоянно и пространно сочувствуютъ освобожденію негровъ и напитываютъ своимъ либеральнымъ духомъ мальчика Роланда (въ описаніи воспитанія котораго состоитъ

самая значительная часть романа), трудно сказать, чтобы идея великаго событія выступала въ романѣ съ жизненной опредѣленностію и яркостію. Она является въ видѣ сухой и отвлеченной формулы, и читатель, несмотря на всѣ усилія автора, все-таки не скажетъ, что передъ нимъ раскрылся глубокій смыслъ дѣла и что онъ вполнѣ уразумѣлъ горячее содѣйствіе и сочувствіе этому дѣлу со стороны Германіи.

Впрочемъ, въ этомъ романѣ все отвлеченно. Люди дѣйствуютъ не по живымъ побужденіямъ, а по нѣкоторымъ правиламъ, и даже проводятъ свое время главнымъ образомъ въ томъ, что разсуждаютъ. Разсужденіямъ, общимъ положеніямъ, всякаго рода прекраснымъ изрѣченіямъ нѣтъ конца. Тутъ никто не разговариваетъ, а всѣ только и дѣлаютъ, что читаютъ другъ другу лекціи и рѣшаютъ другъ передъ другомъ разные историческіе и нравственные вопросы. Русскій читатель на каждой страницѣ удивляется этимъ нѣмцамъ, которыхъ вся жизнь состоитъ въ затверживаніи и безпрестанномъ пережевываніи разныхъ *мыслей*.

Мысли эти большею частію недурны, довольно благородны и довольно вѣрны, но, по несчастію, всѣ сбиваются на такія наивныя тавтологіи, на такія избитыя общія мѣста, что изъ нихъ, какъ ни бейся, не выжмешь ни капли реальнаго интереса, никакого приложенія къ дѣйствительной жизни.

Вотъ напримѣръ одно разсужденіе:

„Человѣкъ, который только страдаетъ, стоитъ на одной ступени съ животнымъ, не умѣющимъ справиться ни съ какой бѣдой. Человѣческая сила начинается тамъ,

леннаго воззрѣнія, которое можно бы вынести изъ чтенія Гюго, которымъ можно бы было проникнуться. Въ произведеніяхъ Гюго бездна поэзіи, и въ тоже время господствуетъ невообразимый, чудовищный хаосъ. Всякій образъ разрастается безъ мѣры; какъ въ словахъ, такъ и въ картинахъ, лицахъ, событіяхъ—цѣлый океанъ напряженнѣйшихъ гиперболъ, самыхъ рѣзкихъ и крикливыхъ антитезъ, какія только возможны. При такомъ отсутствіи всякой мѣры и правильности, Гюго все-таки остается поэтомъ, и даже великимъ, не смотря на свою уродливость, но отнюдь не тѣмъ прогрессистомъ и революціонеромъ, за котораго онъ себя постоянно выдаетъ и котораго можно бы весьма сильно осудить за противорѣчивую путаницу его идей.

„*Человѣка, который смѣется*", нужно поставить ниже лучшихъ произведеній Гюго. Если сила поэзіи все еще не оскудѣла у геніальнаго старика, то зато недостатки разрослись чрезвычайно, хотя казалось имъ уже невозможно было вырости больше. Англійская аристократія изображена, впрочемъ, недурно, если только откинуть тотъ преувеличенный колоритъ, которымъ покрылъ Гюго свою картину ради пущей рѣзкости въ контрастѣ. Послушать Гюго—такъ это были дѣйствительно какіе-то боги, собиравшіеся въ парламентѣ какъ на Олимпѣ. Такъ какъ они обладали властью и богатствомъ, то Гюго представилъ жизнь ихъ свѣтлою, блаженною, исполненною безпрерывныхъ радостей, фантастическихъ прихотей, и встрѣчающею свои страданія съ гордой улыбкой, съ безпечнымъ великодушіемъ. Это матеріальное пониманіе человѣческаго благополучія очень

„Что же тутъ удивительнаго?“

„Вы сегодня выказали такую ясность ума, что я рѣшительно не понимаю, какъ можете вы выражать такого рода пустыя желанія. Что̀ вы хотите этимъ сказать: желала бы я быть другою? Будь вы другая, вы уже не были бы ею (?). Затѣмъ, еслибы вы въ новомъ положеніи сохранили сознаніе вашего прежняго *я*, вы опять таки не были бы другою. Такого рода фразы не только противорѣчатъ здравому смыслу, но еще, на мой взглядъ, грѣшатъ противъ религіи“.

„Манна остановилась, а Эрихъ продолжалъ:

„Мы должны быть тѣмъ, чѣмъ насъ создала высшая воля, которую мы осмѣливаемся называть Богомъ. И *въ томъ, что̀ мы есть, обязаны мы находить наше счастье*, будь мы бѣдны, или богаты, прекрасны, или дурны собой“. (Д. на Р., т. III, стр. 74).

Вотъ какую глубокомысленную рѣчь пришлось выслушать Маннѣ за то, что она пожелала быть поселянкой. Признаемся, желаніе Манны намъ какъ нельзя болѣе понятно; философскія же возраженія Эриха намъ кажутся ужасною наивностію, изъ которой ровно ничего не слѣдуетъ. Все, говоритъ онъ, зависитъ отъ Бога. Чтоже? Неужели поэтому нельзя ничего и желать? Впрочемъ въ словахъ Эриха кажется можно отыскать нѣкоторую мысль. „Въ томъ, что̀ мы есть“, говоритъ онъ, „обязаны мы находить наше счастье“. Если вникнуть какъ слѣдуетъ, то мы найдемъ, что это мысль нѣмецкая въ высокой степени. Всякій христіанинъ знаетъ, что нужно терпѣть и не роптать на свою судьбу, а покоряться волѣ Божіей; только нѣмцу можетъ прійти

въ голову, что онъ обязанъ не только терпѣть, но и *быть счастливымъ* своею судьбою. И, что̀ всего удивительнѣе, нѣмецъ имѣетъ способность исполнить столь трудную обязанность: сказалъ себѣ твердо и ясно, что онъ *долженъ быть* счастливъ, и дѣйствительно будетъ счастливъ. Онъ запретитъ себѣ мечтать и желать, онъ велитъ себѣ довольствоваться ничтожнѣйшимъ поприщемъ, и будетъ чувствовать себя и благополучнымъ, и достойнымъ нѣжной собственной любви.

Чтобы не ограничиваться этими слабыми образчиками, раскроемъ на удачу второй, средній томъ и выпишемъ сподрядъ нѣсколько тѣхъ изрѣченій, которыми такъ густо усѣянъ романъ Ауэрбаха.

„Мы посланы въ міръ не для того, чтобы безславно и безслѣдно умирать". (стр. 105).

„Знаніе и воля даны намъ какъ орудія жизни, а не смерти" (стр. 105).

„Любовь не порождаетъ ни смерти, ни лицемѣрія, ни измѣны" (стр. 105).

„Человѣкъ, который созналъ свои заблужденія, можетъ снова выйти на истинный путь" (стр. 105).

„Разумный и честный человѣкъ также страстно желаетъ исполнять свой долгъ, какъ другіе стремятся наслаждаться" (стр. 106).

„Знаніе и сила воли даны намъ какъ орудія жизни, а не смерти" (стр. 108).

„Будь снисходителенъ къ богатымъ и сильнымъ міра сего, которымъ такъ много дано, что въ нихъ невольно умолкаетъ голосъ совѣсти и слабѣетъ сознаніе долга" (стр. 110).

„Не въ развлеченіи слѣдуетъ искать утѣшенія, а въ силахъ собственной души, и одно только размышленіе можетъ закалить человѣка противъ всѣхъ случайностей“ (стр. 111).

„Люди безпечные и лѣнивые склонны ссылаться на то, что одинъ человѣкъ будто бы ничего не въ состояніи сдѣлать. Но вѣдь народъ и человѣчество состоятъ изъ отдѣльныхъ личностей“ и пр. (стр. 112).

„Воспитательная дисциплина въ томъ именно и заключается, чтобы пріучать мальчика къ послѣдовательному труду“ и пр. (стр. 112).

„Жизнь рѣдко даетъ человѣку то, къ чему онъ имѣетъ наклонность, но гораздо чаще ставитъ его въ положеніе, вовсе несоотвѣтствующее его вкусамъ“ (стр. 112).

„Знаніе можетъ дать спокойствіе, но не счастіе“ и пр. (стр. 113).

„Религія есть именно та пища, въ которой нуждается молодая душа“ (стр. 113).

„Человѣкъ невѣрующій въ Бога никогда ие можетъ создать ничего великаго“ и пр. (стр. 114).

„Особенность богатыхъ людей заключается въ томъ, что они живутъ на свѣтѣ, какъ въ гостяхъ“ (стр. 115).

„Мы, женщины, находимъ полноту жизни только въ любви“ (стр. 115).

„Посредственныя натуры, говоритъ Шиллеръ, знаменуютъ свое существованіе тѣмъ, что̀ онѣ дѣлаютъ,—возвышенныя тѣмъ, что̀ они есть“ (стр. 115).

Мы могли бы выбрать другое, еще болѣе характерное мѣсто; но и этихъ выписокъ совершенно достаточно чтобы оцѣнить достоинство сентенцій Ауэрбаха; это

общія положенія, представляющія или общеизвѣстныя ходячія истины, или же мысли, хотя имѣющія свою вѣрную сторону, но не достигшія опредѣленности и расплывающіяся.

Публика приняла это въ серьезъ: иностранное имя автора и чужой народъ, среди котораго происходитъ дѣйствіе, конечно способствовали иллюзіи, и „Дача на Рейнѣ" читалась съ трудомъ, но тѣмъ съ большимъ усердіемъ. Теперь читатели вѣроятно сознаются, что трудъ ихъ не принесъ никакихъ плодовъ, и что даже въ памяти ихъ не осталось ни одной изъ безчисленныхъ сентенцій романа.

VI.

Александръ Гумбольдтъ.

Въ концѣ романа Ауэрбаха есть очень забавная черта.

Въ романѣ дѣйствуетъ нѣкто Вейдеманъ, человѣкъ уже пожилой и истинный образецъ всѣхъ достоинствъ, совершеннѣйшій изъ всѣхъ совершенныхъ людей, описанныхъ намъ авторомъ.

Когда Эрихъ уѣзжаетъ въ Америку, и пароходъ уже вышелъ въ открытое море, произошло весьма поучительное маленькое происшествіе:

„Эрихъ вспомнилъ о клочкѣ бумаги, который Вейдеманъ на прощаніе сунулъ ему въ руку. Онъ прочелъ его теперь. На немъ стояли слѣдующія слова изъ заключительныхъ строкъ „Космоса" Гумбольдта:

„*Между человѣческими племенами есть болѣе способныя къ развитію, болѣе облагороженныя образованіемъ, но всѣ одинаково имѣютъ право на свободу*". (Т. III, стр. 315).

Этими словами торжественно оканчивается четырнадцатая, предпослѣдняя книга романа.

Тутъ все характерно. Страсть нѣмцевъ къ цитатамъ такъ велика, что мудрый Вейдеманъ на прощаніе съ юнымъ другомъ не нашелъ для него лучшаго подарка, какъ сунуть ему въ карманъ хорошенькую цитату.

И цитата сама очень замѣчательна. Имя ея автора свидѣтельствуетъ о томъ преувеличенномъ благоговѣніи, съ которымъ нѣмцы создаютъ свои авторитеты и поклоняются имъ, а содержаніе какъ нельзя лучше подходитъ къ сентенціямъ Ауэрбаха: это—совершенно общая, всѣмъ ясная, вполнѣ отвлеченная и безцвѣтная истина. Ужели кому-нибудь, кромѣ нѣмца, можетъ прійти въ голову сказать, что именно Гумбольдтъ есть авторъ этой истины, что это *его* мысль? Развѣ есть въ ней хоть малѣйшая особенность, принадлежащая Гумбольдту? Развѣ можетъ авторитетъ Гумбольдта что-нибудь прибавить къ этой простой и ясной мысли? Развѣ можетъ эта мысль сколько нибудь характеризовать Гумбольдта?

Какое страннѣйшее злоупотребленіе великихъ именъ! Какая безплодная и безконечная трата чернилъ, перьевъ и бумаги! Да, это ты Германія! Книги тѣбя заѣли, ты кажется думаешь, что только то и правда, что̀ стоитъ въ какой нибудь книгѣ, и что солнце свѣтитъ только потому, что такъ написалъ Гумбольдтъ въ своемъ Космосѣ!

Мы сказали, что авторитетъ Гумбольдта преувеличенъ. Привязываемся къ этому удобному случаю, чтобы сказать нѣсколько словъ объ этомъ важномъ предметѣ.

Германія, конечно, заслуживаетъ великаго уваженія за то, что усердно почитаетъ память и дѣла своихъ духовныхъ дѣятелей. Но всему есть мѣра; и въ такомъ прекрасномъ дѣлѣ возможны заблужденія, и въ немъ скептицизмъ не только допускается, а даже требуется, такъ какъ чѣмъ выше мы цѣнимъ духовную дѣятельность, тѣмъ строже должны отличать въ ней истинныя заслуги отъ мнимыхъ или несущественныхъ.

Слава Гумбольдта безмѣрно велика. О ней еще недавно намъ напомнили разныя Гумбольдтовскія торжества, происходившія въ прошломъ году по случаю столѣтней годовщины дня его рожденія, 14 (2) сентября 1769. Какъ нарочно въ томъ же году приходилась годовщина Кювье (23 августа 1769), одного изъ геніальнѣйшихъ людей, какіе только были на землѣ. Контрастъ между поминками того и другаго былъ поразителенъ и невольно наводилъ на грустныя сближенія. Память Кювье, создавшаго цѣлыя науки, безмѣрно превышающаго Гумбольдта и силою генія и результатами, до которыхъ онъ дошелъ своею дѣятельностью, была празднована его соотечественниками весьма скромно. Гумбольдтъ же былъ помянутъ чуть не на всемъ земномъ шарѣ, и въ честь его имени устроены были пышныя торжества. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ (1869, октябрь, статья *Гумбольдтовъ праздникъ*) читатели могутъ найти описаніе торжествъ, устроенныхъ по этому случаю въ Берлинѣ и въ Мос-

почти чуждыхъ человѣческихъ слабостей и проникнутыхъ самымъ чистымъ духомъ свободы. Такимъ образомъ въ наставники къ Роланду, сына Зонненкампа, попадаетъ несравненный юноша Эрихъ, и дѣло кончается тѣмъ, что сынъ продавца невольниковъ ѣдетъ вмѣстѣ съ своимъ учителемъ сражаться за негровъ. Романъ подробно изображаетъ, какъ духъ разума, свободы, здраваго и глубокомысленнаго взгляда на вещи живетъ въ профессорахъ и въ профессоршахъ, и ихъ дѣтяхъ, и какъ семейство Зонненкампа попавши въ эту удивительную среду, принуждено покоряться ей и оставить пороки и предразсудки, вывезенные изъ невольничьихъ штатовъ Сѣверной Америки. Словомъ, это—очевидное прославленіе Германіи, превознесеніе ея образованности, гуманнаго духа, педагогическихъ пріемовъ, всей мудрости, которую она наслѣдовала отъ своихъ ученыхъ, философовъ и поэтовъ.

Чтобы убѣдиться въ этомъ глубоко-національномъ, жарко-патріотическомъ характерѣ романа Ауэрбаха, стоитъ прочесть, напримѣръ, въ самомъ концѣ слѣдующія слова Эриха, которыя онъ пишетъ изъ Америки домой.

„Наша благословенная Германія! Въ былое время переселенцы уносили съ собой въ чужія страны изображенія своихъ боговъ; въ настоящій вѣкъ мы, нѣмцы, всюду куда идемъ, беремъ съ собой своихъ поэтовъ, философовъ и музыкантовъ. Посреди тревоги общественной и частной жизни, безсмертные геніи неизмѣнно продолжаютъ стоять во главѣ умственнаго и нравственнаго существованія людей, пробуждая въ нихъ своего рода

религіозное настроеніе, стремленіе ко всему прекрасному и великому".

„Во время первой великой войны, съ помощію которой Новый Свѣтъ старался отстоять свою независимость, германскіе государи продавали своихъ подданныхъ, посылая ихъ въ Америку сражаться за англичанъ".

„Нынѣ все далеко ушло впередъ: нѣмцы тысячами поступаютъ въ войско сѣверянъ; французскіе переселенцы составляютъ цѣлые отдѣльные полки зуавовъ, гдѣ команда отдается на французскомъ языкѣ. Но лучшими солдатами считаются ирландцы и нѣмцы.

„Я ожидаю въ будущемъ поэта, который поставитъ себѣ задачею—изобразить *великую драму нашего времени*—борьбу цезаризма съ стремленіемъ къ самоуправленію. Онъ въ величавыхъ картинахъ представитъ, какъ *народы, моремъ отдаленные отъ воюющихъ сторонъ стекались къ нимъ на помощь* и храбро дрались за общее дѣло". (*Дача на Рейнѣ*, т. III, стр. 330 и 331).

Очевидно, Ауэрбахъ хотѣлъ самъ нарисовать одну изъ такихъ картинъ; его романъ есть изображеніе частицы великой драмы, именно насколько въ этой драмѣ участвовала его любезная Германія.

Вотъ идея, которая, намъ кажется, нѣсколько связываетъ романъ въ одно цѣлое. Несмотря, однакоже, на то, что толки объ Америкѣ и о невольничествѣ встрѣчаются на каждой страницѣ, что Эрихъ, Вейдеманъ и другіе мудрые мужчины и женщины весьма постоянно и пространно сочувствуютъ освобожденію негровъ и напитываютъ своимъ либеральнымъ духомъ мальчика Роланда (въ описаніи воспитанія котораго состоитъ

самая значительная часть романа), трудно сказать, чтобы идея великаго событія выступала въ романѣ съ жизненной опредѣленностію и яркостію. Она является въ видѣ сухой и отвлеченной формулы, и читатель, несмотря на всѣ усилія автора, все-таки не скажетъ, что передъ нимъ раскрылся глубокій смыслъ дѣла и что онъ вполнѣ уразумѣлъ горячее содѣйствіе и сочувствіе этому дѣлу со стороны Германіи.

Впрочемъ, въ этомъ романѣ все отвлеченно. Люди дѣйствуютъ не по живымъ побужденіямъ, а по нѣкоторымъ правиламъ, и даже проводятъ свое время главнымъ образомъ въ томъ, что разсуждаютъ. Разсужденіямъ, общимъ положеніямъ, всякаго рода прекраснымъ изрѣченіямъ нѣтъ конца. Тутъ никто не разговариваетъ, а всѣ только и дѣлаютъ, что читаютъ другъ другу лекціи и рѣшаютъ другъ передъ другомъ разные историческіе и нравственные вопросы. Русскій читатель на каждой страницѣ удивляется этимъ нѣмцамъ, которыхъ вся жизнь состоитъ въ затверживаніи и безпрестанномъ пережевываніи разныхъ *мыслей*.

Мысли эти большею частію недурны, довольно благородны и довольно вѣрны, но, по несчастію, всѣ сбиваются на такія наивныя тавтологіи, на такія избитыя общія мѣста, что изъ нихъ, какъ ни бейся, не выжмешь ни капли реальнаго интереса, никакого приложенія къ дѣйствительной жизни.

Вотъ напримѣръ одно разсужденіе:

„Человѣкъ, который только страдаетъ, стоитъ на одной ступени съ животнымъ, не умѣющимъ справиться ни съ какой бѣдой. Человѣческая сила начинается тамъ,

гдѣ ты даешь себѣ отчетъ въ твоемъ страданіи и трудишься надъ тѣмъ, чтобы подчинить его своему разуму и волѣ. *Отдаваясь горю безъ борьбы, ты дѣлаешь невозможнымъ свое нравственное выздоровленіе.* Ободрись же и вооружись мужествомъ. *Если въ тебѣ есть что-либо такое, за что ты считаешь себя достойнымъ собственной любви, то ты вправѣ ожидать ея и отъ другихъ*". (Д. на Р., т. III, стр. 146).

Это утѣшеніе въ горѣ, по нашему мнѣнію, есть непростительная болтовня, едва ли способная кого нибудь утѣшить. Какъ будто человѣка въ большомъ несчастіи можетъ ободрить мысль, что твердость духа докажетъ его превосходство надъ животными, надъ коровами и лошадьми? И съ чего взялъ почтенный нѣмецъ, что каждый человѣкъ всегда и непремѣнно считаетъ себя *достойнымъ собственной любви?* Такова быть можетъ натура у нѣмцевъ, но мы часто бываемъ недовольны собою.

Предъидущія сентенціи принадлежатъ Эриху, главному представителю Германіи въ романѣ. Этотъ Эрихъ такъ уменъ и хорошъ, что невозможно и разсказать. За то онъ и сыплетъ всякія разсужденія и общія мѣста цѣлыми коробами, цѣлыми ворохами. Даже когда онъ разговариваетъ съ дѣвушкою, въ которую страстно влюбленъ, то и ей все читаетъ лекціи. Вотъ одна сцена:

„Ахъ, какъ бы я желала быть этой поселянкой!— воскликнула Манна".

„Извините,—возразилъ Эрихъ,—если я осмѣлюсь выразить удивленіе, что слышу подобныя рѣчи отъ васъ".

„Что же тутъ удивительнаго?“

„Вы сегодня выказали такую ясность ума, что я рѣшительно не понимаю, какъ можете вы выражать такого рода пустыя желанія. Что̀ вы хотите этимъ сказать: желала бы я быть другою? Будь вы другая, вы уже не были бы ею (?). Затѣмъ, еслибы вы въ новомъ положеніи сохранили сознаніе вашего прежняго *я*, вы опять таки не были бы другою. Такого рода фразы не только противорѣчатъ здравому смыслу, но еще, на мой взглядъ, грѣшатъ противъ религіи“.

„Манна остановилась, а Эрихъ продолжалъ:

„Мы должны быть тѣмъ, чѣмъ насъ создала высшая воля, которую мы осмѣливаемся называть Богомъ. И *въ томъ, что̀ мы есть, обязаны мы находить наше счастье*, будь мы бѣдны, или богаты, прекрасны, или дурны собой“. (Д. на Р., т. III, стр. 74).

Вотъ какую глубокомысленную рѣчь пришлось выслушать Маннѣ за то, что она пожелала быть поселянкой. Признаемся, желаніе Манны намъ какъ нельзя болѣе понятно; философскія же возраженія Эриха намъ кажутся ужасною наивностію, изъ которой ровно ничего не слѣдуетъ. Все, говоритъ онъ, зависитъ отъ Бога. Чтоже? Неужели поэтому нельзя ничего и желать? Впрочемъ въ словахъ Эриха кажется можно отыскать нѣкоторую мысль. „Въ томъ, что̀ мы есть“, говоритъ онъ, „обязаны мы находить наше счастье“. Если вникнуть какъ слѣдуетъ, то мы найдемъ, что это мысль нѣмецкая въ высокой степени. Всякій христіанинъ знаетъ, что нужно терпѣть и не роптать на свою судьбу, а покоряться волѣ Божіей; только нѣмцу можетъ прійти

въ голову, что онъ обязанъ не только терпѣть, но и *быть счастливымъ* своею судьбою. И, что̀ всего удивительнѣе, нѣмецъ имѣетъ способность исполнить столь трудную обязанность: сказалъ себѣ твердо и ясно, что онъ *долженъ быть* счастливъ, и дѣйствительно будетъ счастливъ. Онъ запретитъ себѣ мечтать и желать, онъ велитъ себѣ довольствоваться ничтожнѣйшимъ поприщемъ, и будетъ чувствовать себя и благополучнымъ, и достойнымъ нѣжной собственной любви.

Чтобы не ограничиваться этими слабыми образчиками, раскроемъ на удачу второй, средній томъ и выпишемъ сподрядъ нѣсколько тѣхъ изрѣченій, которыми такъ густо усѣянъ романъ Ауэрбаха.

„Мы посланы въ міръ не для того, чтобы безславно и безслѣдно умирать". (стр. 105).

„Знаніе и воля даны намъ какъ орудія жизни, а не смерти" (стр. 105).

„Любовь не порождаетъ ни смерти, ни лицемѣрія, ни измѣны" (стр. 105).

„Человѣкъ, который созналъ свои заблужденія, можетъ снова выйти на истинный путь" (стр. 105).

„Разумный и честный человѣкъ также страстно желаетъ исполнять свой долгъ, какъ другіе стремятся наслаждаться" (стр. 106).

„Знаніе и сила воли даны намъ какъ орудія жизни, а не смерти" (стр. 108).

„Будь снисходителенъ къ богатымъ и сильнымъ міра сего, которымъ такъ много дано, что въ нихъ невольно умолкаетъ голосъ совѣсти и слабѣетъ сознаніе долга" (стр. 110).

„Не въ развлеченіи слѣдуетъ искать утѣшенія, а въ силахъ собственной души, и одно только размышленіе можетъ закалить человѣка противъ всѣхъ случайностей“ (стр. 111).

„Люди безпечные и лѣнивые склонны ссылаться на то, что одинъ человѣкъ будто бы ничего не въ состояніи сдѣлать. Но вѣдь народъ и человѣчество состоятъ изъ отдѣльныхъ личностей“ и пр. (стр. 112).

„Воспитательная дисциплина въ томъ именно и заключается, чтобы пріучать мальчика къ послѣдовательному труду“ и пр. (стр. 112).

„Жизнь рѣдко даетъ человѣку то, къ чему онъ имѣетъ наклонность, но гораздо чаще ставитъ его въ положеніе, вовсе несоотвѣтствующее его вкусамъ“ (стр. 112).

„Знаніе можетъ дать спокойствіе, но не счастіе“ и пр. (стр. 113).

„Религія есть именно та пища, въ которой нуждается молодая душа“ (стр. 113).

„Человѣкъ невѣрующій въ Бога никогда не можетъ создать ничего великаго“ и пр. (стр. 114).

„Особенность богатыхъ людей заключается въ томъ, что они живутъ на свѣтѣ, какъ въ гостяхъ“ (стр. 115).

„Мы, женщины, находимъ полноту жизни только въ любви“ (стр. 115).

„Посредственныя натуры, говоритъ Шиллеръ, знаменуютъ свое существованіе тѣмъ, что̀ онѣ дѣлаютъ,—возвышенныя тѣмъ, что̀ они есть“ (стр. 115).

Мы могли бы выбрать другое, еще болѣе характерное мѣсто; но и этихъ выписокъ совершенно достаточно чтобы оцѣнить достоинство сентенцій Ауэрбаха; это

общія положенія, представляющія или общеизвѣстныя ходячія истины, или же мысли, хотя имѣющія свою вѣрную сторону, но не достигшія опредѣленности и расплывающіяся.

Публика приняла это въ серьезъ: иностранное имя автора и чужой народъ, среди котораго происходитъ дѣйствіе, конечно способствовали иллюзіи, и „Дача на Рейнѣ" читалась съ трудомъ, но тѣмъ съ большимъ усердіемъ. Теперь читатели вѣроятно сознаются, что трудъ ихъ не принесъ никакихъ плодовъ, и что даже въ памяти ихъ не осталось ни одной изъ безчисленныхъ сентенцій романа.

VI.

Александръ Гумбольдтъ.

Въ концѣ романа Ауэрбаха есть очень забавная черта.

Въ романѣ дѣйствуетъ нѣкто Вейдеманъ, человѣкъ уже пожилой и истинный образецъ всѣхъ достоинствъ, совершеннѣйшій изъ всѣхъ совершенныхъ людей, описанныхъ намъ авторомъ.

Когда Эрихъ уѣзжаетъ въ Америку, и пароходъ уже вышелъ въ открытое море, произошло весьма поучительное маленькое происшествіе:

„Эрихъ вспомнилъ о клочкѣ бумаги, который Вейдеманъ на прощаніе сунулъ ему въ руку. Онъ прочелъ его теперь. На немъ стояли слѣдующія слова изъ заключительныхъ строкъ „Космоса" Гумбольдта:

„Между человѣческими племенами есть болѣе способныя къ развитію, болѣе облагороженныя образованіемъ, но всѣ одинаково имѣютъ право на свободу“. (Т. III, стр. 315).

Этими словами торжественно оканчивается четырнадцатая, предпослѣдняя книга романа.

Тутъ все характерно. Страсть нѣмцевъ къ цитатамъ такъ велика, что мудрый Вейдеманъ на прощаніе съ юнымъ другомъ не нашелъ для него лучшаго подарка, какъ сунуть ему въ карманъ хорошенькую цитату.

И цитата сама очень замѣчательна. Имя ея автора свидѣтельствуетъ о томъ преувеличенномъ благоговѣніи, съ которымъ нѣмцы создаютъ свои авторитеты и поклоняются имъ, а содержаніе какъ нельзя лучше подходитъ къ сентенціямъ Ауэрбаха: это—совершенно общая, всѣмъ ясная, вполнѣ отвлеченная и безцвѣтная истина. Ужели кому-нибудь, кромѣ нѣмца, можетъ прійти въ голову сказать, что именно Гумбольдтъ есть авторъ этой истины, что это *его* мысль? Развѣ есть въ ней хоть малѣйшая особенность, принадлежащая Гумбольдту? Развѣ можетъ авторитетъ Гумбольдта что-нибудь прибавить къ этой простой и ясной мысли? Развѣ можетъ эта мысль сколько нибудь характеризовать Гумбольдта?

Какое страннѣйшее злоупотребленіе великихъ именъ! Какая безплодная и безконечная трата чернилъ, перьевъ и бумаги! Да, это ты Германія! Книги тебя заѣли, ты кажется думаешь, что только то и правда, что̀ стоитъ въ какой нибудь книгѣ, и что солнце свѣтитъ только потому, что такъ написалъ Гумбольдтъ въ своемъ Космосѣ!

Мы сказали, что авторитетъ Гумбольдта преувеличенъ. Привязываемся къ этому удобному случаю, чтобы сказать нѣсколько словъ объ этомъ важномъ предметѣ.

Германія, конечно, заслуживаетъ великаго уваженія за то, что усердно почитаетъ память и дѣла своихъ духовныхъ дѣятелей. Но всему есть мѣра; и въ такомъ прекрасномъ дѣлѣ возможны заблужденія, и въ немъ скептицизмъ не только допускается, а даже требуется, такъ какъ чѣмъ выше мы цѣнимъ духовную дѣятельность, тѣмъ строже должны отличать въ ней истинныя заслуги отъ мнимыхъ или несущественныхъ.

Слава Гумбольдта безмѣрно велика. О ней еще недавно намъ напомнили разныя Гумбольдтовскія торжества, происходившія въ прошломъ году по случаю столѣтней годовщины дня его рожденія, 14 (2) сентября 1769. Какъ нарочно въ томъ же году приходилась годовщина Кювье (23 августа 1769), одного изъ геніальнѣйшихъ людей, какіе только были на землѣ. Контрастъ между поминками того и другаго былъ поразителенъ и невольно наводилъ на грустныя сближенія. Память Кювье, создавшаго цѣлыя науки, безмѣрно превышающаго Гумбольдта и силою генія и результатами, до которыхъ онъ дошелъ своею дѣятельностью, была празднована его соотечественниками весьма скромно. Гумбольдтъ же былъ помянутъ чуть не на всемъ земномъ шарѣ, и въ честь его имени устроены были пышныя торжества. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ (1869, октябрь, статья *Гумбольдтовъ праздникъ*) читатели могутъ найти описаніе торжествъ, устроенныхъ по этому случаю въ Берлинѣ и въ Мос-

жвѣ. Не знаемъ, что̀ было въ Америкѣ; очень вѣроятно, что была процессія съ факелами и стрѣляли изъ пушекъ.

Разница, которая такъ ясно обнаружилась въ чествованіи памяти обоихъ ученыхъ, очевидно имѣетъ нѣкоторую связь съ современнымъ состояніемъ національностей, къ которымъ они принадлежатъ. Французамъ не до того, чтобы носиться съ славою своихъ представителей науки: французы слишкомъ заняты другими дѣлами и — что̀ главное — имѣютъ притязаніе на славу и величіе другаго рода, на передовую роль въ политическомъ прогрессѣ человѣчества. Нѣмцы совершенно въ въ другомъ положеніи: въ политикѣ за ними нѣтъ важныхъ заслугъ, а въ мірѣ науки есть уже значительныя. Нѣмцамъ очень желательно поднять свое культурное значеніе какъ можно выше, и тѣмъ помочь своимъ политическимъ дѣламъ, объединенію Германіи и инымъ, еще болѣе честолюбивымъ цѣлямъ. Что̀ касается до Гумбольдта, то въ Берлинѣ его, очевидно, можно было славитъ безъ конца и мѣры; ибо онъ былъ не только нѣмецъ, а даже Пруссакъ, слѣдовательно соединялъ въ себѣ всѣ условія, при которыхъ слава человѣка полезна его отечеству.

Славу своихъ ученыхъ нѣмцы разносятъ и укрѣпляютъ по всему свѣту; весьма дѣйствительное средство для этого заключается въ томъ, что во всѣхъ странахъ существуютъ колоніи нѣмецкихъ ученыхъ, подобно тому, какъ во всѣхъ большихъ городахъ есть французскіе модистки и парикмахеры.

Изъ рѣчи Дове, произнесенной въ Берлинской Ака-

деміи наукъ, мы видимъ, что празднество въ честь Гумбольдта имѣло въ весьма значительной степени національный характеръ. Дове вспоминаетъ о томъ, что онъ познакомился съ Гумбольдтомъ сорокъ лѣтъ тому назадъ, когда „сознаніе, что всѣ говорящіе однимъ языкомъ составляютъ нераздѣльную націю, пустило глубокіе корни и получило живое выраженіе на съѣздѣ нѣмецкихъ естествоиспытателей". „Въ залѣ Пѣвческой Академіи впервые раздались одновременно всѣ нѣмецкіе діалекты со всею ихъ оргинальностію". Достойнымъ предсѣдателемъ этого съѣзда былъ Александръ Гумбольдтъ. Съ гордостію вспоминаетъ Дове, что въ числѣ членовъ были Леопольдъ фонъ-Бухъ и Гауссъ, „на челѣ котораго можно было прочесть гордую рѣчь Парацельза: *Англичане, Французы, Италянцы, слѣдуйте вы за мною, а не я за вами!*" („Русск. Вѣстн." 1869. Окт., стр. 637).

Въ залѣ театра, гдѣ тогда, сорокъ лѣтъ тому назадъ, пировали нѣмецкіе натуралисты, Гумбольдтъ велѣлъ поставить доску съ именами прежнихъ нѣмецкихъ естествоиспытателей. Во всю свою жизнь Гумбольдтъ покровительствовалъ ученымъ; но „нѣмецъ", говоритъ Дове, „предпочтительно могъ разсчитывать на его содѣйствіе." Извѣстно, что еще очень недавно французы занимали первое мѣсто въ естественныхъ наукахъ. Вернувшись изъ Америки, Гумбольдтъ восемнадцать лѣтъ жилъ въ Парижѣ, единственномъ мѣстѣ, гдѣ могъ найти пособія и помощниковъ для изданія своего путешествія. Но за тѣмъ онъ вернулся въ Берлинъ, „я полагаю потому," говоритъ Дове, „что появленіе *Космоса*, по его

убѣжденію, было возможно только въ средѣ мыслящей Германіи" (ст. 636).

И такъ, нѣмцы славятъ своего Гумбольдта какъ національнаго героя, какъ одного изъ представителей своего народнаго духа. Но намъ какое до этого дѣло? Мы должны относиться къ нему со стороны; для насъ все равно, къ какой націи принадлежитъ ученый; намъ слѣдуетъ цѣнить его только въ отношеніи къ его научнымъ заслугамъ. Намъ должно остерегаться, какъ бы насъ не обманули національные восторги другихъ народовъ, какъ бы не попасть намъ въ жалкую роль людей, которые повидимому преклоняются предъ наукой и восторгаются ея побѣдами, а въ сущности не способны цѣнить ихъ и только повторяютъ чужія слова, какъ попугаи.

Мы воспользуемся для нашихъ замѣтокъ, сверхъ указанной статьи „Русскаго Вѣстника", еще небольшою книжкою подъ заглавіемъ: *Торжественное собраніе Императорскаго Московскаго Общества испытателей природы 2-го сентября 1869 года, въ воспоминаніе столѣтней годовщины дня рожденія Александра фонъ-Гумбольдта.* Москва, 1869. Эта книжка содержитъ десять рѣчей и писемъ. Намъ кажется, что весьма небезъинтересно обратить вниманіе на нѣкоторые факты, которые тутъ содержатся, и которыхъ истинный смыслъ не трудно уразумѣть.

Во первыхъ, научныя заслуги Гумбольдта, не только не такъ безмѣрно велики, какъ это обыкновенно воображаютъ люди несвѣдущіе въ естественныхъ наукахъ, но даже вовсе не могутъ равняться съ заслугами первостепенныхъ натуралистовъ. „Дѣйствительно", говоритъ

Н. А. Любимовъ въ своей любопытной и безпристрастной рѣчи, „если спросить, какія великія изобрѣтенія принадлежатъ Гумбольдту, какой кругъ явленій открытъ его проницательностію, какой законъ природы указанъ и разъясненъ имъ, то отвѣтъ будетъ отрицательнаго свойства: никакого открытія, которое можно было бы назвать великимъ, не соединено съ его именемъ.“ (Торж. Собр. ст. 86).

Весьма интересно, что Гумбольдтъ самъ ясно сознавалъ малую научную важность своихъ трудовъ. Дове разсказываетъ, что въ минуту грустнаго настроенія Гумбольдтъ сказалъ ему: „Я знаю, что оставлю за собою лишь слабый слѣдъ на поприщѣ науки.“ (Русск. Вѣстникъ, стр. 640).

Еще краснорѣчивѣе другое, болѣе ясное и публичное признаніе, сдѣланное Гумбольдтомъ въ 1858 г., слѣдовательно уже въ самомъ концѣ жизни. Вѣроятно слава сперва очень была сладка Гумбольдту, и онъ усердно заботился о ея пріобрѣтеніи и распространеніи, но въ глубокой старости пропала наконецъ и любовь къ славѣ, и старикъ поставилъ выше ея любовь къ истинѣ. По поводу своей слишкомъ лестной біографіи, появившейся въ Biographie Universelle, онъ писалъ въ іюлѣ 1858 года къ Геферу, редактору этого изданія:

„Дружба имѣетъ свои миѳы, но эта миѳологія находитъ вѣрующихъ лишь въ тѣсномъ кружкѣ друзей, которые готовы смѣшивать постоянный жаръ къ труду, желаніе достигнуть цѣлей съ самымъ успѣхомъ. Долгое терпѣніе жить (la longue patience de vivre) увеличиваетъ извѣстность, *которая еще не есть слава*. Я, по счастію, не-

слѣпъ относительно самого себя, такъ какъ *постоянно окруженъ былъ людьми, которые были выше меня.* Жизнь моя была полезна наукѣ *не столько тѣмъ немногимъ, что я самъ произвелъ,* сколько тою ревностію, какую я обнаруживалъ, чтобы воспользоваться выгодами своего положенія. Я всегда былъ вѣрнымъ цѣнителемъ чужаго достоинства, имѣлъ даже нѣкоторую проницательность въ угадываніи раждающагося достоинства. Мнѣ пріятно думать, что пройдя, что, сдѣлавъ ошибку пройти (ayant eu tort de traverser) слишкомъ разнообразное поле научныхъ интересовъ, я оставилъ нѣкоторые слѣды тамъ гдѣ прошелъ." (*Торж. Собр.* стр. 86).

Люди свѣдущіе должны согласиться, что это не просто *скромный*, а совершенно правдивый и безъукоризненно правильный отзывъ. Скромничать Гумбольдту было вовсе незачѣмъ; скорѣе можно сказать, что ему наконецъ опротивѣли преувеличенныя похвалы, которыхъ несправедливость онъ такъ ясно видѣлъ. Заслуги же свои онъ въ этомъ письмѣ не только признаетъ, а даже настаиваетъ на нихъ, напримѣръ похваляясь *проницательностію* въ угадываніи раждающагося достоинства.

Спеціалисты хорошо знаютъ истинное значеніе Гумбольдта. Физикъ, ботаникъ, зоологъ, физіологъ, астрономъ—никто не считаетъ Гумбольдта въ числѣ своихъ первостепенныхъ авторитетовъ, всякій ставитъ его ниже многихъ и многихъ менѣе славныхъ ученыхъ, бывшихъ однако настоящими двигателями науки. „Космосъ" Гумбольдта есть книга обманчивая, весьма привлекательная по содержанію, по подробностямъ, по эрудиціи, но весьма слабая по научному духу и не могущая посвятить

въ пріемы истинной науки ни профановъ, ни начинающихъ ученыхъ.

Если же такъ, то въ чемъ же состоятъ права Гумбольдта на его всемірную славу? За что собственно его такъ превозносятъ? Обыкновенно ему приписываются два достоинства, о которыхъ онъ, однако же, ни слова не говоритъ въ письмѣ къ Геферу: 1) всеобщность знанія, всеобъемлющую ученость и 2) прекрасное изложеніе, мастерство писать.

Вице-президентъ Московскаго Общества Испытателей природы, А. Гр. Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ говоритъ объ этомъ такъ:

„Вотъ въ чемъ главнѣйше состоитъ слава Гумбольдта: въ томъ, что онъ, при всей и прямо изо всей, съ тою именно цѣлью до мельчайшихъ подробностей подмѣченной разнообразности явленій, орлинымъ полетомъ и всеобъемлющимъ взоромъ, съ необъятной высоты, открывающей новые обширные кругозоры, *обнялъ всю цѣлость, всю гармонію* природы, и передалъ намъ правдиво и *съ неподражаемымъ искусствомъ изобразилъ* не отдѣльные ея обломки, *а всю ея величавую совокупность въ стройной ея цѣлости.*“ (Торж. Собр. стр. 4).

Подобное мнѣніе въ разныхъ видахъ повторяется почти всѣми, кто восхвалялъ Гумбольдта. Между тѣмъ въ этомъ мнѣніи весьма позволительно усумниться. Изъ того, что Гумбольдтъ писалъ о столь многихъ и различныхъ предметахъ, еще не слѣдуетъ, что онъ непремѣнно уловлялъ ихъ единство и гармонію. Точно также, изъ его изящнаго слога и богатой эрудиціи не слѣдуетъ еще, что онъ выбиралъ для своихъ предметовъ наилучшіе пріемы изложенія.

Всякій, читавшій Гумбольдта, долженъ согласиться, что изъ его сочиненій едва-ли можно почерпнуть глубокіе взгляды, что-нибудь похожее на философское воззрѣніе на міръ. Подобнаго воззрѣнія мы не станемъ и отыскивать въ Гумбольдтѣ, если вспомнимъ существенныя черты его научнаго направленія, черты довольно хорошо извѣстныя.

По своимъ философскимъ взглядамъ Гумбольдтъ былъ, въ сущности, матеріалистъ. Матеріализмъ—дѣло очень обыкновенное у натуралистовъ, и въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ о мертвой природѣ, у физика, химика, астронома, матеріализмъ не мѣшаетъ достигать великихъ открытій и результатовъ. Извѣстно, напримѣръ, что Лапласъ, авторъ „Небесной механики", былъ матеріалистъ. Но для той задачи, которую поставилъ себѣ Гумбольдтъ, для обозрѣнія природы въ ея цѣлости и разнообразіи, матеріализмъ есть точка зрѣнія слишкомъ скудная и узкая, никоимъ образомъ не способная привести насъ къ глубокому разумѣнію природы. Съ другой стороны, въ укоръ Гумбольдту можно поставить и то, что его матеріализмъ не имѣлъ даже достоинства смѣлости и послѣдовательности. Гумбольдтъ не былъ ревностнымъ поклонникомъ и проповѣдникомъ этого воззрѣнія; онъ держался его, очевидно, только *за неимѣніемъ лучшаго*, за невозможностію усвоить себѣ какія-нибудь иныя начала.

По своей методѣ, по научнымъ пріемамъ, Гумбольдтъ былъ грубый эмпирикъ. Онъ мало былъ способенъ къ пріемамъ болѣе сложнымъ, болѣе требующимъ апріорической работы ума. Едва-ли не лучшая его заслуга есть изобрѣтеніе

изотермическихъ линій, то есть нагляднаго изображенія голыхъ фактовъ, чисто эмпирическихъ данныхъ. При такомъ складѣ ума, *гармонія* природы, ея *стройность* и т. п. была очевидно область мало доступная для Гумбольдта, и ничего нѣтъ мудренаго, что онъ не успѣлъ въ ней что-либо сдѣлать.

Наконецъ, что̀ касается до прекраснаго слога и богатой эрудиціи Гумбольдта, то нельзя не видѣть, что они не всегда находятся въ надлежащей соразмѣрности съ предметомъ, къ которому прилагаются. Слогъ часто *слишкомъ* прекрасенъ и эрудиція *слишкомъ* богата. Напыщенность и страсть къ печатной бумагѣ, столь обыкновенныя у Нѣмцевъ, очевидно свойственны и Гумбольдту, и ихъ ни въ какомъ случаѣ нельзя ставить ему въ достоинство. Его сочиненія отчасти породили и поддерживаютъ то безконечное фразерство о природѣ, которымъ переполнена нѣмецкая ученая и особенно популярная литература по естественнымъ наукамъ. Звучныя фразы о самыхъ простыхъ предметахъ, восторженные возгласы по поводу самыхъ сухихъ мыслей, потоки краснорѣчія, основаннаго на странномъ увлеченіи словами и отвлеченными понятіями,—эти недостатки находятъ себѣ нѣкоторое оправданіе въ авторитетѣ Гумбольдтовыхъ сочиненій. Популярная литература по естественнымъ наукамъ въ сущности есть родъ фальшивый: Гумбольдтъ больше всякаго другаго узаконилъ существованіе этого рода своими различными попытками изящнаго изложенія *взглядовъ* на природу и общихъ обзоровъ. Что̀ касается до эрудиціи, то она, очевидно, составляетъ слабость нѣмецкихъ натуралистовъ. Многіе

изъ нихъ подъ конецъ даже вовсе бросаютъ изслѣдованіе природы и пускаются въ міръ книгъ, въ которомъ какъ будто чувствуютъ себя привольнѣе. Такъ, напримѣръ, случилось съ знаменитымъ Шлейденомъ.

Намъ кажется, что такой взглядъ на Гумбольдта въ значительной мѣрѣ можетъ быть подтвержденъ тѣмъ любопытнымъ письмомъ Шиллера къ Кернеру, которое привелъ въ своей рѣчи г. Любимовъ, — за что г. Любимову нельзя не сказать спасибо. Письмо писано 6-го Августа 1797 года; слѣдовательно тогда Гумбольдту было 28 лѣтъ, а Шиллеру 35. Великій поэтъ, по нашему мнѣнію, обнаружилъ въ этомъ случаѣ геніальную чуткость.

„Объ Александрѣ Гумбольдтѣ", писалъ онъ, „я не имѣю еще опредѣленнаго сужденія; боюсь однако, что, несмотря на всѣ его таланты и неустанную дѣятельность, *онъ въ своей наукѣ никогда не сдѣлаетъ чего-либо великаго*. Я не замѣтилъ въ немъ ни искры чистаго, объективнаго интереса, и, *какъ это ни страннымъ можетъ показаться*, я нахожу въ немъ, при всемъ громадномъ обиліи матеріала, *скудость пониманія* (Dürftigkeit des Sinnes), что́ въ его предметѣ худшій недостатокъ. Это голый, рѣжущій разсудокъ, который хочетъ природу, всегда необъятную, безстыдно (schamlos) измѣрить и, съ дерзостію, которой я не понимаю, сдѣлать для нея масштабомъ свои формулы, которыя часто суть только пустыя слова и всегда узкія понятія. Короче сказать, мнѣ кажется, что *онъ слишкомъ грубый органъ для своего предмета и слишкомъ ограниченный человѣкъ разсудка* (zu beschränkter Verstandesmensch). У него нѣтъ силы

воображенія и недостаетъ, по моему сужденію, дара, необходимаго для его науки; ибо должно прозрѣвать природу, прочувствовать ее въ ея отдѣльныхъ явленіяхъ, какъ и въ высшихъ законахъ. Александръ *внушительно дѣйствуетъ на многихъ* и выигрываетъ сравнительно съ братомъ тѣмъ, что *умѣетъ дать себѣ цѣну*, но по абсолютной оцѣнкѣ я не могу ихъ и сравнивать". (Торж. Собр., стр. 71).

Въ этомъ письмѣ есть и мѣткіе намеки на то, почему, несмотря на отсутствіе истинной геніальности, Гумбольдтъ успѣлъ пріобрѣсти себѣ такую огромную славу. Причину заключалась въ его необыкновенномъ умѣньи *давать себѣ цѣну* и *внушительно дѣйствовать* на людей. Лучшая сторона этихъ усилій пріобрѣсти сколь возможно большее значеніе въ глазахъ другихъ людей, конечно, состоитъ въ томъ, на что̀ такъ настойчиво указываетъ Гумбольдтъ въ своемъ письмѣ къ Геферу, въ постоянномъ *покровительствѣ* другимъ ученымъ, въ содѣйствіи *чужимъ трудамъ*. Въ этомъ отношеніи Гумбольдтъ твердо и неизмѣнно держался того образа дѣйствій, который былъ вмѣстѣ и самымъ благороднымъ, и самымъ выгоднымъ для его собственной славы. Обстоятельства его жизни чрезвычайно много способствовали ему на этомъ пути. Гумбольдтъ представляетъ прекрасный примѣръ богатаго и знатнаго человѣка, который, хотя не имѣлъ генія, но всею душою предался научнымъ интересамъ и сдѣлалъ для нихъ все, что̀ можно было сдѣлать при его средствахъ, талантахъ и неутомимой дѣятельности. Симпатія, которую возбуждалъ и возбуждаетъ Гумбольдтъ, главнымъ образомъ зависитъ

отъ того, что вся корысть его трудовъ состояла въ славѣ, и всѣ выгоды, которыхъ онъ искалъ,—въ успѣхахъ науки. Истинный образецъ нѣмца по усердію, терпѣнію и стремленію отдавать свою жизнь на служеніе духовнымъ интересамъ.

Дѣйствительная же роль Гумбольдта въ ученомъ мірѣ и въ движеніи наукъ, намъ кажется, очень хорошо характеризуется слѣдующими словами г. Любимова:

„Гумбольдтъ былъ однимъ изъ главныхъ управляющихъ корпуса рабочихъ науки, собирающимъ и располагающимъ матеріалы, указывающимъ работы. Въ теченіе болѣе полустолѣтія, онъ былъ однимъ изъ великихъ центровъ научнаго движенія и находился въ близкихъ сношеніяхъ со всѣмъ, что́ только было замѣчательнаго въ ученомъ мірѣ. Его труды еще въ прошломъ столѣтіи доставили ему почетную извѣстность, возраставшую съ лѣтами. *Его высокое общественное положеніе, связи, богатство, въ соединеніи съ путешествіями,* дали ему всюду доступъ и доставили ему личную близость съ свѣтилами ученаго міра. Соединяя въ себѣ два столѣтія ученыхъ трудовъ, имѣя въ рукахъ, по своимъ громаднымъ сношеніямъ, всѣ нити научнаго движенія вѣка, *онъ естественно являлся, передъ лицемъ всего міра, какъ-бы оффиціальнымъ представителемъ науки и корпуса ученыхъ,*—возведенный на этотъ постъ единодушнымъ и безспорнымъ, хотя и негласнымъ избраніемъ всего ученаго міра". (Торж. Собр., стр. 87).

Во всякомъ случаѣ, Гумбольдтъ, очевидно, не принадлежитъ къ числу тѣхъ геніевъ, слова которыхъ многозначительны какъ изрѣченія пророковъ и стихи ве-

ликихъ поэтовъ. „Космосъ", на который нѣмцы смотрятъ какъ на какое-то евангеліе естественныхъ наукъ, нимало не заслуживаетъ этой чести. Цитата, которую Вейдеманъ всунулъ въ карманъ Эриха, была бы смѣшна, даже если бы заключала въ себѣ не столь избитое и общее положеніе.

VII.

Англійскіе романы.

Для полноты круга нашихъ замѣтокъ, скажемъ нѣсколько словъ объ англійской литературѣ. Вліяніе этой литературы у насъ быстро возрастаетъ. Укажемъ на англійскую философію, не только являющуюся въ переводахъ, но и породившую послѣдователей, наприм. г. Троицкаго.

Если же взять изящную словесность, составляющую собственно предметъ настоящей статьи, то извѣстно, что уже давно англійскіе романы занимаютъ первое мѣсто между нашими переводными романами. Притокъ ихъ въ нашу литературу самый правильный и постоянный. Почти каждый журналъ считаетъ долгомъ помѣщать ихъ *непрерывно* одинъ за другимъ, даже иногда по два за разъ. Такимъ образомъ выходитъ, что всякое замѣчательное произведеніе этого рода непремѣнно является на русскомъ языкѣ, чего нельзя сказать ни о нѣмецкихъ, ни даже о французскихъ романахъ.

При такой любви нашей читающей публики къ англійскимъ романамъ, очень рѣзко бросается въ глаза

слѣдующее обстоятельство: всѣ эти романы усердно читаются, но ни одинъ изъ нихъ никогда не возбуждаетъ толковъ, не вызываетъ никакихъ споровъ и сужденій. Романъ прочитывается, не оставляя послѣ себя никакого слѣда,—и читатели принимаются за новый. Произведенія самыхъ первыхъ знаменитостей — Диккенса, Теккерея испытываютъ туже самую судьбу. Какъ ни пространны и плодовиты критическіе отдѣлы иныхъ изъ нашихъ журналовъ, никогда они не останавливаютъ своего вниманія на вновь появляющихся произведеніяхъ англійской музы; и даже фельетонистъ, перечисляющій содержаніе послѣднихъ журнальныхъ книжекъ, забываетъ упомянуть о томъ, что кончился такой-то романъ, и начался новый.

Отчего же такъ выходитъ? Какая причина этого невниманія? Вотъ случай, въ которомъ намъ живо представляется возможность нѣкоторой филиппики противъ русской критики. Любители англійской литературы повидимому имѣли бы полное право вознегодовать на эту критику. Почему она, въ самомъ дѣлѣ, не занимается разборомъ такихъ прекрасныхъ произведеній? Почему она предпочитаетъ безъ конца толковать и препираться о какихъ нибудь весьма посредственныхъ доморощенныхъ повѣстяхъ, а о самыхъ лучшихъ изъ англійскихъ романовъ не хочетъ сказать ни единаго слова? Не потому ли, что она мало уважаетъ изящное, не умѣетъ цѣнить художественныхъ красотъ?

Едва ли, однако же, такіе упреки были бы справедливы. Какъ ни мало мы довольны состояніемъ русской критики, ея молчаніе объ англійской словесности пред-

ставляетъ фактъ такой явный, обширный и давнишній, что мы должны признать въ немъ какой-нибудь законный смыслъ. Если не говорили, значитъ не было живой и ясной потребности говорить; напрасно было бы навязывать людямъ интересы, которыхъ они не имѣютъ.

Современная англійская изящная словесность, точно также какъ и англійская философія, представляютъ сочетаніе слѣдующихъ свойствъ: онѣ отличаются чрезвычайной *доброкачественностію* и постояннымъ недостаткомъ *глубины*. Этотъ умный народъ какъ будто чувствуетъ всѣ темныя и грозныя опасности, сопряженныя съ плаваніемъ въ высшихъ областяхъ мысли и поэзіи, и потому находитъ болѣе практическимъ и благоразумнымъ не отваживаться на такое плаваніе, а оставаться въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ все ясно и спокойно. Собирать факты, держаться крѣпко руководства опыта и не ступать ни шагу туда, гдѣ онъ насъ оставляетъ, рисовать картины быта, нѣчто въ родѣ комедіи нравовъ, изображать семейныя сцены и событія вседневной жизни, и давать себѣ волю и отдыхъ только въ порывахъ юмора, лишь изрѣдка переходящаго въ глубокую грусть, въ то, чтó Гоголь назвалъ *незримыми слезами*,—вотъ твердая почва, на которой держатся англичане. Она тверда, но едва ли заставитъ насъ забыть о другихъ, болѣе тревожныхъ сферахъ, о другихъ вопросахъ, неумолкающихъ въ человѣческомъ сердцѣ.

Въ художественномъ отношеніи англичане представляютъ давно извѣстную и весьма характеристическую особенность: у нихъ нѣтъ живописи, то есть не процвѣтаютъ высшіе роды этого искусства, и нѣтъ музыки,

то есть нѣтъ того всеобъемлющаго искусства, которое въ чистѣйшихъ формахъ объемлетъ все существенное содержаніе другихъ искусствъ.

Умеръ Диккенсъ—лучшій и любимѣйшій изъ англійскихъ современныхъ романистовъ. Поминая его, вспомните похвалу Хомякова, сказанную двадцать пять лѣтъ тому назадъ. Указывая на высокія достоинства внутренняго духа Англіи, которыми эта страна превосходитъ остальную Европу, Хомяковъ между прочимъ говоритъ: „у *внутренней* Англіи есть еще преданіе, поэзія, святость домашняго быта, теплота сердца, и Диккенсъ, меньшой братъ нашего Гоголя". (Соч. Хомякова, Т. I, стр. 10).

14 іюля 1870.

XI.

ЗАМѢТКИ О БѢЛИНСКОМЪ.

1869.

Споры и прерѣканія изъ-за Бѣлинскаго. «Воспоминанія» г. Тургенева. Вопросъ о невѣжествѣ Бѣлинскаго и о недоучкахъ въ нашей литературѣ. О вліяніи нѣмецкой философіи на Бѣлинскаго. Сужденія объ этомъ предметѣ Ап. Григорьева. Разговоръ г. Тургенева съ Писаревымъ. Нѣчто о прогрессѣ.

Самый знаменитый изъ нашихъ западниковъ, наиболѣе сдѣлавшій, наиболѣе имѣвшій вліянія и всего яснѣе отразившій на себѣ свойства и судьбу этого направленія, есть Бѣлинскій.

Объ немъ много говорилось у насъ въ послѣднее время, но, къ сожалѣнію, говорилось не по интересу къ самому Бѣлинскому, а по другимъ, болѣе современнымъ побужденіямъ. Подобно тому, какъ недавно памятью Грановскаго воспользовались отчасти и для того, чтобы бросить нѣсколько упрековъ славянофиламъ и другимъ современнымъ дѣятелямъ, такъ и память Бѣлинскаго была употребляема, какъ полемическое орудіе, которымъ враждующія стороны старались уязвить

другъ друга. Орудіе было направлено противъ двухъ редакторовъ, у которыхъ работалъ Бѣлинскій, противъ г. Краевскаго и г. Некрасова. Одни повторили уже давно извѣстные упреки г. Краевскому за усиленную работу, которую онъ возлагалъ на Бѣлинскаго, и за малую плату, которую онъ ему давалъ; другіе, на основаніи новыхъ опубликованныхъ писемъ Бѣлинскаго, доказывали, что г. Некрасовъ поступилъ съ нимъ, въ извѣстномъ отношеніи, еще хуже и несправедливѣе, чѣмъ г. Краевскій.

Обвиненія противъ г. Некрасова составляютъ совершенную новость, такъ какъ раздались только въ нынѣшнемъ году,—и ранѣе объ нихъ никто и не подозрѣвалъ. Обвиненія эти раздались съ двухъ сторонъ, со стороны г. Тургенева, бывшаго нѣкогда усерднымъ вкладчикомъ журнала г. Некрасова, и со стороны одного журнала, называемаго „Космосъ" и основаннаго нѣкоторыми изъ бывшихъ присяжныхъ сотрудниковъ г. Некрасова въ „Современникѣ". Вражда оставныхъ сотрудниковъ со своимъ бывшимъ редакторомъ обнаруживается не въ первый разъ; со стороны г. Тургенева мы помнимъ весьма язвительную замѣтку, напечатанную имъ по поводу заявленія „Современника", будто-бы этотъ журналъ *самъ отказался* отъ сотрудничества г. Тургенева. Со стороны гг. Антоновича и Жуковскаго еще недавно была написана цѣлая книжка противъ г. Некрасова—тѣ „Матеріалы для характеристики современной русской литературы", съ которыми отчасти знакомы читатели „Зари". Нынѣ та же вражда къ г. Некрасову и съ тѣхъ-же самыхъ сторонъ — избрала Бѣлинскаго

орудіемъ для новыхъ ударовъ бывшему редактору „Современника".

Да не подумаетъ читатель, что мы, указывая на прежнія отношенія къ г. Некрасову нынѣшнихъ его противниковъ, желаемъ заподозрить ихъ искренность и добросовѣстность; вообще говоря, нѣтъ никакой причины полагать, что вражда, возникшая послѣ долгихъ и близкихъ сношеній съ извѣстными лицами, непремѣнно несправедлива. Скорѣе можно думать противное. Мы хотѣли только замѣтить, что все это дѣло имѣетъ отчасти личный характеръ, что каковы-бы ни были чисто-литературныя побужденія противниковъ, какъ-бы сильно ни участвовало здѣсь различіе мнѣній, обнаружившееся несогласіе въ убѣжденіяхъ,—личная сторона дѣла все-таки входитъ въ него существеннымъ образомъ. Эта личная сторона, конечно, есть предметъ очень важный, очень любопытный. Но, признаемся, мы не чувствуемъ въ себѣ большой охоты заниматься личностями и желали-бы предоставить это занятіе, какъ говорится, безпристрастному потомству. Быть судьею своихъ ближнихъ, произносить приговоры надъ ихъ нравственными качествами,—по нашему мнѣнію, дѣло трудное и отвѣтственное. Гораздо легче, проще, яснѣе—оставаться въ чисто-литературной сферѣ, гдѣ на-лицо всѣ документы дѣла, подлежащаго обсужденію,—гдѣ каждый можетъ провѣрить справедливость вашихъ сужденій. Между тѣмъ, въ сущности, вѣдь это приводитъ къ той-же цѣли; въ сущности, нравственный судъ невозможно отдѣлить отъ суда литературнаго, такъ какъ нравственный элементъ есть одна изъ неотъемлемыхъ и существенныхъ сторонъ литературныхъ явле-

ній. Зачѣмъ вы хотите доказывать какими-нибудь частными фактами, что такой-то стихотворецъ—плутъ и мошенникъ? Разберите лучше то, что составляетъ его силу, въ чемъ заключаются его права на вниманіе общества, т. е. его стихотворенія. Если это человѣкъ мелкой и дурной души, то въ его стихахъ неизбѣжно обнаружится фальшь, неизбѣжно проявится недостатокъ истинной чистоты чувства и мыслей. Такой разборъ будетъ несравненно болѣе полезнымъ и плодотворнымъ дѣломъ, чѣмъ если вы станете доказывать, что этотъ стихотворецъ у такого-то, въ такомъ-то году, укралъ извѣстную сумму денегъ.

Точно такъ-же, напримѣръ, не настоитъ собственно никакой надобности доказывать, что Пушкинъ былъ человѣкъ честный и благородный. Его лирическія стихотворенія до такой степени ясно выражаютъ душу исполненную чувствъ чистыхъ и высокихъ, отличавшуюся необыкновенной теплотою и красотою во всѣхъ своихъ движеніяхъ, что съ этимъ невозможно соединить представленіе какого - нибудь низкаго или злаго поступка.

Но обратимся къ Бѣлинскому. Изъ-за споровъ и препираній, касавшихся современныхъ лицъ, былъ вовсе упущенъ изъ виду вопросъ о его значеніи какъ писателя; говорилось о его личныхъ свойствахъ, но говорилось не ради того, чтобы показать ихъ обнаруженіе въ его литературной дѣятельности, а только чтобы уколоть того или другаго изъ его бывшихъ редакторовъ. Между тѣмъ, былъ поводъ поговорить и о литературномъ значеніи Бѣлинскаго. Толки поднялись по поводу новыхъ свѣдѣній о Бѣлинскомъ, появившихся въ двухъ мѣстахъ:

въ апрѣльской книжкѣ „Вѣстника Европы“ (1869) явились „Воспоминанія о Бѣлинскомъ“ И. С. Тургенева, и въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ (№№ 187 и 188) было напечатано „Письмо Бѣлинскаго къ его московскимъ друзьямъ, отъ 4, 5 и 8 Ноября 1847 года“. Въ „Воспоминаніяхъ“ сообщены нѣкоторыя указанія, неблагопріятныя для г. Некрасова, съ чего и началось все дѣло; но вообще г. Тургеневъ не ограничился одними разсказами о личныхъ свойствахъ и отношеніяхъ Бѣлинскаго, а постарался также опредѣлить его значеніе въ нашей литературѣ, изложить существенныя черты его дѣятельности. Вотъ на этихъ-то вопросахъ и сужденіяхъ мы и остановимся въ нашихъ замѣткахъ.

Насъ поразило—скажемъ прямо—нѣкоторое высокомѣріе, съ которымъ г. Тургеневъ трактуетъ Бѣлинскаго и его дѣятельность,—высокомѣріе, конечно, совершенно невольное и безсознательное (такъ какъ оно противорѣчитъ прямому желанію автора—выставить въ яркомъ свѣтѣ лучшія стороны Бѣлинскаго), но тѣмъ не менѣе сказавшееся довольно ясно.

Укажемъ на то мѣсто, гдѣ г. Тургеневъ говоритъ о малой образованности Бѣлинскаго.

Всѣмъ извѣстно, что Бѣлинскій былъ человѣкъ малосвѣдующій, не зналъ языковъ, и т. п. Обыкновенно объ этомъ говорятъ съ сожалѣніемъ, какъ о явномъ недостаткѣ, и стараются показать, что нашъ критикъ *возмѣщалъ* этотъ недостатокъ необыкновеннымъ критическимъ чутьемъ, необыкновенною способностью изъ вторыхъ рукъ и съ чужихъ словъ получать болѣе ясное понятіе о предметахъ, чѣмъ люди изучавшіе ихъ непо-

средственно. Еще недавно мы читали въ одномъ ученомъ журналѣ замѣчаніе, что Бѣлинскій будто-бы не могъ быть знакомъ съ нѣмецкой философіей, потому что не зналъ-де по-нѣмецки. Подобныя разсужденія совершенно несправедливы. Не зная по-нѣмецки, Бѣлинскій все-таки могъ имѣть гораздо живѣйшее и яснѣйшее представленіе о нѣмецкой философіи, чѣмъ множество людей, въ совершенствѣ знающихъ по-нѣмецки, но лишенныхъ отъ природы философскихъ способностей. Совершенно другой вопросъ,—дѣйствительно-ли онъ имѣлъ такое представленіе. Какъ бы то ни было, невѣжество Бѣлинскаго все-таки было препятствіемъ къ развитію его дѣятельности,—препятствіемъ, которое могло быть побѣждаемо его дарованіемъ, но которое неизбѣжно было вредно для этой дѣятельности.

Нѣсколько иначе разсуждаетъ г. Тургеневъ:

„Свѣдѣнія Бѣлинскаго", говоритъ онъ: „были не обширны; онъ зналъ мало, и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго".

„Но скажу болѣе: именно это недостаточное знаніе является въ этомъ случаѣ характеристическимъ признакомъ, почти необходимостью. Бѣлинскій былъ тѣмъ, чтó я позволю себѣ назвать *центральной натурой*; онъ всѣмъ существомъ своимъ *стоялъ близко къ сердцевинѣ своего народа, воплощалъ его вполнѣ, и съ хорошихъ и съ дурныхъ его сторонъ.* Ученый человѣкъ, не говорю „образованный"— это другой вопросъ,—но ученый человѣкъ, именно въ силу своей учености, не могъ бы быть въ сороковыхъ годахъ такой русской центральной натурой; онъ *не вполнѣ соотвѣтствовалъ бы той средѣ, на которую ему пришлось*

бы дѣйствовать; у него и у ней были бы различные интересы; гармоніи бы не было, и, вѣроятно, не было бы обоюднаго пониманія. Вожди своихъ современниковъ въ дѣлѣ критики общественной, эстетической, въ дѣлѣ критическаго самосознанія (мнѣ кажется, что мое замѣчаніе имѣетъ примѣненіе общее, но на этотъ разъ я ограничусь одной этой стороной), вожди современниковъ, говорю я, должны, конечно, стоять выше ихъ, обладать болѣе нормально - устроенною головою, болѣе яснымъ взглядомъ, большею твердостью характера; но между этими вождями и ихъ послѣдователями не должно быть бездны".

„Смѣю надѣяться, что мнѣ не станутъ приписывать желанія защищать и какъ бы рекомендовать невѣжество: я указываю только на физіологическій фактъ въ развитіи нашего сознанія. Понятно, что какой-нибудь Лессингъ, для того, чтобы стать вождемъ *своего* поколѣнія, *полнымъ представителемъ своей народности*, долженъ былъ быть человѣкомъ почти всеобъемляющей учености; въ немъ отражалась, въ немъ находила свой голосъ, свою мысль Германія: онъ былъ *германской центральной натурой*. Но Бѣлинскій, который до нѣкоторой степени заслуживаетъ названіе русскаго Лессинга, Бѣлинскій, *значеніе котораго, по смыслу и вліянію своему, дѣйствительно напоминаетъ значеніе великаго германскаго критика*, могъ сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ онъ былъ, и безъ большаго запаса научныхъ понятій". (Стр. 701 и 702).

Вопросъ очень любопытный и относится къ факту, который давно былъ замѣченъ и не разъ подвергался обсужденію. Русскимъ Лессингомъ, по мнѣнію г. Тургенева, быть гораздо легче, чѣмъ быть Лессингомъ

нѣмецкимъ. Россія — страна необразованная, и потому для плодотворной дѣятельности въ ней высокое образованіе не только не нужно, но можетъ быть даже помѣхою. И такимъ образомъ, для Россіи люди съ малыми свѣдѣніями будто-бы могутъ сдѣлать то-же самое, для чего въ другихъ странахъ требуется *почти* всеобъемлющая ученость.

Такъ весело разрѣшается тотъ грустный вопросъ, который нерѣдко задаютъ себѣ русскіе люди, а именно: отчего у насъ въ литературѣ играютъ такую огромную роль недоучки? Отчего писатели, подобные Бѣлинскому, Добролюбову, Писареву, имѣютъ у насъ величайшій успѣхъ, почти господствуютъ въ литературѣ, тогда какъ люди, несравненно болѣе образованные, несравненно болѣе глубокіе и проницательные, проходятъ почти безъ всякого вліянія на главную массу читателей, на большинство? Отчего не имѣли успѣха славянофилы: Хомяковъ, Кирѣевскій, К. Аксаковъ, мнѣнія и сочиненія которыхъ лишь постепенно и медленно набираютъ себѣ поклонниковъ? Отчего не увлекъ читателей Ап. Григорьевъ, человѣкъ съ огромнымъ образованіемъ?

Мы совершенно признаемъ рѣшеніе, предложенное г. Тургеневымъ, именно то, что эти люди не *соотвѣтствовали той средѣ, на которую имъ пришлось дѣйствовать, что у нихъ не было гармоніи и общихъ интересовъ съ этою средою, а потому не было и обоюднаго пониманія.* Но, признавая это, мы признаемъ виноватыми не нашихъ образованныхъ дѣятелей, а ту среду, среди которой они дѣйствовали; мы думаемъ, что это была среда никуда негодная, неспособная понять иоцѣ-

нить истинно-глубокія и важныя явленія нашей умственной жизни. Такъ слѣдуетъ судить, если мы станемъ цѣнить писателей не по одному успѣху, а читателей не по одной ихъ многочисленности,—если къ тѣмъ и другимъ приложимъ мѣрку внутренняго достоинства.

Г. Тургеневъ жестоко ошибся, принимая *среду*, въ которой имѣлъ успѣхъ Бѣлинскій, за цѣлый русскій народъ; онъ упустилъ изъ виду давно уже сдѣланное и многократно-поясненное различіе между главной массой русскаго народа, живущаго крѣпкою своеобразною жизнью, и тѣмъ наружнымъ и незначительнымъ слоемъ нашего общества, который, по выраженію Н. Я. Данилевскаго, вывѣтрился и оторвался отъ своего внутренняго ядра, отъ родной почвы. Въ этомъ-то слоѣ, имѣющемъ притязаніе на образованность, но въ сущности ложнообразованномъ, такъ какъ этому образованію недостаетъ дѣйствительныхъ корней,—въ этомъ-то слоѣ и имѣлъ успѣхъ Бѣлинскій. Объ этомъ слоѣ можно сказать, что Бѣлинскій *всѣмъ существомъ стоялъ близко къ его сердцевинѣ, воплощалъ его вполнѣ и съ хорошихъ и съ дурныхъ его сторонъ*; но никакъ нельзя сказать, что Бѣлинскій стоялъ въ такомъ отношеніи къ цѣлому русскому народу, какъ это утверждаетъ г. Тургеневъ. Отсюда объясняется его успѣхъ, и въ этомъ-же причина, почему его дѣятельность не могла имѣть болѣе глубокаго и долговѣчнаго значенія, для котораго потребовались-бы силы гораздо большихъ размѣровъ.

Странная мысль! Въ воображеніи г. Тургенева русскій народъ какъ будто является столь малымъ, что для него нужны и дѣятели несравненно меньшаго размѣра,

чѣмъ для другихъ народовъ. Какъ будто можно измѣрить и взвѣсить силы и способности народа! Для нашихъ западниковъ конечно можетъ казаться, что духовныя силы русскаго народа пропорціональны тому количеству европейской образованности, которое онъ успѣлъ въ себя принять. Но мы позволяемъ себѣ питать болѣе высокое мнѣніе о своемъ народѣ. Намъ кажется, что какъ бы глубоко ни былъ развитъ отдѣльный человѣкъ, какъ бы ни велика была его ученость, какого бы роста ни достигли его умственныя силы,—онъ все-таки никогда не переростетъ своего народа, а проявитъ только часть тѣхъ задатковъ, которые лежатъ въ народномъ духѣ. Это справедливо въ отношеніи къ Нѣмцамъ или Французамъ, это справедливо и въ отношеніи къ намъ, Русскимъ.

Многое можно было бы сказать по этому поводу, Имѣть успѣхъ иногда бываетъ хуже, чѣмъ не имѣть никакого успѣха, точно такъ, какъ иная похвала бываетъ хуже брани. Вопросъ о Бѣлинскомъ — дѣло сложное, такъ какъ за нимъ числятся несомнѣнныя и *положительныя* заслуги русской литературѣ. Но во многихъ отношеніяхъ онъ такой-же вождь *русскаго народа*, какъ слѣдовавшіе за нимъ Добролюбовъ и Писаревъ, точно также имѣвшіе успѣхъ, но оказавшіе намъ одни *отрицательныя* услуги, т. е. представившіе примѣръ того до чего у насъ могутъ заблуждаться люди искренніе и даже талантливые, но неимѣющіе настоящаго образованія и правильныхъ основъ для своей мысли.

И такъ, намъ кажется, что г. Тургеневъ объяснилъ успѣхъ и значеніе Бѣлинскаго вовсе нелестнымъ образомъ ни для Россіи, ни для самого Бѣлинскаго. То-же

невольное высокомѣріе мы находимъ въ вопросѣ первостепенной важности, именно о томъ, какое вліяніе имѣла на дѣятельность Бѣлинскаго философія Гегеля. Извѣстно, что именно это вліяніе было сильнѣйшее изъ тогдашнихъ вліяній на насъ Запада, и что Бѣлинскій есть одинъ изъ главныхъ представителей людей, умственная жизнь которыхъ сложилась подъ этимъ вліяніемъ.

По этому предмету мы вотъ что находимъ въ „Воспоминаніяхъ" Тургенева:

Въ 1859 году г. Тургеневъ читалъ гдѣ-то лекцію о Пушкинѣ. Въ этой лекціи, часть которой приведена въ „Воспоминаніяхъ", онъ говорилъ:

„Бѣлинскій былъ идеалистъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Въ немъ жили преданія того московскаго кружка, который существовалъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, и слѣды котораго такъ замѣтны еще донынѣ. Этотъ кружокъ, находившійся подъ сильнымъ вліяніемъ германской философской мысли (замѣчательна постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслуживаетъ особаго историка. Вотъ откуда Бѣлинскій вынесъ тѣ убѣжденія, которыя не покидали его до самой смерти *) — тотъ идеалъ, которому онъ служилъ. Во имя этого идеала провозглашалъ Бѣлинскій художественное значеніе Пушкина и указывалъ на недостатокъ въ немъ гражданскихъ началъ; во имя этого идеала привѣтствовалъ онъ и лермонтовскій протестъ и гоголевскую сатиру; во

*) Это не вѣрно. Многія изъ этихъ убѣжденій были покинуты Бѣлинскимъ раньше смерти. Вообще г. Тургеневъ почти не различаетъ разныхъ эпохъ въ дѣятельности Бѣлинскаго, тогда какъ это различіе есть предметъ очень важный и поучительный.

имя этого же идеала сокрушалъ онъ старые авторитеты, наши такъ-называемые славы, на которыя онъ нигдѣ не имѣлъ ни возможности, ни охоты взглянуть съ исторической точки зрѣнія....“

И такъ, вся дѣятельность Бѣлинскаго какъ будто имѣла своимъ источникомъ германскую, и именно гегелевскую философію. Такъ говорилъ г. Тургеневъ въ 1859 году; но въ „Воспоминаніяхъ“, писанныхъ въ 1869 году, мы вовсе не находимъ развитія этой мысли. Разсказъ о вліяніи философіи на Бѣлинскаго ограничивается двумя-тремя замѣтками, представляющими это вліяніе скорѣе въ комическомъ, чѣмъ въ серіозномъ свѣтѣ. О началѣ этого вліянія г. Тургеневъ разсказываетъ такъ:

„Вскорѣ послѣ моего знакомства съ Бѣлинскимъ, его снова стали тревожить тѣ вопросы, которые, не получивъ разрѣшенія или получивъ разрѣшеніе одностороннее, не даютъ покоя человѣку, *особенно въ молодости*: философическіе вопросы о значеніи жизни, объ отношеніяхъ людей другъ къ другу и къ божеству, о происхожденіи міра, о безсмертіи души и т. п. Не будучи знакомъ ни съ однимъ изъ иностранныхъ языковъ (онъ даже по-французски читалъ съ великимъ трудомъ) и не находя въ русскихъ книгахъ ничего, что̀ могло-бы удовлетворить его пытливость, Бѣлинскій по неволѣ долженъ былъ прибѣгать къ разговорамъ съ друзьями, къ продолжительнымъ толкамъ, сужденіямъ и распросамъ. Такимъ именно путемъ, онъ, еще въ Москвѣ, усвоилъ себѣ между прочимъ главные выводы и даже терминологію гегелевской философіи, безпрекословно царившей

тогда въ умахъ молодежи. Дѣло не обходилось, конечно, безъ недоразумѣній, иногда комическихъ; друзья-наставники Бѣлинскаго, передававшіе ему всю суть и весь сокъ западной науки, часто сами плохо и поверхностно ее понимали; но уже Гёте сказалъ, что

Ein guter Mann in seinem dunklen Drange,
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst.... *)

а Бѣлинскій былъ именно ein guter Mann—былъ правдивый и честный человѣкъ" (стр. 699).

Затѣмъ г. Тургеневъ разсказываетъ два анекдота, одинъ о комическомъ недоразумѣніи нашихъ поклонниковъ Гегеля, а другой о томъ, съ какою силою занимали Бѣлинскаго философскіе вопросы.

Первый анекдотъ:

„Много хлопотъ тогда надѣлало въ Москвѣ извѣстное изрѣченіе Гегеля: „что̀ разумно, то дѣйствительно, что̀ дѣйствительно, то разумно". Съ первой половиной изрѣченія всѣ соглашались, но какъ было понять вторую? Неужели же нужно было признать все, что̀ тогда существовало въ Россіи, за разумное? Толковали, толковали и порѣшили вторую половину изрѣченія *не допустить*. Если-бы кто-нибудь шепнулъ тогда молодымъ философамъ, что Гегель *не все существующее признаетъ за дѣйствительное*—много бы умственной работы и томительныхъ преній было сбережено; они увидали-бы, что эта знаменитая формула, какъ и многія другія, есть простая тавтологія и въ сущности значитъ только

*) «Доблестный человѣкъ и въ неясномъ своемъ стремленіи всегда имѣетъ чутье вѣрнаго пути».

то, что opium facit dormire, quare est in eo virtus dormitiva, т. е. опіумъ заставляетъ спать по той причинѣ, что въ немъ есть снотворная сила (Мольеръ).“

Вотъ образчикъ вліянія философіи, приводимый г. Тургеневымъ, и конечно едва-ли могущій дать высокое понятіе объ этомъ вліяніи. Другой анекдотъ состоитъ въ томъ, что однажды Бѣлинскій ни за что не хотѣлъ прервать философскаго разговора съ г. Тургеневымъ, и когда тотъ напомнилъ, что пора обѣдать, сказалъ ему съ горькимъ упрекомъ: „мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Божіемъ, а вы хотите ѣсть!....“

Этотъ анекдотъ показался г. Тургеневу до того способнымъ возбудить насмѣшку надъ Бѣлинскимъ, что онъ чуть его не вычеркнулъ. Затѣмъ г. Тургеневъ заключаетъ такъ:

„Со мной Бѣлинскій говорилъ особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ въ теченіи двухъ семестровъ занимался гегелевской философіей и былъ въ состояніи передать ему самые свѣжіе, послѣдніе выводы. *Мы еще вѣрили тогда въ дѣйствительность и важность философическихъ и метафизическихъ выводовъ*, хотя ни онъ, ни я — мы *нисколько* не были философами, *не обладали способностію мыслить отвлеченно*, чисто на нѣмецкій манеръ.... Впрочемъ, мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія“ (стр. 701).

Очевидно, г. Тургеневъ не только даетъ понять, что знакомство Бѣлинскаго съ гегелевской философіей было слабое и неправильное, но, сверхъ того, прямо утверждаетъ, что самая вѣра въ „важность философскихъ выводовъ“ была заблужденіемъ, увлеченіемъ молодости.

Какой же былъ результатъ этихъ убѣжденій? Какъ отразилась гегелевская философія въ критической дѣятельности Бѣлинскаго? Объ этомъ г. Тургеневъ говоритъ только въ одномъ мѣстѣ, слѣдующимъ образомъ:

„Лучшія статьи Бѣлинскаго были написаны имъ въ началѣ и передъ концомъ его карьеры; въ серединѣ проскочила полоса, продолжавшаяся года два, въ теченіе которой онъ, *начинившись гегелевской философіей и не переваривъ ея*, всюду съ лихорадочнымъ рвеніемъ пичкалъ ея аксіомы, ея извѣстные тэзисы и термины, ея такъ называемые Schlagwörter. Въ глазахъ рябило отъ множества любимыхъ тогдашнихъ оборотовъ и выраженій! Надо же было и Бѣлинскому заплатить дань своему времени! Но эта волна скоро сбѣжала, *оставивъ за собою хорошія сѣмена*, и снова явился во всей своей мужественной и безхитростной простотѣ русскій языкъ Бѣлинскаго, славный языкъ, ясный и здравый.“

Вотъ какъ пренебрежительно, небрежно и темно разсказываетъ о вліяніи гегелевской философіи тотъ, кто самъ пережилъ его вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, самъ былъ проводникомъ, черезъ который проходило это вліяніе на Бѣлинскаго. Кромѣ еще одного анекдота, который мы опускаемъ, ничего болѣе не говоритъ объ этомъ предметѣ г. Тургеневъ. Ни единымъ добрымъ словомъ не поминаетъ онъ своихъ занятій философіею, какъ будто они не оставили въ немъ никакого слѣда, какъ будто онъ можетъ только подсмѣиваться надъ ними, какъ надъ грѣхомъ своей юности.

Странная судьба нашихъ западниковъ! Они такъ крѣпко вѣруютъ въ прогрессъ, такъ любовно ему под-

чиняются, что постоянно вынуждены осмѣивать и презирать тотъ путь, по которому только-что сами прошли. Даже ругая Гегеля и всячески отрицаясь отъ него, они, сами того не сознавая, крѣпко держатся той теоріи гегельянцевъ, по которой все прошедшее есть только подмостки для настоящаго, не имѣющіе никакой другой цѣны и потому откидываемые прочь безъ всякаго сожалѣнія.

Вотъ почему не слѣдуетъ вѣрить словамъ западниковъ, когда они намъ разсказываетъ свою собственную исторію; есть основанія думать, что эта исторія несравненно поучительнѣе, несравненно больше содержитъ смысла, чѣмъ сколько они сами видятъ въ ней. Если повѣрить, напримѣръ, Добролюбову и Писареву, то можно подумать, что вся русская литература была только приготовленіемъ къ появленію ихъ статей,—что нѣтъ въ ней ничего пригоднаго, кромѣ того, что, такъ или иначе, согласно съ ихъ мнѣніями и было нѣкотораго рода ихъ предвозвѣщеніемъ. Отсюда—неминуемая вражда къ русской литературѣ, постоянное обличеніе всѣхъ ея писателей въ отсталости и обскурантизмѣ.

Мы имѣемъ болѣе высокое понятіе о нашей литературѣ и считаемъ дѣломъ легкомысленнымъ неуважительное отношеніе къ ней, при которомъ она подводится подъ узкія мѣрки, или разсматривается съ точки зрѣнія потребностей минуты. Точно такъ и на Бѣлинскаго и на вліяніе на него гегелевской философіи мы смотримъ отнюдь не такъ высокомѣрно, какъ г. Тургеневъ. По случаю его „Воспоминаній“ мы желаемъ напомнить читателямъ, что есть у насъ писатель, кото-

рый лучше всѣхъ другихъ говорилъ о Бѣлинскомъ. Этотъ писатель — Аполлонъ Григорьевъ. Кто желаетъ найти правильную и точную оцѣнку Бѣлинскаго, тотъ долженъ обратиться къ статьямъ Ап. Григорьева. Никто лучше Григорьева не былъ знакомъ съ внутреннимъ духомъ и смысломъ дѣятельности Бѣлинскаго; никто такъ ясно не различалъ ступеней развитія, черезъ которыя проходилъ Бѣлинскій; никто такъ не восхищался свѣтлой стороной этой дѣятельности, и такъ глубокомысленно и мѣтко не указывалъ на ея больныя мѣста. Оцѣнить Бѣлинскаго — дѣло не легкое; но эта оцѣнка уже сдѣлана со всею проницательностью, какой требовалъ предметъ. Вся бѣда только въ томъ, что этой оцѣнки приходится искать во множествѣ статей Григорьева, гдѣ разсѣяны его замѣчанія о Бѣлинскомъ, часто отрывочныя и лишь взаимно дополняющія другъ друга.

Для примѣра приведемъ нѣсколько мѣстъ изъ статьи, которая не подписана именемъ Григорьева, и потому можетъ быть пропущена читателями. Эта статья называется: „Знаменитые европейскіе писатели передъ судомъ нашей критики“ („Время“, 1861 г., № 3).

„Было время“, начинаетъ Ап. Григорьевъ, „что критика наша стояла во главѣ всего нашего развитія; мы разумѣемъ, конечно, критику литературную“.

„Эта роль принадлежала критикѣ въ то время, когда въ литературѣ, — и притомъ исключительно въ литературѣ,—совмѣщались для насъ всѣ серіозные духовные интересы,—когда критикъ, не переставая ни на минуту быть литературнымъ критикомъ, въ то-же самое время

былъ и публицистомъ,—когда его художественные идеалы не разрознивались съ идеалами общественными. Этимъ — кромѣ своего огромнаго таланта — былъ такъ силенъ Бѣлинскій; въ его эпоху всѣ другія убѣжденія, кромѣ его убѣжденій, и всѣ другіе взгляды, кромѣ его взгляда, не считались и не могли считаться благородными и современными убѣжденіями и взглядами. Кто не видѣлъ въ Пушкинѣ, Гоголѣ, Лермонтовѣ того, что̀ видѣлъ въ нихъ Бѣлинскій,—попадалъ неминуемо въ число ограниченныхъ, отсталыхъ людей и мраколюбцевъ."

„*И тогда это было совершенно нормально, потому что литература была тогда все для насъ, и двухъ убѣжденій въ отношеніи къ высшимъ литературнымъ явленіямъ быть не могло.* Уровень единства литературнаго взгляда проводимъ былъ съ безпощадною послѣдовательностью, но, вѣроятно, ни у кого языкъ не повернется, даже и теперь, назвать эту безпощадную послѣдовательность, этотъ деспотизмъ мысли—несправедливымъ".

„Идея изящнаго тѣсно сливалась тогда съ идеями добра и правды, или, лучше сказать, идея правды и идея добра не имѣли возможности проявляться иначе, какъ черезъ идею изящнаго".

„Бѣлинскій былъ поставленъ въ такія же условія борьбы, какъ Лессингъ. Пламенно толкуя Пушкина, пламенно выдвигая Лермонтова, пламенно ратоборствуя за Гоголя и т. д., онъ былъ въ то-же самое время главнымъ общественнымъ двигателемъ нашимъ и великимъ глашатаемъ истины. *Весь умственно и нравственно пропитанный философскою системою*, до нашихъ вре-

менъ еще не смѣненною никакою другою, *онъ проводилъ ее въ жизнь черезъ органъ литературной критики.* Его противорѣчія и измѣненія мнѣній могли казаться противорѣчіями и измѣненіями мнѣній только людямъ дѣйствительно ограниченнымъ, въ его эпоху. Для него самого, для его учениковъ,—т. е. для всѣхъ насъ болѣе или менѣе,—это были моменты развитія, моменты стремленія къ истинѣ".

„Бѣлинскій стоялъ впереди умственнаго прогресса и смѣло велъ впередъ поколѣніе".

„*Въ высочайшей степени одаренный художественнымъ пониманіемъ, способный трепетать, какъ пиѳія, отъ всего прекраснаго, переживавшій съ каждымъ великимъ явленіемъ нравственнаго міра всю жизнь этого явленія:* чистую-ли поэзію Пушкина, злую-ли скорбь и иронію Лермонтова, карающій-ли смѣхъ Гоголя, мучительную-ли игру Мочалова и т. д.,—отзывавшійся на все съ необыкновенной чуткостью, онъ, однако, какъ человѣкъ стремленія и прогресса, не задумывался замѣнять явленія явленіями, когда одни казались ему ближе къ истинѣ, т. е., по его вѣрованію, ближе къ послѣднему слову прогресса, чѣмъ другія. Своего рода террористъ литературный, онъ приносилъ жертвы за жертвами, хотя, конечно, едвали-бы принесъ въ жертву Пушкина и его значеніе въ нашей жизни".

„Дѣло нравственнаго возбужденія, совершенное въ лицѣ его нашею критикою, было велико и благотворно по своимъ послѣдствіямъ.." (стр. 35, 36 и 37).

Вотъ вѣрное указаніе на то, въ чемъ заключалась сила Бѣлинскаго, какъ она вытекала изъ тогдашняго

положенія нашей умственной и общественной жизни и изъ необыкновенныхъ дарованій самого Бѣлинскаго, и какую важную роль играла въ этомъ дѣлѣ философія Гегеля. Она была орудіемъ или формою, въ которую облекалось содержаніе этой дѣятельности. Но въ широкихъ формулахъ этой философіи было свое, особенное содержаніе, которое обнаружило наконецъ свое вліяніе, ко вреду дѣла. О гегелизмѣ Бѣлинскаго Григорьевъ далѣе говоритъ слѣдующее:

„Фазисъ развитія, въ который вступали тогда всѣ мы вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, былъ гегелизмъ *въ его первоначальной*, таинственно-туманной и тѣмъ болѣе влекущей, *формѣ*, въ формѣ признанія разума тождественнымъ съ жизнью, и жизни тождественной съ разумомъ. Этотъ таинственный гегелизмъ, на первый разъ мирившій со всѣмъ историческимъ, обѣщавшій всему существующему въ нашихъ вѣрованіяхъ, нравственныхъ убѣжденіяхъ и даже просто обычаяхъ, оправданіе и примиреніе, казался намъ всѣмъ, и всѣхъ болѣе Бѣлинскому,—совершеннѣйшимъ Idealen, Reich, въ которомъ“ по слову великаго поэта:

Wort gehalten wird in jenen Räumen
Jedem schönen gläubigen Gefühl.

„Этотъ гегелизмъ былъ уже не просто раздражающее вѣяніе, какъ шеллингизмъ Кирѣевскаго и Надеждина; онъ становился для всѣхъ адептовъ его—(а кто-же изъ мыслящихъ людей не вступилъ тогда въ рядъ его адептовъ? кто изъ впечатлительныхъ людей не шелъ *по слуху* за адептами?)—становился *вѣрою*“.

„Вѣра требовала жертвъ, какъ всякая вѣра. Принципъ тождественности разума и дѣйствительности—*на первый разъ* становился враждебно противъ всякой вражды и протеста, былъ самъ протестомъ противъ протеста. Да и какъ-же иначе? Міръ и жизнь—по крайней мѣрѣ на первый разъ — представлялись стремящемуся духу гармоническими, вполнѣ замиренными, и конечный стремящійся духъ (я употребляю религіозные термины эпохи), отрѣшаясь отъ своей конечности, плавалъ торжественно въ безграничности, сливался съ „Unendlicher Geist", переходилъ въ него и съ высоты смотрѣлъ на разумно-гармоническое мірозданіе".

„Вѣра,—ибо именно такого рода гегелизмъ, какъ нѣчто таинственное, былъ вѣрою, — требовала жертвъ отъ сознанія и чувства, и въ этомъ случаѣ жрецомъ и жертвоприносителемъ явился, конечно, прежде всѣхъ Бѣлинскій".

„Ясное дѣло, что принципу примиренія съ дѣйствительностію принесено было въ жертву все тревожное въ литературахъ запада, такъ недавно еще возбуждавшее восторгъ и поклоненіе. *Мѣркой всего стала одна художественность*: подъ художественностію-же разумѣлась только *объективность*" (стр. 45 и 46).

„*Зеленый Наблюдатель* былъ кратковременною ареною различныхъ жертвоприношеній *абсолютному духу*, художественной объективности, и проч."

„На моментѣ примиренія съ дѣйствительностію Бѣлинскій остановиться не могъ. Перейдя въ „Отечественныя Записки", онъ въ 1839 году, въ концѣ, дошелъ смѣло до крайнихъ *абсурдовъ* примиренія въ

статьяхъ, возбудившихъ даже негодованіе во многихъ изъ его друзей и почитателей, и затѣмъ поворотилъ круто не по страху передъ порицавшими, а по глубокому внутреннему убѣжденію, какъ всегда".

„Для него зажглись новыя свѣтила: Гоголь, Лермонтовъ, Зандъ. Гоголю сначала поклонялся онъ за объективность-же, но потомъ разъяснилъ все его великое отрицательное значеніе въ нашей жизни. Для Лермонтова и Занда нашлось новое слово объясненія: *паѳосъ*—и *паѳосъ* замѣнилъ *объективность*" (стр. 48).

Такимъ образомъ, дѣятельность Бѣлинскаго можно раздѣлить на четыре періода:

1) Первоначальный, когда онъ еще не былъ подъ вліяніемъ гегелизма. Остальные уже проходили подъ этимъ вліяніемъ.

2) Второй періодъ имѣлъ своимъ лозунгомъ *объективность.*

3) Третій—*паѳосъ.*

4) Четвертый, о которомъ Григорьевъ не говоритъ въ приводимой нами статьѣ, уже не давалъ искусству никакого самостоятельнаго мѣрила, а подчинялъ его требованіямъ минуты.

Общая характеристика Бѣлинскаго, какъ намъ кажется, всего яснѣе выражается въ слѣдующихъ словахъ Григорьева:

„Бѣлинскій былъ прежде всего доступенъ, — даже иногда *неумѣренно доступенъ всякому новому проявленію истины.* Можно безъ особенной смѣлости предположить, что *въ 1856 году онъ сталъ-бы славянофиломъ*"

„Во все истинное и прекрасное онъ влюблялся

страстно и глубоко. Именно—*влюблялся*,—это настоящее слово для правильнаго опредѣленія отношеній этой могущественной и вмѣстѣ женски-впечатлительной натуры къ истинѣ, добру и изящному... Увлеченный страстью, онъ готовъ былъ тотчасъ-же „сжигать корабли за собой", разрывать всѣ свои связи съ прошедшимъ, если прошедшее мѣшало настоящему. Вины его—не его вины, а вины самого гегелизма, котораго *одной стороны* былъ онъ самымъ сильнымъ у насъ толкователемъ,—*стороны исключительной вѣры въ прогрессъ, въ послѣднюю минуту, какъ въ самую истинную*, въ этого страшнаго, всепожирающаго Gott im Werden, свергающаго оболочку за оболочкою..." (Тамъ-же стр. 47).

Мы выписали изъ Григорьева лишь тѣ мѣста, гдѣ онъ самымъ сжатымъ образомъ указываетъ главныя черты дѣятельности Бѣлинскаго. Въ той-же статьѣ, и во многихъ другихъ, находятся болѣе подробныя указанія, тонкая и вѣрная характеристика тѣхъ отношеній, въ которыхъ критика Бѣлинскаго находилась въ разное время къ различнымъ писателямъ,—и русскимъ, и западнымъ. Нашими выписками мы хотѣли-бы хотя отчасти уравновѣсить то впечатлѣніе, которое оставляютъ послѣ себя „Воспоминанія" г. Тургенева. Мы хотѣли-бы раздразнить любопытство тѣхъ читателей, которые, прочитавъ эти „Воспоминанія", научатся изъ нихъ только подсмѣиваться надъ гегельянскими терминами, встрѣчающимися въ статьяхъ Бѣлинскаго...

Мы коснулись предмета слишкомъ важнаго и слишкомъ мало объ немъ сказали; но наша цѣль именно была только показать важность предмета, а не исчер-

пать его. Повторяемъ—мы получили-бы самую лучшую характеристику Бѣлинскаго, если-бы соединили въ одно цѣлое все то, что̀ сказано о немъ Аполлономъ Григорьевымъ.

Перейдемъ къ какимъ-нибудь темамъ не столь труднымъ.

Г. Тургеневъ принадлежитъ къ числу самыхъ ревностныхъ поклонниковъ прогресса. Требованія минуты у него всегда стоятъ на первомъ планѣ. Это онъ доказываетъ и всѣми своими художественными произведеніями, и тѣми взглядами, которые онъ изрѣдка высказываетъ помимо этихъ произведеній. Любопытный примѣръ этого поклоненія прогрессу мы находимъ въ „Воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ". Г. Тургеневъ разсказываетъ, что его *особенно возмутили* статьи о Пушкинѣ покойнаго Писарева, съ которымъ вообще онъ во многомъ не соглашался, хотя читалъ его съ *интересомъ*. Когда Писаревъ въ 1867 году посѣтилъ г. Тургенева, тотъ откровенно высказалъ ему свое мнѣніе. Это̀ мнѣніе весьма замѣчательно; г. Тургеневъ приводитъ свои слова, сказанныя имъ въ защиту Пушкина; эти слова были слѣдующія:

„Вы (началъ г. Тургеневъ) втоптали въ грязь, между прочимъ, одно изъ самыхъ трогательныхъ стихотвореній Пушкина (обращеніе его къ послѣднему лицейскому товарищу, долженствующему остаться въ живыхъ: „Несчастный другъ" и т. д.). Вы увѣряете, что поэтъ совѣтуетъ своему пріятелю просто взять да съ горя нализаться. Эстетическое чувство въ васъ слишкомъ живо: вы не могли сказать это серіозно—вы это ска-

зали *нарочно*, съ цѣлью. *Посмотримъ, оправдываетъ-ли васъ эта цѣль.* Я понимаю преувеличеніе, я допускаю каррикатуру,—но преувеличеніе истины, каррикатуру въ дѣльномъ смыслѣ, въ настоящемъ направленіи. Если-бы у насъ молодые люди теперь только и дѣлали, что стихи писали, какъ въ блаженную эпоху альманаховъ, я-бы понялъ, я-бы, пожалуй, даже оправдалъ вашъ злобный укоръ, вашу насмѣшку; я-бы подумалъ: *несправедливо, но полезно!* А то, помилуйте, въ кого вы стрѣляете? ужъ точно по воробьямъ изъ пушки! Всего-то у насъ осталось три-четыре человѣка, старички пятидесяти лѣтъ и свыше, которые еще упражняются въ сочиненіи стиховъ; стоитъ-ли яриться противъ нихъ? Какъ-будто нѣтъ тысячи другихъ, животрепещущихъ вопросовъ, на которые вы, какъ журналистъ, *обязанный* прежде всѣхъ ощущать, чуять насущное, нужное, безъотлагательное,—*должны* обращать вниманіе публики? *Походъ на стихотворцевъ въ 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизмъ!* Бѣлинскій—тотъ никогда-бы не впалъ въ такой просакъ!" Не знаю (заключаетъ г. Тургеневъ), что̀ подумалъ Писаревъ, но онъ ничего не отвѣчалъ мнѣ. Вѣроятно онъ не согласился со мною" (стр. 706 и 707).

И такъ, ужъ на что былъ прогрессивный человѣкъ Писаревъ, а г. Тургеневъ оказался еще прогрессивнѣе и нашелъ возможность укорять его въ отсталости. Онъ нашелъ неизвинительнымъ, что Писаревъ еще обращалъ вниманіе на какихъ-то *старичковъ лѣтъ пятидесяти и свыше*, до которыхъ не должно быть никакого дѣла молодому поколѣнію. Говорить о Пушкинѣ въ 1866 году,

по мнѣнію г. Тургенева, есть для журналиста непростительный архаизмъ,—дѣло, непредставляющее никакого насущнаго, живаго интереса. Г. Тургеневъ не видитъ никакой *цѣли*, которая могла-бы *оправдать* толки о такомъ древнемъ писателѣ, какъ Пушкинъ, и о такой ненужной и ненасущной вещи, какъ поэзія.

Попробуемъ вступиться за Писарева. Г. Тургеневъ слишкомъ поспѣшно вывелъ заключеніе, будто Писаревъ писалъ не то, что̀ думалъ,—будто онъ *нарочно*, ради извѣстныхъ цѣлей втаптывалъ въ грязь вещи завѣдомо хорошія, завѣдомо достойныя уваженія. Такой способъ писаній, сочиненіе статей *несправедливыхъ, но полезныхъ*, г. Тургеневъ вполнѣ одобряетъ,—и конечно это самый прогрессивный способъ,—тотъ способъ, при которомъ ради требованій настоящей минуты попирается всякая правда и совлекается въ грязь всякая красота. Но Писаревъ, къ его счастью (какъ намъ кажется), вовсе не былъ столь ярымъ прогрессистомъ. Можно много сдѣлать, если писать не то, что̀ думаешь, а что̀ нужно для извѣстной цѣли, но для сколько-нибудь прочнаго и глубокаго литературнаго успѣха, по нашему мнѣнію, необходима искренность, нѣкоторая доля дѣйствительнаго увлеченія. Писаревъ былъ обязанъ своимъ успѣхомъ положительно своей искренности. Мнѣнія, которыя г. Тургеневу показались столь нелѣпыми что онъ счелъ ихъ высказанными *нарочно*, съ полнымъ сознаніемъ ихъ нелѣпости,—эти мнѣнія Писаревъ высказывалъ вполнѣ искренно, и только въ силу этой искренности они такъ заразительно дѣйствовали на среду его читателей, находившую въ нихъ отзывъ на

свои собственные мысли и вкусы. Въ этой средѣ, о значеніи которой мы уже говорили, статьи о Пушкинѣ имѣли большой успѣхъ, такъ что Писаревъ, неугодившій г. Тургеневу, какъ видно очень хорошо угодилъ на вкусъ и потребности тѣхъ, для кого писалъ.

Что̀ касается до насъ, то мы искренно радуемся, что толки о Пушкинѣ были возможны и умѣстны даже и въ 1866 г., да вѣроятно не скоро еще утратятъ свою возможность и умѣстность. Оказывается, что нашъ прогрессъ вовсе не такъ быстръ и силенъ, какъ многіе воображаютъ,—что онъ не можетъ вполнѣ поглотить прошедшее, такъ, чтобы отъ него не осталось никакого слѣда, не можетъ съ каждымъ годомъ вызывать все новые вопросы, передъ которыми старые теряли-бы всякое значеніе. Духовныя потребности русскаго общества, умственный складъ его уже давно получили нѣкоторую опредѣленность, имѣющую глубокое основаніе въ особенностяхъ нашихъ духовныхъ силъ, въ степени нашего развитія и въ нашемъ отношеніи къ Западу. Мы движемся впередъ, но не иначе, какъ все яснѣе и яснѣе разрѣшая для себя все тѣ же существенные, коренные, постоянно насущные вопросы, а не замѣняя ихъ безпрерывно одни другими. Таковъ, напримѣръ, вопросъ о Пушкинѣ. Для каждаго поколѣнія и для каждаго направленія нашей мысли это будетъ всегда настоятельный и важный вопросъ.

И въ этомъ отношеніи у насъ совершается прогрессъ явный и несомнѣнный. Не смотря на всевозможныя кривотолкованія, не смотря на появленіе всякихъ „новыхъ и насущныхъ“ интересовъ, имя Пушкина—въ

силу естественнаго хода вещей, въ силу неминуемаго раскрытія качествъ всякой вещи съ теченіемъ времени,— пріобретаетъ все большій и большій вѣсъ. Лермонтовъ, Гоголь постепенно отодвигаются на задній планъ,—и чѣмъ дальше, тѣмъ яснѣе выступаетъ передъ нами несравненное величіе нашего перваго поэта, дѣйствительнаго основателя русской литературы. Говорить о русской литературѣ—значитъ непремѣнно говорить о Пушкинѣ, и, если мы вздумаемъ даже отрицать всякое достоинство и значеніе поэзіи, то прежде всего и настоятельнѣе всего намъ явится надобность—отрицать Пушкина, какъ самый огромный фактъ нашей поэзіи, какъ лучшее ея воплощеніе. Такъ и поступилъ Писаревъ.

Прогрессъ—вещь хорошая; подражая г. Благосвѣтлову, который нѣкогда объявилъ, что *ужъ конечно не онъ будетъ противъ прогресса*, мы могли-бы тоже заявить, что приняли намѣреніе съ своей стороны содѣйствовать прогрессу, и что главная наша забота состоитъ въ томъ, чтобы ускорить ходъ человѣчества впередъ, до нынѣ столь медленный и вялый. Но мы этого не объявляемъ, потому что всякимъ разсужденіямъ о прогрессѣ предпочитаемъ разсужденія о *дѣлѣ*, о самомъ *предметѣ*, подвергающемся прогрессу. Бросимъ всякія мысли о старомъ и молодомъ поколѣніи, о людяхъ отсталыхъ и передовыхъ, объ интересахъ современныхъ и несовременныхъ, а будемъ просто разбирать, что̀ хорошо и что̀ дурно, чему слѣдуетъ поклоняться какъ прекрасному и великому, и что̀ слѣдуетъ презирать и отвергать какъ ложное и низкое. Будемъ прогрессивны не въ смыслѣ *новости*, а въ смыслѣ большей глубины и

зрѣлости. Тогда намъ не придетъ и въ голову прислушиваться съ особеннымъ вниманіемъ къ тому, что̀ толкуетъ молодежь, и относиться съ пренебреженіемъ къ тому, что̀ говорятъ и дѣлаютъ *старички лѣтъ пятидесяти и свыше.* Дѣло должно говорить само за себя. Намъ странно, что г. Тургеневъ, ссылаясь притомъ на Бѣлинскаго, давалъ Писареву такой опасный для самого себя совѣтъ. Вѣдь онъ самъ, г. Тургеневъ, есть *старичекъ лѣтъ пятидесяти или свыше.* Неужели же онъ желалъ, чтобы наша литература оставляла его безъ всякаго вниманія? Неужели поклоненіе прогрессу дошло въ г. Тургеневѣ до самоотреченія и самопожертвованія?

Stanford University Libraries
3 6105 124 447 215

2-50

PG
2975
S75
1887
V.3

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

APR 4 1989
SPRING 1979
DOC APR 24 1989